

МАРКО ВОВЧОК



Евг. Грандис



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Annotation

Книга повествует об украинской и русской писательнице Марко Вовчок, настоящее имя которой Мария Александровна Вилинская (1833–1907).

[Адаптировано для AIReader]



FB2 книгу сделал mefysto

-
- [Евг. Брандис](#)
 -
 -
 -
 - [От автора](#)
 - [ЧАСТЬ ПЕРВАЯ](#)
 - [ОРЕЛ И ЕЛЕЦ](#)
 - [СЕМЬЯ](#)
 - [ТАК НАЧИНАЛАСЬ ЖИЗНЬ](#)
 - [ДЯДЯ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ](#)
 - [ПИСАРЕВЫ](#)
 - [ПАНСИОН](#)
 - [БОГАТЫЕ РОДСТВЕННИКИ](#)
 - [ОРЛОВСКИЕ ДЕЛА](#)
 - [ВВЕДЕНСКАЯ ОБИТЕЛЬ](#)
 - [ОРЛОВСКИЙ СВЕТ](#)
 - [ДРУГИЕ ГОЛОСА](#)
 - [РЕШЕНИЕ](#)
 - [А. В. МАРКОВИЧ И «КОСТОМАРОВСКАЯ ИСТОРИЯ»](#)
 - [ЛЕТО И ОСЕНЬ](#)
 - [НА ПЕРЕПУТЬЕ](#)
 - [ЧАСТЬ ВТОРАЯ](#)
 - [СЕЛО СОРОКОШИЧИ](#)

- [ИЗ ДОМА В ДОМ](#)
- [ЧЕРНИГОВ](#)
- [ЧЕРНИГОВСКАЯ ЗНАТЬ](#)
- [КИЕВ](#)
- [КАЧАНОВНА](#)
- [ИСТОКИ ТВОРЧЕСТВА](#)
- [ИНТЕРЛЮДИЯ](#)
- [НЕМИРОВ](#)
- [«РЫЦАРИ ЧЕСТИ И ДРУЖЕСТВА»](#)
- [РОЖДЕНИЕ МАРКО ВОВЧКА](#)
- [ОГНЕННАЯ КУПЕЛЬ](#)
- [ПЕРВАЯ КНИГА](#)
- [ПУТЕШЕСТВИЕ В ОРЕЛ](#)
- [ПОДВИГ жизни](#)
- [НЕМИРОВСКИЙ ЭПИЛОГ](#)
- [ДОРОГА ДАЛЬНЯЯ](#)
- [ПЕТЕРБУРГ](#)
- [«ГРОМАДА»](#)
- [СИЛА МОЛОДАЯ](#)
- [ДЕЛА И ДНИ](#)
- [ОТСТУПЛЕНИЕ, БЕЗ КОТОРОГО НЕЛЬЗЯ ОБОЙТИСЬ](#)
- [КОЛОВОРОТ](#)
- [ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ](#)
 - [ДРЕЗДЕН](#)
 - [ЛОНДОН — ОСТЕНДЕ — БРЮССЕЛЬ](#)
 - [ИЗБРАННИК](#)
 - [ГЕЙДЕЛЬБЕРГ](#)
 - [ИСКАНИЯ](#)
 - [ЛОЗАННА](#)
 - [ВЫСОКАЯ ВОЛНА](#)
 - [ВСТРЕЧИ И ПРОВОДЫ](#)
 - [ЕЕ ГЛАЗАМИ](#)
 - [ПАРИЖСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП](#)
 - [ТЕМА И ВАРИАЦИИ](#)
 - [РИМ — НЕАПОЛЬ — ФЛОРЕНЦИЯ](#)
 - [ВЕСТИ ИЗ РОССИИ](#)
 - [РАБОТА](#)
 - [ОТКЛИКИ И ОТГОЛОСКИ](#)
 - [НОВЫЕ ЛЮДИ](#)

- [ОТЧУЖДЕНИЕ](#)
- [САЛОН САЛИАС](#)
- [ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА](#)
- [РАЗВЕДКА](#)
- [ЗАКОЛДОВАННЫЙ КРУГ](#)
- [ДОМИК В НЕЙИ](#)
- [ДВЕСТИ ПЕСЕН](#)
- [ИЗ МРАКА К СВЕТУ](#)
- [ЗОВЫ ВРЕМЕНИ](#)
- [РЮ ЖАКОБ, 18](#)
- [ВОЗВРАЩЕНИЕ](#)
- [ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ](#)
 - [ДЕРЗКИЕ ЗАМЫСЛЫ](#)
 - [КОНЦЫ И НАЧАЛА](#)
 - [«ЛОПАТИНСКАЯ КРЕПОСТЬ»](#)
 - [ГЛАВА В ГЛАВЕ](#)
 - [ЭПИЛОГ «ЛОПАТИНСКОЙ КРЕПОСТИ»](#)
 - [СВИНЦОВЫЙ ГРОБ](#)
 - [ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ](#)
 - [В КРУГУ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ](#)
 - [СВОЙ ЖУРНАЛ](#)
 - [ЗАПАДНЯ](#)
 - [НОВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ](#)
 - [...И НОВЫЕ КНИГИ](#)
 - [ИСЧЕЗНОВЕНИЕ МАРНО ВОВЧКА](#)
- [ЧАСТЬ ПЯТАЯ](#)
 - [ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ](#)
 - [ПРОСВЕТЫ В ТУЧАХ](#)
 - [ТРЕВОЖНАЯ СТАРОСТЬ](#)
 - [ПОСЛЕДНИЙ ВЗЛЕТ](#)
 - [ПРОЩАНИЕ В НАЛЬЧИКЕ](#)
- [ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА](#)
- [ИЛЛЮСТРАЦИИ](#)
 -
 -
 -
 -
 -
 -



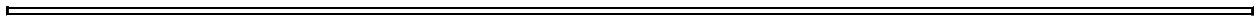
- [КРАТНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)

- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)

- [comments](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)

- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)



ЖИЗНЬ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ

Серия биографий

ОСНОВАНА
В 1933 ГОДУ
М. ГОРЬКИМ



ВЫПУСК 19
(460)

МОСКВА
1968

Евг. Брандис

МАРКО ВОВЧОК

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЦК ВЛКСМ

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

*

М., «Молодая гвардия», 1968



Марко Воврокъ

Борису Борисовичу Лобач-Жученко

От автора

Марко Вовчок — классик украинской литературы, и этим определяется ее историческая роль. Но вместе с тем она внесла ощутимый вклад также и в русскую литературу, заняв место в одном ряду с такими демократами-шестидесятниками, как Н. Помяловский, В. Слепцов, Ф. Решетников, Н. Успенский, А. Левитов, Н. Благовещенский, Н. Бажин. Если в прежние годы исследователи по разным причинам ограничивались изучением и популяризацией только украинского наследия Марко Вовчка, то в последнее время советские литературоведы восстанавливают ее творчество во всем объеме, не воздвигая искусственных перегородок между украинскими и русскими произведениями. Авторы новейших работ о Марко Вовчке (А. Белецкий, М. Бернштейн, Ф. Борщевский, А. Засенко, Н. Крутикова, С. Машинский, А. Недзведский, Т. Резниченко, Н. Тараненко и др.) исходят из объективной точки зрения: украинская и русская тематика в творчестве Марко Вовчка неотделимы одна от другой, взаимно дополняются единством идейных и эстетических устремлений. Марко Вовчок принадлежит двум братским народам и двум братским литературам.

К сожалению, эти азбучные истины приходится повторять и сегодня, так как «ведомственный» подход, менее всего уместный в литературоведении, мешает окончательному преодолению исторической несправедливости. Достаточно сказать, что десятитомная академическая «История русской литературы» обходит молчанием творчество замечательной писательницы, хотя освещение русского литературного процесса 1860—1870-х годов без романов и повестей Марко Вовчка нельзя считать достаточно полным и объективным. И даже в фундаментальной библиографии русской литературы XIX века, изданной Пушкинским домом, Марко Вовчок фигурирует лишь как объект критики (в разделах, посвященных Писареву, Добролюбову, Шелгунову, Ткачеву и др.), но не как автор известных произведений, публиковавшихся на страницах «Современника», «Русского слова», «Отечественных записок» и выходявших отдельными изданиями.

Эта книга — первая сравнительно полная биография Марко Вовчка, освещающая весь ее жизненный путь и все стороны многообразной деятельности. В процессе работы выявлялись все новые и новые архивные документы и забытые печатные материалы, проливающие свет на малоизученные или вовсе неизвестные эпизоды жизни и творчества

писательницы. Это относится прежде всего к орловскому, черниговскому и парижскому периодам, к истории сотрудничества Марко Вовчка в «Отечественных записках» и с французским издателем Этцелем, к ее творчеству 70-х годов и к последним десятилетиям жизни.

Биографическая повесть-исследование по самому жанру требует документальной точности. Выдержки из писем, воспоминаний, дневников, цензурных и полицейских архивов говорят сами за себя. Подлинные документы лучше передают колорит эпохи и звучат убедительнее, чем любые самые красноречивые пересказы. Поэтому я почти не прибегал к беллетризации, предпочитая предоставлять слово самой героине повествования и ее современникам.

Дружеское участие внука писательницы Б. Б. Лобач-Жученко, его семейный архив и помощь в работе позволили использовать много неопубликованных материалов. Выражаю Борису Борисовичу свою сердечную признательность.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ВСЕ ВПЕРЕДИ

ОРЕЛ И ЕЛЕЦ

Орловский край подарил нашей стране крупнейших художников слова. Тургенев и Лесков, Тютчев и Фет родились в этих местах. Тут выросли Писарев и Марко Вовчок. Исконно русская орловская земля выпестовала известных собирателей фольклора, знатоков народного языка и быта П. В. Киреевского и П. И. Якушкина. И когда Лесков вспоминал на склоне лет о своем родном городе, у него были все основания заявить, что Орел «...вспоил на своих мелких водах столько русских литераторов, сколько не поставил их на пользу родины никакой другой русский город».

Позже из орловского литературного гнезда выпорхнул Иван Бунин, а вслед за ним — Леонид Андреев. К писателям-орловцам принадлежат и такие видные прозаики последних десятилетий, как И. Вольнов, М. Пришвин, И. Новиков. «Этой бедной природе, с ее унылыми равнинами, небольшими холмами, редкими перелесками и маленькими речками, посчастливилось в нашей литературе», — писал Бунин в статье о поэте-земляке Алексее Жемчужникове.

В Орле героиня нашего повествования провела юношеские годы и вышла замуж, а детство ее связано с Ельцом.

Среди уездных городов центральной полосы Елец был одним из лучших и немногим уступал Орлу. Старая часть города на высоком левом берегу Сосны — почти сплошь застроена двухэтажными каменными особняками. Воздвигали их «навечно» зажиточные купцы, преуспевающие чиновники и священнослужители всех степеней и рангов. Церковникам здесь жилось вольготно. На щедрые купеческие пожертвования строились все новые храмы и монастыри. Наряду с хлеботорговцами и мукомолами, скотопромышленниками и кожевниками наживались, хоть и не так шибко, скупщики знаменитых елецких кружев. Этим доходным для помещиков промыслом занимались тысячи крепостных кружевниц.

Второй после Орла город в губернии во многих отношениях считал себя первым. «Наш Елец хоть уезд-городок, да Москвы уголок, а у вас, что и есть хорошего, так вы и то ценить не можете», — похваляется елецкий купец в рассказе Лескова «Грабеж». Елецкие толстосумы потому и задирали нос перед орловскими, что часто ездили по торговым делам в Москву и знали в «белокаменной» все ходы и выходы, тогда как «орлы» тяготели больше к южным губерниям.

Центр города отчасти сохранил свой прежний облик: узкие улицы,

высокие каменные ограды, глухие монастырские стены. Во дворах могучие дубы и раскидистые вязы, оставшиеся от купеческих садов. У обрыва над рекой — причудливое сооружение: часовня в форме боевого шлема, поставленная в 1801 году рядом с Успенской церковью. Это памятник ельчанам, погибшим в конце XIV века при обороне города от полчищ Тамерлана. Неподалеку, на бывшей базарной площади — старинные торговые ряды, где когда-то бойко торговали скотом и... людьми. Будущая писательница, не раз ездившая с матерью в Елец, видела обычные для того времени сцены: равнодушные продавцы, не обращая внимания на вопли и слезы, отрывали жен от мужей, разлучали детей и родителей, а придирчивые покупатели бесцеремонно оглядывали и ощупывали живой товар.

СЕМЬЯ

В десяти верстах по прямой к юго-востоку от Ельца, недалеко от того места, где сейчас находится железнодорожная станция Пажень, стояло на отшибе сельцо Екатерининское — имение Петра Гавриловича Данилова, деда писательницы по материнской линии. В 1834 году, после его смерти, был произведен «полюбовный. раздел» владений между вдовой и двумя сыновьями, а когда умерла и вдова, принадлежавший ей небольшой надел перешел «в вечное потомственное владение» обеим дочерям — Прасковье и Екатерине.

Поместье было обременено долгами и дохода почти не приносило. Из сохранившегося алфавитного перечня дел Елецкого уездного суда видно, что Даниловы межевали и закладывали оставшиеся земли, оспаривали какие-то долги, оскудевали. беднели, разорялись. В середине XIX века раздробленное имение, как и сотни других ему подобных, ушло от прежних владельцев.

Младшей дочери Прасковье Петровне не исполнилось и пятнадцати лет, когда ее встретил и увлек молодой офицер Александр Алексеевич Вилинский. Ухаживание было недолгим, сватовство удачным, женитьба — скоропалительной. Для капитана Вилинского промедление было смерти подобно: Сибирский гренадерский полк, в котором он служил, постоянной дислокации не имел — со дня на день могли перебросить в другое место.

Александр Алексеевич считался в полку образцовым офицером: «в штрафах не был, замечаниям и выговорам не подвергался», своевременно получал все подобающие воинские выслуги и отличия. Семнадцатилетним юношей, после окончания в Ярославле «Демидовского высших наук училища», он был зачислен — в 1818 году — подпрапорщиком в Сибирский гренадерский полк 3-й гренадерской дивизии. В формуляре Вилинского сказано об его образовании: «по-русски, по-немецки и по-французски читать и писать умеет, географии, физике, технологии, математике и рисованию обучался». А на вопрос «из какого звания» следует ответ: «из студентов, обер-офицерский сын».

10 декабря 1833 года у четы Вилинских родилась дочь Мария. В Государственном архиве Орловской области удалось найти метрическую книгу Вознесенско-Георгиевской церкви села Козаков, к которой и было приписано сельцо Екатерининское. Эта находка позволила уточнить год рождения писательницы (его ошибочно обозначают как 1834-й) и лишний

раз удостовериться, что Даниловы состояли не только в родстве, но и в дружбе с Писаревыми. Дело в том, что крестный отец Марии Александровны Вилинской — «елецкий помещик, полковник и кавалер» Дмитрий Гаврилович Данилов был дедом Дмитрия Ивановича Писарева (Писарев приходился Марко Вовчку троюродным братом).

Итак, офицер Вилинский безусловно служил «царю и отечеству» в Сибирском гренадерском полку. В 1831 году он брал штурмом Варшаву, за отличие в сражении был произведен в майоры и «всемилоостивейше пожалован кавалером ордена равноапостольного князя Владимира 4-й степени с бантом». Таким образом, отец Марко Вовчка был одним из участников подавления польского восстания. Придет время, и дочь офицера Вилинского будет дружить с политическими эмигрантами и «опасными бунтовщиками», в том числе и с вдохновителями восстания 1863 года, будет всем сердцем сочувствовать освободительной борьбе поляков и ненавидеть душителей польской революции.

В мае 1836 года отец писательницы был «выключен» из полка и переведен в Тульский гарнизонный батальон, а в марте 1840 года по нездоровью его уволили из армии «с награждением чином подполковника, с мундиром и пенсионом двух третей жалованья». Летом того же года А. А. Вилинский скончался.

ТАК НАЧИНАЛАСЬ ЖИЗНЬ

Не прошло и двух лет после его смерти, как Прасковья Петровна, оставшаяся с тремя детьми, вторично вышла замуж и стала именоваться в официальных документах «московской мещанкой Дмитриевой». Этим опрометчивым замужеством она навлекла на свою голову немало бед. О Дмитриеве ходила дурная слава. Говорили, что он пустил по ветру приданое покойной жены, пропил и проиграл в карты унаследованный московский дом, а теперь добрался и до второго дома — в Ельце, превратив его в место бесшабашных сборищ картежников и гуляк. Прасковья Петровна слишком поздно поняла свою ошибку, поверив его обещаниям и клятвам, что он-де навсегда остепенится и заменит ее детям отца, если она будет не мачехой, а матерью для его Воина и Аврелии...

Вторжение Дмитриева в Екатерининское внесло разброд и сумятицу в привычный жизненный уклад. В культурной дворянской семье Даниловых, по словам сына писательницы Б. А. Марковича, не было «особенных — мракобесов и злых господ», каких немало выдвинула орловско-тульская помещичья масса на почве крепостного произвола и безнаказанности». Дмитриев же, сразу почувствовав себя полновластным хозяином, вводил свои порядки, давал ежедневные уроки дворовым и строго взыскивал за малейшую оплошность, перемежая «хозяйственную деятельность» дикими кутежами и попойками. Владелица поместья Мария Александровна Данилова, в ту пору уже больная, беспомощная старуха, не в силах была обуздать зятя. Ее старшая дочь Екатерина, принесшая мужу в приданое десятка два десятин и трех крепостных, благоденствовала в Орле. А с женой своей Прасковьей Петровной, кроткой, терпеливой и покорной, Дмитриев и вовсе не считался.

«Я помню бурные сцены отчима, — пишет в своих воспоминаниях младший брат писательницы Дмитрий Вилинский, — помню, когда появилась моя сводная черненькая^[1] сестренка (отчим был брюнет, а наш отец блондин, и мы все трое — блондины); помню, как мы росли, как отчима хотел убить gain крепостной человек Михайло-портной... Наша мать была опытная, терпеливая, сведущая и разумная воспитательница. Йна отлично знала музыку и языки, в особенности французский, без которого нам, детям, нельзя было шагу ступить, и я хорошо помню, как нам приходилось вымаливать французскими фразами прощенье, русскому человеку за какую-нибудь провинность... Во время детства сестры Марии

Александровны кто бы что ни разбил — чашку ли, графин, тарелку, — тотчас бежал к ней, и сестра всегда принимала вину на себя... Помню, мать рассказывала мне, что в течение четырех лет Маша перебила столько разной посуды, что можно было бы открыть Посудную лавку...»

тихой деревеньке, как Екатерининское, в отношениях между господами и слугами не было подчеркнутой официальности и глухих перегородок, какие существовали в богатых поместьях. Девочка могла свободно забегать на кухню к старухе Каверине, и на конюшню к «форейтору» Максимке, и лакомиться медом у пасечника Прохора; могла бродить с деревенскими ребятами по Хомутовскому лесу, дружить со своей сверстницей, горничной Маринкой, заходить и в людскую, и в девичью, и даже в крестьянские избы. В таких семьях общение детей с дворовыми вовсе не считалось зазорным. Крепостные няньки и мамки нередко становились для барышень и барчуков самыми близкими людьми. Воспетая Пушкиным Арина Родионовна в этом смысле не являлась исключением. Любимая няня была и у Маши Вилинской. Известно о ней, чФо она была певуньей и знала много старинных песен. Некоторые из них запомнились Маше с малых лет.

Нужно добавить еще, что в Екатерининском она могла слышать не только русские, но и украинские песни. От отца-офицера, большого любителя музыки, осталась нотная тетрадь со словами и мелодиями любимых песен. Были у него и собственные-сочинения. В одном из писем к мужу Марко Вовчок упоминает «Екосез Александра Алексеевича», который исполняла на фортепьяно ее мать, и приводит, взяв, по-видимому, из той же тетради, текст украинской песни:

*Малесенький соловейко, чом ти не щебечеш?
Ой рад би я щебетати, та гласу не маю.
Молоденький козаченько, чом ти не женишья?
Ой рад би я женитися, та долі не маю.
Загубив я свою долю, їздячи в дорогу...*

Эту песню слышал в походе и записал в 1812 году от казака, возившего соль в Бобруйскую крепость, ярославский дед Марии Александровны. Так «Малесенький соловейко» от деда перешел к сыну, а от сына к внучке, украинской писательнице.

За короткое время Дмитриев разорил поместье, которое и до него было далеко не в цветущем состоянии. Брань, зуботычины, порки, грубые

издевательства над людьми стали при нем обычным явлением. С детских лет Маша Вилинская столкнулась с неприкрытыми ужасами крепостничества.

О детстве своем Мария Александровна вспоминать не любила, имя Дмитриева ни в одном из ее писем не упоминается. Надо думать, от тяжелых впечатлений этих лет остался горький осадок. Но и тогда уже мир не замыкался для нее Екатерининским.

Прасковья Петровна, чтобы избавить детей от совместной жизни с отчимом, старалась держать их подальше от дома — у своих родственников. Старшего сына Валерьяна она отправила в Орел к сестре Маша месяцами гостила у дяди Николая Петровича Данилова в сельце Дмитриевке на Нижнем Ворголе или у Писаревых в Знаменском.

ДЯДЯ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

Н. П. Данилов слыл в Елецком уезде оригиналом и фрондером, и таким его рисует по семейным воспоминаниям его внучатый племянник Б. А. Маркович.

Высокий, статный, широкоплечий, с длинными холеными усами, Николай Петрович казался красавцем кавалеристом, хотя не был военным и вообще никогда не служил. Имея диплом «вольнопрактикующего врача», он лечил только по знакомству или собственных крепостных Брать за лечение плату считал унижительным для своего дворянского достоинства. Нрава он был крутого и держал в страхе и повиновении всех, кто от него зависел, — тиранил ревностью любящую, беззаветно преданную жену Анну Николаевну, которая считалась первой красавицей в уезде; детей своих, сына и дочь, старался уберечь «от всяких вредных влияний и в особенности от близости к «холопам».

Разорившись после реформы, Данилов переехал в Москву, где занимался врачебной практикой, уже не стесняясь брать плату за лечение, и сотрудничал в мелких газетах. Позже он написал книгу «Земля, рабочий труд и капитал в русской сельскохозяйственной промышленности» (1877), в которой доказывал, что выгоды от реформы извлекли лишь богатые помещики, а положение крестьян, подвергающихся хищнической эксплуатации, только ухудшилось.

Книга Н. П. Данилова была запрещена и уничтожена. Министр внутренних дел Тимашев написал о ней резкий отзыв, усмотрев «во-первых, обвинение всего дворянства в злокозненных ухищрениях против благоденствия крестьян и, во-вторых, утопические меры всеобщего переселения крестьян на казенные земли и установление *maximuma* земельной собственности»^[1].

Однако в этом дилетантском сочинении (уцелели его цензурные экземпляры) критика реформы ведется с охранительных позиций. Больше всего Данилова страшила угроза крестьянской революции, которую он усматривал в развитии «пагубного сельского пролетариата» и в распространении «зловредных», то бишь социалистических идей. Придуманные им меры могли бы, по его мнению, предотвратить дальнейшее обнищание крестьян и примирить их с земельными собственниками. Своей книгой он хотел помочь правительству «выработать мирными путями хороший и прочный общественный строй, отличный от

западного, которому грозит ломка далеко не мирного характера».

Вот какую эволюцию проделал этот обнищавший барин.

В те же годы, о которых идет речь, Н. П. Данилов был еще состоятельным помещиком, «авторитетом для всего даниловского гнезда» Своей системой «просвещенного помещичьего воспитания», как утверждает Б. А. Маркович, он показывал пример, «которому многие стремились подражать, и в числе прочих — Варвара Дмитриевна, мать Писарева». Так это или не так, но в доме дяди Маше Вилинской жилось неплохо. Под наблюдением гувернантки она разучивала гаммы, зубрила французские глаголы, читала нравоучительные сочинения Арнольда Беркена и аббата Бульи, а все остальное время была предоставлена самой себе.

Сын писательницы знал Данилова уже стариком и мог говорить о его помещичьем житье прежде всего со слов матери. Значит, таким и сохранился в ее памяти дядя Николай Петрович — личность во многих отношениях характерная для русского дореформенного барства.

ПИСАРЕВЫ

Знаменское находилось на берегу Каменки, неподалеку от ее впадения в Дон, в сорока верстах от Ельца. Дом Писаревых — просторный, трехэтажный, с белыми колоннами — стоял на пригорке, окруженный службами и садами. Три брата — Иван, Константин и Сергей — владели сообща неразделенным родовым именем. О будущем не помышляли, а настоящее — обеспеченное и беспечное барство — казалось им таким же естественным благом, как воздух, которым они дышали. Отцовское наследство исподволь проедалось, благополучие семьи неотвратимо шло под уклон, но ни одному из братьев даже в голову, не приходило самому заняться хозяйством. У каждого были свои дела, более интересные и важные. Наблюдать за мужиками полагалось бурмистру, заботиться о доходах — приказчику. Крупные упущения сходили с рук — их просто не замечали, — а мелкие недочеты кололи глаза, и дворовые держали за них ответ непосредственно перед господами.

Отставной драгунский офицер Иван Иванович Писарев, отец будущего критика, был не лучше и не хуже многих других крепостников: особой жестокости не выказывал, но и мягкостью к людям не отличался. Дороже всего на свете был ему собственный покой и привычки барина-сибарита. Он заботился о своей внешности, как записная кокетка, следил за парижскими модами, одевался с иголочки, волочился — и не без успеха — за местными красавицами, выезжал, принимал гостей, был отличным танцором, участвовал в домашних спектаклях и делал все, чтобы поддерживать репутацию «светского льва» в масштабе Елецкого уезда.

В отличие от легкомысленного и недалекого супруга Варвара Дмитриевна была человеком энергичным и целеустремленным. Окончательно разочаровавшись в муже, который наносил своим донжуанством немало уколов ее женскому самолюбию, она обратила на детей всю силу своих нерастрченных чувств и вместе с материнской нежностью — болезненную ревность и тиранию любящего сердца.

Митя Писарев был моложе Маши Вилинской почти на семь лет. Поразительно одаренный и ангельски кроткий ребенок в четыре года уже бегло читал по-русски, а по-французски говорил как прирожденный парижанин, без запинки излагал рассказы из священного писания, твердо помнил правила хорошего тона и, к удивлению окружающих, рассуждал «совсем как взрослый». Варвара Дмитриевна гордилась необыкновенными

результатами своих педагогических усилий и охотно демонстрировала их, то есть Митины знания, каждому новому человеку. Незаметно и как-то само собой это стало входить в программу увеселения гостей наряду с любительскими спектаклями и живыми картинами.

Маше Вилинской запомнилась утомительная дорога из Екатерининского в Знаменское, куда ее часто возила мать и надолго там оставляла. Запомнилась еще молодая, всегда чем-то озабоченная Варвара Дмитриевна. Вечно она хлопотала, устраивала приемы, готовила спектакли, разрывалась между малюткой Верочкой и обожаемым Митенькой, не выпуская его ни на час из-под своего бдительного ока.

Маша росла в деревне, общаясь с крестьянами и Дворовыми людьми. Ни мать, ни бабушка на ее свободу почти не посягали. А тут она попадала в неестественную тепличную обстановку и должна была подчиняться мелочной опеке. Варвара Дмитриевна запрещала водиться с деревенскими детьми, кататься на лодке, купаться возле омута, заходить без спросу в людскую и вообще делать что хотелось...

ПАНСИОН

В двенадцать лет Маша окончательно потеряла родной дом. Собрав последние крохи, Прасковья Петровна отвезла ее в Харьков и отдала в частный пансион. В Харькове жил брат старого знакомого семьи, елецкого помещика Хрущова, и там же учился в университете один из его сыновей. Совет Хрущова и определил выбор пансиона.

По-видимому, это был «благородный женский пансион» Мортелли^[2]. Он считался лучшим в губернии, но мало чем отличался от десятков других подобных же питомников невест. Девушки, получавшие после четырехлетнего обучения роскошные дипломы на веленовой бумаге, умели безукоризненно держать себя в обществе, мило щебетали по-французски, объяснялись с грехом пополам по-немецки или по-английски, танцевали модные танцы и недурно играли на фортепьяно.

Все двадцать четыре часа были расписаны с точностью до минуты. Утренняя молитва, первый завтрак, лекции, прерываемые пятиминутными «променадами» — хождением парами вокруг классного стола; второй завтрак и опять лекции; обед и прогулка во дворе, обнесенном высоким забором; продолжение классных занятий; приготовление уроков, ужин, свободный час, вечерняя молитва, сон. И так изо дня в день. Ни ума, ни сообразительности от пансионерок не требовалось. Они обязаны были только зубрить и повторять, зубрить и повторять. Любое ослушание вызывало соответствующую кару. Правда, телесные наказания в «благородном пансионе» не применялись, но наказание голодом и страхом действовало не хуже розги. На чердаке была холодная полутемная комната с черной кроватью и черным столом. Кому случалось там посидеть денек-другой, становились тише воды, ниже травы.

Некоторое разнообразие в этот монотонный распорядок вносили уроки танцев. Дважды в неделю, когда приходил танцмейстер, вечерние занятия отменялись. В бальные дни крепостные горничные одевали барышень, завивали их и укладывали прически, классные дамы помогали пудриться и румяниться. Пансионерки выстраивались перед учителем — в белых платьях, белых кушаках и белых перчатках. Репетировали разные па, позиции и повороты, а потом спускались в залу, освещенную люстрой и кенкетами. Вместе с родственниками пансионерок сюда нередко попадали и студенты Харьковского университета — молодому человеку разрешалось пригласить старшеклассницу на тур вальса.

Французский язык и второй — по выбору — были основными предметами, а общеобразовательные проходили кое-как, скорее «для блезиру».

Как ни тяжело было привыкать к пансионским порядкам — постоянно находиться под надзором, делать все по звонку и не принадлежать самой себе, — все-таки Маше Вилинской было легче, чем другим: блестящие способности к языкам и острая память избавляли от бессмысленной зубрежки. Подруг у нее не было. Сверстницы считали Машу гордячкой, хотя она была «из бедных» и обходилась без собственной горничной.

К этому периоду относится мемуарное свидетельство ее младшей соученицы Ожигиной: «Недолгое пребывание Вилинской в пансионе оставило у меня милые и оригинальные воспоминания. Я помню крепкую, хорошенькую девочку. У нее был открытый взгляд, она держалась естественно и непринужденно, и это отличало ее от всех остальных. Кроме того, у нее были чудесные густые белокурые косы, которые она нередко, вопреки пансионским правилам, носила спущенными... Я помню также, что она тяготилась и скучала в этой среде, что ее скоро забрали, и я ничего больше о ней не знала».

Прошло много лет, и Людмила Александровна Ожигина, преподавательница одного из провинциальных-женских институтов, приехала в Петербург с рукописью автобиографического романа «Своим путем. Из записок современной девушки»: и только тогда, познакомившись со знаменитой писательницей, узнала в Марко Вовчке соученицу по пансиону. В 1869 году роман Ожигиной был напечатан в «Отечественных записках». Под именем пансиона Лапре она описывает типичный для той эпохи «благородный женский пансион», о котором мы и рассказали, пользуясь этим источником.

Исследователи задаются вопросом: могла ли русская девочка за два-три года пребывания в Харькове получить хотя бы самое поверхностное представление о жизни украинского народа, его языке и национальной культуре? На этот вопрос трудно ответить определенно. И все же мы располагаем некоторыми косвенными данными.

В стенах пансиона по-украински говорили только крепостные горничные. В их обязанность входило стелить постели, укладывать барышень спать, помогать им одеваться. И хотя на эти процедуры отводились считанные минуты, вечером и на рассвете в дортуарах слышалась живая народная речь.

Редкие прогулки по городу и поездки в дорожной карете бегло знакомили лишь с бытовым колоритом. По большому почтовому тракту и

по главным улицам тянулись бесконечные обозы: чумаки в залитых дегтем рубахах медленно везли на волах соль из Крыма, а навстречу им ехали из центральных губерний краснолицые бородачи на конных подводах, груженных всевозможным товаром. По виду возов и по упряжке можно было определить, откуда и что везут.

Если допустить, что воскресные и праздничные дни, когда пансионерок отпускали к родителям, Маша проводила в знакомом доме Хрущова, где, по неясным сведениям, квартировал его елецкий племянник и собиралась студенческая молодежь, то тут, конечно, возможны были встречи со студентами. О знакомстве Маши Вилинской с харьковскими студентами глухо упоминают первые биографы писательницы — ее сын и брат.

Ректором университета был тогда поэт-баснописец П. П. Гулак-Артемовский. Правда, он давно уже превратился в благонамеренного сановника и отошел от литературы. Но студенты помнили наизусть его сатирические басни, увлекались свободолюбивой поэзией Шевченко и распространяли в списках запрещенные стихи Кобзаря, высоко ценили творения «отца украинской прозы», харьковчанина Квитки-Основьяненко, передавали из рук в руки украинские альманахи и сборники, которые время от времени выходили из печати, несмотря на цензурные препоны. Один из них — «Южный русский сборник» — был издан в Харькове в 1848 году под редакцией профессора Метлинского, знатока и любителя украинских народных песен.

Метлинский читал в университете теорию словесности и печатал меланхолические стихи под псевдонимом Амвросий Могила. Марко Вовчок познакомилась с ним позже в Киеве.

БОГАТЫЕ РОДСТВЕННИКИ

Из пансиона Машу забрали повзрослевшей пятнадцатилетней девушкой и отвезли в Орел — к тетке и крестной матери Екатерине Петровне. Мардовиным ничего не стоило взять на воспитание племяннику, тем более что ее старшего брата Валерьяна они уже вывели в люди.

Михаил Саввич выбился из приказных, а в пословице недаром говорится: «Приказный — народ удалой, пролазный». Служил он подканцеляристом, потом экспедитором, проявлял усердие, угождал начальству («способен и деятелен», — сказано в его аттестате), зацепился за доходное местечко секретаря Орловской палаты гражданского суда и держался за него, пока не вышел в отставку владельцем двух домов, недурного имения и изрядного капиталыца.

Даниловы, конечно, считали, что Екатерина Петровна «сделала мезальянс». Однако она не знала за Мардовиным ни нужды, ни горя, держала в Орле открытый дом, вращалась в «лучшем обществе» и, по словам Б. А. Марковича, «кончила свои дни не по-даниловски — в оскудении, чуть ли не в нищете, после многих жизненных испытаний, — а по-мардовински, в зажиточности и тупом спокойствии».

...Как-то само собой получилось, что Маша сначала по своей охоте занялась воспитанием детей Мардовиных — Коли и Кати, а потом это вошло в ее обязанность. Нельзя же было есть даром чужой хлеб! И как-то само собой получилось, что в семье Екатерины Петровны она заняла положение, среднее между гувернанткой и бедной родственницей. Дети к ней привязались и не отходили ни на шаг.

При доме был тенистый сад с зелеными скамейками и узорными цветниками. Здесь она ежедневно гуляла с Колей и Катей, а иногда уводила их подальше — в Шредерский городской сад, где на средства купца-мецената были воздвигнуты чугунные беседки «в изящном вкусе», сооружены солнечные часы и проложены над Окой дорожки. С высокого обрыва открывалась панорама типичного среднерусского города, разделенного изогнутой лентой Оки и впадающего в нее Орлика на три части. Над крышами выступали золоченые купола соборов и маковки церквей, высокие колокольни и пожарная каланча, на которой виднелась крошечная фигурка дозорного. Дома были почти сплошь деревянные, и нередко выгорали целые кварталы, несмотря на то, что отцы города не скупались на побелку каланчи и содержание при пожарной части резвых

лошадок.

За Окой прятались в зелени слободки с неказистыми домишками мелочных торговцев, ремесленников, отставных чиновников четырнадцатого-двенадцатого классов и совсем уж невозможными лачугами городской бедноты, живущей бог весть чем и как. А дальше взору открывалась широкая луговая полоса, замкнутая на горизонте зубчатой лентой лиственных лесов.

Выступала из садов, если глядеть на нее с высокого берега, и центральная часть города, прорезанная пыльными торговыми улицами — Нижними, Кромской, Карачевской. Мостовой и тротуарами была покрыта единственная на весь Орел Волховская улица, которая славилась лучшими магазинами. Солидные купеческие дома с лавками в первом этаже грудились поодаль от домов преуспевающих чиновников, словно притянутые табелью о рангах к присутственным местам — внушительным казенным зданиям с желтыми и зелеными фасадами. И совсем в стороне красовались особняки орловских помещиков, приезжавших из своих усадеб лишь на зимние месяцы. Эту аристократическую часть города еще задолго до появления романа Тургенева называли «дворянским гнездом».

ОРЛОВСКИЕ ДЕЛА

Военным и одновременно гражданским губернатором в Орле был тогда князь П. И. Трубецкой, самодур и лихоимец, по прозвищу «невразумительный», или, как еще говорили орловцы, «умоокраденный». Взятничество и казнокрадство процветали при Трубецком как никогда прежде. Вез взятки не решалось ни одно дело ни в гражданском, ни в уголовном суде и ни в каком другом присутственном месте. Врали все, от губернатора до последнего канцеляриста. Просителю нужно было только знать, как давать и кто сколько берет.

Количество судебных дел увеличивалось год от году соразмерно росту преступлений. Орловские помещики ославили себя на всю Россию страшными зверствами и насилиями над крепостными, но «дело» заводилось лишь в том случае, если «инцидент» получал нежелательную огласку. Об этом хорошо известно из «Колокола» Герцена, уделявшего по необходимости много внимания орловским «секунам и серальникам» (от слова «сераль» — гарем) вроде Трубецкого, одного из родственников губернатора, оборудовавшего у себя в усадьбе подземелье для пыток, или Гутцейта, насильника и растлителя малолетних, ссылавшего обесчещенных девочек для исправления в чужие деревни.

В архиве Орловской области сохранилось немало документов, характеризующих «взаимоотношения» крепостных и помещиков. Вот несколько выбранных наудачу заглавий судебных дел конца 40-х — начала 50-х годов.

Дело о крепостном крестьянине Михайлове, умершем от побоев, нанесенных помещиком Богдановым. Дело о ссылке на поселение в Сибирь крепостного крестьянина Антонова по желанию помещика Шеншина. Дело о предании суду крестьянина Кромского уезда Васильева за отказ причащаться. Предписание орловского губернатора и рапорт Карачевского земского суда о поджоге имения помещицы Зиновьевой дворовыми людьми. Предписание орловского губернатора и рапорт Мценского уездного суда о наказании шпицрутенами через тысячу человек один раз и ссылке в Сибирь крестьянина Давыдова за поджог господских амбаров. Рапорт орловского губернатора о крестьянине Андронове, умершем от наказания розгами в имении помещицы Шоф...

Подобных дел десятки и сотни. Особую группу составляют дела о судебном преследовании сектантов — раскольников, молокан, духоборов,

субботников. В широком распространении сектантства можно видеть своеобразную форму протеста и против крепостного гнета и против тупого догматизма государственной религии.

Сохранились и многочисленные предписания о розыске крепостных людей. Бегство из неволи было массовым явлением.

А вот еще одно страшное дело, сокращенно именуемое «Дело с ухом».

«Клементий Павлов Рыжих, — сказано в протоколе, — принес жалобу на чрезмерно жестокое обращение своего владельца с ним, женою его и прочими одновотчинными крестьянами, причем объявил, что в прошлом мае месяце помещик г-н Бузов, озлобясь на жену его Авдотью за беспорядок, найденный им на птичьем дворе, оторвал у нее ухо, которое он, Клементий Рыжих, представляет в суд для произведения о сем следствия». Действительно, к делу подшито «вещественное доказательство»: бумажный пакетик с высохшим, почерневшим человеческим ухом!

Нечего и говорить, что суд принял сторону ответчика. Клементий Рыжих, «как не имеющий никакого письменного вида», был отправлен «для содержания в Орловскую градскую полицию до особого о нем распоряжения». Следствие показало, что оторванное ухо было «больным» и «слезло само», когда г-н Бузов до него «дотронулся». Крестьянин, подавший жалобу на помещика, был признан виновным и понес наказание.

Таковы были повседневные дела, которые решались в Орловской палате уголовного суда. В соседней же палате, где служил секретарем М. С. Мардовин, разбирались дела гражданские — наследственные распри помещиков, долговые тяжбы и т. д. Обе судебные палаты находились под одной крышей. Михаил Саввич отлично знал, что делалось в той и другой палате, и надо полагать, после трудового дня рассказывал домочадцам за обедом, какое «интересное» дело слушалось или поступило сегодня на рассмотрение. И конечно, Екатерине Петровне не очень-то хотелось, чтобы племянница по его недвусмысленным намекам и выразительным жестам могла догадаться, что Михаил Саввич и на том и на этом сомнительном дельце сумел нагреть руки. Но Маша была не так глупа, чтобы не понять, из какого мутного источника текли деньги в карман Мардовина. Да и могла ли юная чистая душа не проникнуться отвращением ко всем этим мерзостям?

ВВЕДЕНСКАЯ ОБИТЕЛЬ

С неослабным вниманием орловцы следили за ходом «военных действий», которые велись с переменным успехом между властолюбивым губернатором Трубецким и неуступчивым архиереем Смарагдом Крыжановским. Губернатор звал владыку «козлом» и не мог простить своему недругу, что тот в отместку окрестил его «петухом». Об этой смехотворной баталии красочно повествует Лесков в «Мелочах архиерейской жизни».

В руках архиепископа была сосредоточена огромная власть, и пользовался он ею, правда, не так беззастенчиво, как Трубецкой, но не менее успешно — для себя и близких ему людей. Какие беззакония творились в орловской епархии, мы знаем из сочинений Лескова и присяжного историка Орла Г. Пясецкого.

Екатерина Петровна не развозила Машу в Введенский девичий монастырь, находившийся в черте города: монашки хорошо умели стегать одеяла и брали заказы на тонкие рукодельные работы. Девушка с любопытством наблюдала за молодыми черницами. Раньше она думала, что у монахинь обязательно должны быть изможденные, аскетические лица и смиренные, потупленные взоры. Ведь они по доброй воле обрекали себя на вечное затворничество, чтобы постами и молитвами искупить человеческие грехи. А тут, в девичьем монастыре, как это ни странно, не видно было изможденных затворниц. Монашки беззаботно судачили с заказчицами о всяких пустяках и, казалось, никогда не выходили из-под власти мирских помыслов и дел. Даже не верилось, что это и есть «неусыпаемая Введенская обитель» — настолько здесь все не согласовывалось с наивными представлениями о строгости монастырского устава.

Маша не чувствовала себя способной на религиозный подвиг, но к монашеству привыкла относиться с уважением. Она часто перечитывала евангелие и с детства верила в бога, хотя к показной, обрядовой стороне религии всегда относилась равнодушно. И верила она не совсем так, как учили ее дома и в пансионе, когда на все вопросы давался один ответ: «Верь и не рассуждай!» Да разве может живой человек не рассуждать? И вот мало-помалу всемогущего, всеведущего бога стало вытеснять из ее сознания отвлеченное понятие божественного промысла. И все-таки это был бог, пусть и утративший зримые земные очертания! Такому богу не нужны были ни посты, ни молитвы, он требовал только чистой совести.

Легко представить, как она была оскорблена в своих лучших чувствах, когда Екатерина Петровна, выложив целый ворох толков и сплетен о всевозможных бесчинствах, творящихся за стенами девичьего монастыря, присовокупила еще пикантные подробности о похождениях самой настоятельницы! Оказалось, что игуменья — едва ли не первая богачка в Орле — так сумела себя поставить, что даже самовластный архиерей смотрел на ее проделки сквозь пальцы. Девичий монастырь давал епархии большие доходы, и владыке невыгодно было ссориться с игуменьей. А кроме того, и за самим Смарагдом водились грешки...

Не от Введенского ли девичьего монастыря протягиваются первые нити к обличительному антиклерикальному роману Марко Вовчка «Записки причетника»?

ОРЛОВСКИЙ СВЕТ

Мардовины жили в доме Корнильева на Кромской улице. В приемные дни у красного крыльца выстраивались вереницей разные экипажи: просторная зала, нарядная гостиная и парадные комнаты наполнялись шумом и говором. Здесь собирался весь орловский «бомонд». Хозяйка салона заранее оповещала знакомых, что на очередном «рауте» обещано присутствие такой-то заезжей знаменитости — столичного сановника, писателя, художника или музыканта. Залучить к себе на вечер «выдающуюся личность» Екатерина Петровна считала делом чести и не жалела на это ни сил, ни времени.

— Рауты назначались раз или два в месяц, и бывала на них только избранная публика. Зато на «журфиксы» — интимные вечера с литературными чтениями, декламацией, импровизированными концертами, представлением живых картин из «народной жизни» и просто умными беседами — могли приходиться запросто все «развитые» люди, независимо от титулов и званий.

Образованные господа, все больше состоятельные помещики, владевшие гладким, легким и приятным слогом, пускались в длинные рассуждения о любви к родине, о добре и правде, о силе характера, назначении народов и правах человека. Все они хотели выглядеть друг перед другом людьми передовыми, свободомыслящими. Каждый старался отличиться какой-нибудь оригинальной мыслью или блеснуть каким-нибудь необыкновенно умным выражением. Иной раз заговаривали даже о дурных порядках в России и несовместимости крепостного права с христианскими заповедями. При этом суровой критике подвергались разные злоупотребления и взятки. Горячие головы отстаивали равенство всех людей перед царем и законами, а отчаянные либералы, ссылаясь на рассказы Григоровича и Тургенева, авторитетно заявляли, что крепостное право отжило свой век и со временем должно исчезнуть. Затем, словно убоясь собственной смелости и дальнейшего углубления скользкой темы, все единодушно хваталось за предложение находчивой хозяйки устроить благотворительный концерт в пользу городской богадельни или сбор пожертвований на поддержание сиротского приюта и тут же, чтобы не потерять в собственном мнении, с облегченным вздохом выкладывали на серебряный поднос помятые рублевые кредитки.

Таким изображен орловский «высший свет» в романе Марко Вовчка

«Живая душа». Писательница наделила героиню романа Машу, сироту, живущую у богатой родственницы, светской дамы из города N, теми же мыслями, какие мучили когда-то Машу Вилинскую, заставила пережить те же разочарования, какие пережила она сама, очутившись в этом «блестящем окружении». Автобиографичность романа подтверждают современники, в частности бывшая Машина воспитанница Катя — Екатерина Михайловна Мардовина. Впоследствии она ушла от родителей, стала преподавательницей в институте слепых и в 1881 году обратилась к И. С. Тургеневу с просьбой разрешить прислать ему рассказ с описанием злоупотреблений институтского начальства и отчаянного положения слепых детей. В ее письме есть такие строки: «Видавши меня на какие-нибудь полчаса, Вы бы поняли и цель моего рассказа да и всю жизнь мою. Если Вы читали «Живую душу» Марко Вовчок, это описана вся наша семья, и девочка Катя, описанная там — это я, Маша — двоюродная моя сестра, но я ее в эти двадцать пять лет видела два раза мельком»^{3}.

На первых порах Маше казалось, что словопрения ведутся всерьез, а потом, когда она поняла, что никто из собеседников не поступился бы ради высокой цели своим благополучием, «ей стали вдруг несносны разговоры эти о добре и правде, о силе характера и назначении человека», опостытели «белорукие, кормленные господа с приятными манерами», их «красноречивые разговоры, увлекательные проповеди», их салонное фарисейство, вопиющий разрыв между красивым словом и ничтожным делом... Грошовая филантропия — самое большее, на что они были способны!

«То, на что у нас собираются только в будущем, мне кажется, может быть теперь, в настоящем...» — говорит героиня «Живой души», повторяя мысли, владевшие в ту пору Машей Вилинской.

ДРУГИЕ ГОЛОСА

Был в Орле еще один кружок — молодых людей из дворянской интеллигенции, искренне преданных, в меру своего уразумения, народным интересам. Входили в него старшие из шести братьев Якушкиных, ссыльный украинский этнограф А. В. Маркович: даровитый литератор М. А. Стахович, будущий журналист И. В. Павлов, историк Т. Н. Грановский, приезжавший к родителям в Орел, Н. К. Рутцен и другие. Собирались в доме Якушкиных, где бывал иногда и П. В. Киреевский. Участники этого кружка горячо и серьезно обсуждали положение крепостного крестьянства, вели литературные споры и нередко слушали украинские песни в прекрасном исполнении А. В. Марковича. Проводили они вечера и в салоне Мардовиной, хотя некоторые из этих личностей Екатерине Петровне были совсем не по душе.

Очень странное впечатление производил, например, Павел Иванович Якушкин. В кумачовой рубаше и смазных сапогах, распространявших невыносимый запах дегтя, обросший бородой, нечесаный, с торчащими во все стороны вихрами, в железных очках, которые только и отличали его от мужика, он и внешностью и манерами резко выделялся среди посетителей салона. Словно желая досадить щепетильной хозяйке, он оставлял на воощеном паркете следы от грязных сапог и пугал ее любимых собачек, с визгом разбегавшихся при приближении этого «моветонного господина».

Но зато симпатичный Маркович сразу стал желанным гостем. Афанасий Васильевич вызывал сочувствие своим положением изгнанника, пострадавшего за убеждения, хотя никто толком не знал, в чем его обвиняли и что такое «костомаровская история», в которую он был замешан. Кроме того, в доме Мардовиных, по воспоминаниям Лескова, «у всех тогда жили сильные малороссийские симпатии, доставлявшие в свое время повод беспокоиться местному жандармскому полковнику». Если в этих словах нет преувеличения, то объяснить их можно тем, что Орел всегда имел с Украиной торговые связи, а по линии просвещения относился к Харьковскому учебному округу. Украинцы попадали сюда не только по делам, но иногда и не по своей воле. Маркович был в Орле не единственным ссыльным украинцем.

Держался он очень скромно, жил на грошовое жалованье и беден был, как церковная мышь. Когда в 1848 году, 26 мая, в Орле случился большой пожар, он оценил все свое сгоревшее имущество в тридцать рублей

серебром, и над такой наивностью долго потом потешались его сослуживцы, получившие от казны приличную компенсацию за убытки.

За Марковичем следовали по пятам его приятели — младший помощник орловской правительственной канцелярии Александр Якушкин, который в отличие от своего непутевого брата выглядел вполне благопристойно, и восемнадцатилетний юнец Николай Лесков, недоучившийся большеголовый гимназист, поступивший из бедности «писцом первого разряда» в палату уголовного суда. Как и Маша Вилинская, он еще не догадывался о своем будущем призвании.

Дружба с Марковичем много значила в жизни молодого Лескова. Наслушавшись его рассказов о прелестях украинской столицы, он переехал в конце 1849 года в Киев, где через несколько лет снова встретился с «милым паном Опанасом». Лесков сохранил о нем благодарную память и писал, вспоминая минувшие годы, что обязан Афанасию Васильевичу Марковичу всем своим направлением и страстью к литературе.

Изредка наезжал из пригородной усадьбы Киреевской слободы, в семи верстах от Орла, ревностный собиратель народных песен, литератор-славянофил Петр Васильевич Киреевский. Расстроенное здоровье и привычный образ жизни кабинетного ученого мешали ему пускаться в далекие походы «за песнями». Основную массу текстов доставляли ему из разных мест России друзья и знакомые, а сам он исподволь обрабатывал и готовил к печати свое огромное собрание, насчитывавшее к началу 50-х годов свыше 10 тысяч номеров. Коллекцию Киреевского пополняли в разные годы Пушкин и Гоголь, Языков и Востоков, Погодин и Шевырев, Даль и Кольцов, Якушкин и Маркович.

Якушкин отдал этому делу много лет жизни. Не без влияния Киреевского он ушел с четвертого курса Московского университета, чтобы всецело посвятить себя деятельности этнографа. Он скитался по большим дорогам под видом офени или странника, пропадал целыми днями на сельских ярмарках и базарах, не пропускал ни одной деревенской свадьбы, просиживал долгие вечера в кабаках и трактирах, доставляя в Киреевскую слободу из каждой экспедиции новые запасы народных песен. Неугомонного Якушкина принимали за бродягу, за конокрада, за беглого каторжника, за опасного подстрекателя; прятали «до выяснения личности» в каталажку, запирали в «холодную», возвращали с дороги, отправляли по этапу, отдавали на поруки, делали внушения, держали под надзором, пока не уморили в ссылке. Талантливый писатель, он помещал время от времени в журналах свои очерки о скитаниях по Руси, которые принесли ему известность как замечательному этнографу и знатоку народного быта.

Этнография в ту пору еще не отделялась от фольклора. В ней видели универсальную науку, охватывающую все без исключения стороны народной жизни и народного сознания. Якушкин и Маркович спорили о происхождении народных обрядов, обсуждали новые этнографические сборники, сравнивали русские песни с украинскими, объясняя сходство и различие сюжетов своеобразием исторических условий. В поверьях и приметах, пословицах и поговорках, которыми больше всего увлекался Маркович, они находили выражение многовекового трудового опыта и житейской мудрости народа-земледельца, а в песнях — незамутненное зеркало народной души.

В то время когда Маша Вилинская встречалась с ними в Орле, Киреевский уже завершал, а Якушкин только начинал свой путь писателя-этнографа.

РЕШЕНИЕ

Какой она была в эти годы, видно из воспоминаний Д. Вилинского: «С самых молодых лет сестра тяготела к науке, не имела ни малейшего пристрастия к модничанью, одевалась всегда просто, чесалась без вычур, гладко или косы короной, и это осталось в ней на всю жизнь. Она не любила выездов, тяготилась балами...»

А вот еще портрет, нарисованный ее сыном «Высокая, статная, с прекрасной каштановой косою и еще более прекрасными серыми глазами необыкновенной глубины, она сразу выделилась в орловском обществе и, несмотря на то, что у нее не было никакого приданого и она жила в доме своего дяди в качестве «бедной родственницы», у нее не было недостатка в женихах».

Екатерина Петровна считала своим нравственным долгом сделать все возможное, чтобы обеспечить любимой племяннице жизненное благополучие. Заказывала ей модные наряды, заставляла присутствовать на званых вечерах, выезжать в свет. Стоило разок-другой показаться с ней на балах у вице-губернатора Редкина и предводителя дворянства Скарятина, как отбоя не стало от визитеров, искавших Машиного общества. Больше других понравился Екатерине Петровне богатый помещик Ергольский, владелец роскошного барского дома с колоннами, великолепного английского парка, громадного имения и без малого двух тысяч душ. Не говоря уже о том, что этот блестящий молодой человек служил украшением салона, с его аристократическим именем и завидным состоянием связывались надежды на будущее и — надежды отнюдь не химерические: Ергольский не на шутку увлекся Машей и со дня на день должен был сделать предложение...

«Вырваться из деспотических, грубо ломающих вас рук, — читаем мы в «Живой душе», — не составляет особой трудности для мало-мальски сильного человека, но вырваться из деспотических, любящих рук очень трудно. Когда вам явно и безжалостно закидывают аркан на шею, вы, явно и не стесняясь, стараетесь сбросить его, но когда, прижимая к сердцу и обливая вас слезами любви и нежности, затягивают этот аркан, то вы и задышавшись все еще колеблетесь, как это разорвать петлю, затянутую родною, нежною рукою!»

«Ну, положим, полюбит она, Маша, выйдет замуж и найдет самое завидное, как говорят, счастье. Что это такое, это так называемое завидное-

то счастье?»

«Я хочу другой жизни, совсем другой — жизни настоящей, не на словах, не то, чтобы трогало только и волновало, не то, чтобы голова болела от мыслей, а чтобы тело все ныло, как у настоящего работника, от настоящего труда... чтобы не сидеть калекою при дороге... не лежать камнем... Я хочу этого, вправду хочу... Не то, чтобы пожелать, да и ждать, а хочу, как голодный хлеба, — теперь, сейчас... только о том и думаю...»

«Машино решение было твердо. Вообще раз что-нибудь решив, она не изменяла решения, и никакие страдания, никакие страхи не заставляли ее отступить, но до самой последней минуты она все еще передумывала и с этой передумкой носилась, как с безнадежно больным, но все-таки еще живым ребенком».

Конечно, в жизни все было сложнее, чем в романе, обогащенном зрелыми размышлениями писательницы — одной из первых в России эмансипированных женщин, живущих литературным трудом.

А пока следовало запастись терпением, ждать совершеннолетия, освободиться от опеки. Маша знала одно: какие бы планы ни строила на ее счет благодетельница, она не позволит распорядиться своей судьбой.

Ей минуло шестнадцать лет. В начале нового, 1850 года, к великому изумлению и негодованию Екатерины Петровны, она ответила решительным отказом на предложение Ергольского и объявила о своей помолвке с... Афанасием Васильевичем Марковичем!

После бурного объяснения строптивой Маше был предъявлен ультиматум, и в тот же вечер Афанасий Васильевич получил записку, текст которой сохранил для потомства сын писательницы: «Пиши скорее, как сделать. *Я не задумаюсь.* Ради бога, скорее!»

На следующее утро она покинула дом Мардовиных и нашла приют у своей подруги Юлии Алексеевны Виноградовой — в слободе за речкой Перестанкой.

А. В. МАРКОВИЧ И «КОСТОМАРОВСКАЯ ИСТОРИЯ»

Афанасий Маркович обладал счастливой способностью увлекать молодые души тем, чем сам увлекался, умел пробуждать и направлять в определенное русло дремлющие силы. Величайшая заслуга его — приобщение, к украинской культуре талантливой русской женщины, которую он заставил уверовать в свою одаренность и поощрил ее первые литературные опыты. Если бы прихотливое сцепление обстоятельств не привело ее вместе с Марковичем на Украину, неизвестно, как сложилась бы литературная судьба писательницы, да и вообще стала ли бы она писательницей... Лесков правильно заметил, что «в сумме влияний благоприятных раскрытию душевных сил и таланта Марко Вовчка — Афанасий Васильевич... имел немалое значение».

А. В. Маркович был старше Марии Александровны почти на двенадцать лет^[4]. Он родился в 1822 году на Полтавщине в семье богатого помещика, владевшего родовой усадьбой в селе Кулажинцах Пирятинского уезда. Отец Афанасия — Василий Васильевич Маркович, служивший некогда в канцелярии военного министра, был большим любителем украинских песен и музыки. Он вел себя, как типичный украинский пан, — чуть ли не ежедневно задавал пиры и жил по пословице: «Гость в хату — бог в хату». Великолепная конюшня и выезды, свои певцы и музыканты, многочисленная дворня (в штате насчитывалось тридцать поваров!) и наряду с этим «скубление» за чубы, жестокие порки, выливание неудачных соусов на головы виновников и тому подобные «воздействия».

Пав Маркович веселился и пировал много лет, пока не спустил все состояние. После его смерти сыновьям остались лишь жалкие крохи. Афанасий Васильевич, получив свою долю деньгами, поехал учиться в Киев, и этих скромных средств как раз хватило ему до окончания университета. На последнем курсе он доедал уже последние остатки со своим единственным крепачком Иваном, слугой «за все про все».

Из родительского дома Афанасий вынес привязанность к старым поэтическим преданиям и отвращение к помещичьему произволу.

По словам Д. Вилинского, прожившего с ним бок о бок несколько лет, «это был крупный человек, брюнет, тип истого малоросса, с задумчивым взглядом куда-то в пространство, не обращающий на свою внешность ни

малейшего внимания. Я иначе не могу себе [его] представить, как всего истертого и испачканного, в отрепанных брюках, стоптанных сапогах. Он был крайне забывчив и нетребователен в житейском обиходе. Страстей у него ровно никаких не было. Вся его жизнь, все его стремления сводились к малороссийскому пению, театру, пословицам и поговоркам».

Как собиратель и исследователь народного творчества, А. В. Маркович оставил заметный след в истории украинской этнографии. Ему принадлежит много публикаций народных песен, статей и заметок о народных обрядах, большой сборник украинских пословиц и поговорок, над которым он работал с юных лет. Почти все свои работы Маркович печатал анонимно или под инициалами А. М., и потому его огромный собирательский труд ни при жизни, ни после смерти не получил заслуженного признания. Лишь недавно добросовестная исследовательница О. Коцюба, выявив и внимательно изучив множество его неизвестных работ — печатных и рукописных, — сумела доказать, что А. В. Маркович был выдающимся украинским фольклористом, разделявшим взгляды Шевченко на народное творчество^[5].

Истое народолюбие Марковича сказывалось во всем — и в восторженном отношении к народному языку, и поэзии, и в горячем сочувствии украинскому трудовому люду, и в готовности самоотверженно служить его интересам.

Общие стремления сблизили его с молодыми украинскими патриотами, воодушевленными идеей национального возрождения.

Николай Иванович Костомаров, впоследствии знаменитый историк, был тогда учителем первой киевской гимназии. Он выступал как поэт и драматург под псевдонимом Иеремия Галка. Костомаров воспевал в своих произведениях историческое прошлое вольной, независимой Украины и проповедовал идеи «общеславянской взаимности».

Пантелеймон Александрович Кулиш, смотритель уездного училища в Киеве, тоже увлекался национальной стариной и народной поэзией. К тому времени он успел выпустить роман из казацкой жизни «Михайло Чернышенко», патриотическую поэму «Украина» и напечатать несколько глав из своего лучшего исторического романа «Черная рада». Кулиш возлагал надежды на просветительскую деятельность. Политические преобразования представлялись ему делом второстепенным.

Василий Михайлович Белозерский, будущий издатель первого украинского журнала «Основа» и будущий шурин Кулиша, учился вместе с Марковичем в Киевском университете.

В апреле 1845 года вернулся на родину после окончания

Петербургской академии художеств Тарас Григорьевич Шевченко Украинские патриоты, и особенно студенческая молодежь, встретили его с почестями, как великого национального поэта Афанасий Маркович, тот просто благоговел перед ним, упиваясь каждой шевченковской строкой.

На исходе 1845 года в Киеве образовалось тайное политическое общество, поставившее своей целью уничтожение крепостничества, освобождение всех славянских народов и объединение их в республиканскую федерацию. В честь славянских первоучителей IX столетия Кирилла и Мефодия общество было названо Кирилло-Мефодиевским братством.

Основные идейные положения сформулировал Костомаров В программном документе, озаглавленном «Закон Божий». Характерная черта этого документа — идеализация исторического прошлого Украины, прославление ее былых вольностей и будущей руководящей роли в освобождении всех славян. При этом идеи национального возрождения отчетливо противопоставлялись официальной шовинистической идеологии правительства Николая I, не признававшего ни украинского народа, ни его самобытной культуру, ни его языка.

Если Костомаров и Кулиш с Белозерским мыслили достижение свободы и справедливости мирным, проповедническим путем, с помощью христианской религии как главной объединительной силы, то Шевченко и его сподвижник Н. И. Гулак были убеждены, что мирная проповедь не поможет: на насилие нужно ответить насилием.

К революционно-демократическому крылу тайного общества близки были студенты Андрузский, Посяда, Навроцкий и отчасти Маркович. Последнего меньше всего интересовали теоретические споры. Он жаждал живого дела и с готовностью взялся за редактирование журнала для крестьян — «Сельское чтение». Он перевел на украинский язык несколько статей, знакомящих с начатками знаний, сделал переложение истории Греческой республики, собирался написать учебник географии, проектировал составление «Малорусского словаря» и популярной истории Украины По заявлению доносчика Петрова, Маркович «с сожалением говорил, что никак не может ревностно заняться осуществлением предложенных намерений, потому что Теперь занимается сочинением диссертации, но что по окончании такового занятия он непременно возобновит свои действия».

Весной 1847 года Кирилло-Мефодиевское общество было разгромлено правительством. После этого подверглись запрещению не только книги Шевченко, Кулиша, Костомарова, но даже слова «Украина», «гетманщина»,

«Запорожская сечь». Тогда и было пущено в ход полуофициальное завуалированное выражение «костомаровская история».

Больше всего пострадал Шевченко за свои «возмутительные стихи», найденные в бумагах Марковича, Тулуба и других «братчиков». Поэт был отдан в солдаты и отправлен в Оренбургский корпус «под строжайший надзор с запрещением писать и рисовать». Суровая кара постигла и Гулака, признанного, как и Шевченко, «одним из важных преступников». Зато Костомарову, Кулишу и Белозерскому удалось добиться смягчения своей участи «чистосердечным признанием» и «раскаянием». Первый получил назначение на службу в Саратов, второй — в Тулу, третий — в Петрозаводск.

У Марковича при обыске были найдены письма некой г-жи фон Кирхенштейн, отмеченные «умом, правильностью суждений и истинным русским патриотизмом». Письма обратили на себя внимание следственных органов. Шеф жандармов доложил об этом царю. Оказалось, что выдуманной фамилией Кирхенштейн подписывалась дочь судьи Золотоношского уезда, двадцатилетняя девица Екатерина Ивановна Керстен, приходившаяся Афанасию троюродной сестрой. Письма «г-жи фон Кирхенштейн» в конечном счете облегчили и судьбу Марковича.

Арест в Переяславле, где его настигли жандармы, доставка по этапу в Петербург, допросы, заточение в крепости, обвинение в государственной измене — все это подействовало на него удручающе. Еще не оправившись от потрясения, в июне 1847 года он очутился в Орле, в должности младшего помощника правителя канцелярии губернатора — под личным наблюдением Трубецкого. Впрочем, политический ссыльный не доставлял губернатору больших беспокойств — вел себя примерно и служил аккуратно, хотя не так-то легко было угодить «умоокраденному» князю^[6].

Не прошло и года, как начались хлопоты самого Марковича и его троюродной сестры о переводе на службу в теплые края, например в Одессу. «Здоровье моего брата до того расстроено...» — писала Екатерина Керстен и не кривила душой, так как он и в частных письмах жаловался на разные недуги. Наконец, после того, как шеф жандармов получил от нее пятую слезницу, титулярный советник Маркович в апреле 1850 года был отдан на поруки добронравной девице Керстен с разрешением иметь «свободное жительство в местностях, которые будут полезны для его здоровья, не исключая и Малороссии и с дозволением продолжать службу, где желает». Правда, в идентичном письме к Трубецкому за этими словами, сообщенными Керстен, следовало еще добавление: «...но с продолжением, однако же, учрежденного за ним секретного полицейского надзора».

Итак, трехлетняя ссылка кончилась. Афанасий Васильевич, воспрянув духом, стал готовиться к отъезду на Украину.

ЛЕТО И ОСЕНЬ

Маша Вилинская проявила твердость характера, доказав себе и другим, что способна прожить без чужой помощи хоть на медные гроши. Не желая стеснять подругу, девушку из бедной семьи, она присмотрела по соседству дешевую комнатенку и принялась за поиски работы. Имя Мардовиных висело над ней как заклятье. «Где это видано, — говорили ей, — чтобы шестнадцатилетняя барышня, состоящая под опекой таких почтенных людей, искала место гувернантки?» И все же месяца три она перебивалась случайными уроками и вышиванием гарусом настенных ковриков, пока Екатерина Петровна не умолила ее вернуться на Кромскую...

Между тем Афанасий получил четырехмесячный отпуск в Черниговскую и Полтавскую губернии, надеясь за это время подыскать другую службу. Отъезд его определился на конец июня. С Орлом Машу больше ничто не связывало, и она решила провести лето в Знаменском.

...В старом барском доме жизнь текла по заведенному порядку. Сновали молчаливые слуги, у подъезда дежурил казачок, садовник подстригал газоны и высаживал на клумбу тюльпаны. Варвара Дмитриевна по-прежнему устраивала домашние спектакли и не спускала ревнивых глаз с ненаглядного Митеньки, ни на шаг не отходившего от ее младшего брата Андрея Дмитриевича. В ту пору студент Московского университета А. Д. Данилов позднее стал «вольным литератором». Легкомысленный и беспечный, то впадающий в меланхолию, то в беспричинную восторженность, часто меняющий увлечения и привязанности, он не находил себе места в жизни. Писарев воспарил Ввысь на орлиных крыльях, а Данилов, отстав от «своего» берега и не причалив к другому, разошелся с племянником во взглядах, переживая отчуждение «кроткого», «покорного» Мити с не меньшей, чем Варвара Дмитриевна, горечью. Писарев стал властителем дум революционного поколения шестидесятников, а Данилов, по его собственным словам, — «лишним человеком».

Мария Александровна, еще молоденькой девушкой распознав противоречивую натуру А. Д. Данилова, научилась отделять в его велеречивых рассуждениях зерна от плевел и даже Взяла на себя смелость заметить в одном письме из Знаменского, что Андрей Дмитриевич «вечно говорит пустяки». Но при всех его недостатках, он был добр и отзывчив, обладал широким кругозором, понимал и любил новейшую литературу.

Общение с этим человеком, несомненно, принесло ей большую пользу, хотя вряд ли можно согласиться с утверждением Д. Вилинского, что «ему она больше других обязана своим развитием».

Писаревы доживали в Знаменском последние месяцы. Дом и усадьба с крепостными людьми были проданы за долги, настроение у всех было подавленное, и только делали вид, что ничего особенного не произошло. Бывшие владельцы поместья готовились к переезду в Грунец, усадьбу в Новосильском уезде Тульской губернии, которая обеспечивала им безбедное существование еще на несколько лет.

Маша, не в пример окружающим, чувствовала себя счастливой. Давно ей не жилось так беззаботно, как в это лето. Она много читала, веселилась, вела нескончаемые разговоры с Андреем Дмитриевичем, и никто теперь не смотрел на нее как на бедную родственницу. «Я поздравляю тебя, — писал ей Афанасий, — с довольной жизнью после вечных сцен, своих и чужих неудовольствий, которыми судьба загоняла тебя с детства». Сохранившиеся от той поры ее послания к Марковичу написаны легким, живым пером и дышат юношеской восторженностью.

«Отчего это у меня такой странный характер, — писала она 4 сентября из Знаменского, — все, мне кажется, я испытала, о чем бы я не слыхала и не видала, и все кажется мне не так страшным, как другим, все как будто бы обыкновенно. Равнодушие ли это, упование ли, что все изменится к лучшему, или я уверена, что могу все перенести. Я иногда воображаю все возможные несчастья, и нет ни одного, которого бы я не могла перенести, мне кажется, я бы перенесла все с спокойствием и — сказать ли — с радостью, как искупление всех ошибок невозвратимого прошлого, даже будущего... Ах, Афанасий! Много, много есть такого, чего я не могу сама объяснить тебе словами. У меня так много мыслей, что я как будто всегда думаю. Иногда говоря, я чувствую вдруг какой-то прилив мыслей самых разнообразных добрых, злых, пустых, важных, все так перемешано, и все кажется так странно. Когда я бываю одна с природой, мне кажется, мы вместе думаем, но я, право, не могу рассказать тебе, нельзя. Видел ли ты, как набегают тени на гору после полудня. Мне кажется, все мысли у меня так же одна за другою скоро, скоро, не успеешь за ними следовать. Опять не умею объяснить».

В середине сентября Писаревы со всеми чадами и домочадцами отправились в Задонск — близлежащий городок в верховьях Дона — отслужить напутственный молебен в монастырской церкви. А на другой день Маша застала в Знаменском тарантас, посланный за нею матерью. Прасковья Петровна условилась с дочерью, что она поживет вместе с нею в

Ельце до возвращения Афанасия.

Уже наутро начались паломничества из Екатерининского. Пришла старушка няня и вслед за нею деревенские женщины, внявшие «барышню Марию Александровну» с самого младенчества. Она записала от них много хороших песен, стараясь воспроизвести, как учил ее Афанасий Васильевич, даже малейшие оттенки местного говора. Больше всех Маше понравилась старинная русская песня, которую когда-то пела ей няня, а теперь смогла только произнести, с трудом припоминая слова.

*Через леса, леса темные
Пролегала дороженька
Широким вона не широка.
По той по дороженьке
Мать дитя провозжала,*

*Мать дитяти приказала
«Ты живи, живи, мое дитяtko,
На чужой дальней сторонушке.
Держи голову поклонную,
Ретиво сердце покорное!»*

*— Судариня моя матушка,
Со поклону голова болит,
С терпения сердце высохло!*

Эту печальную песню и другие, записанные осенью 1850 года в Ельце, Маша отслала Афанасию, а тот, >в свою очередь, переправил их Петру Васильевичу Киреевскому.

Первые фольклорные записи будущей писательницы спустя почти восемьдесят лет были напечатаны в последнем выпуске «Песен, собранных П. В. Киреевским»^[7].

НА ПЕРЕПУТЬЕ

А. В Маркович гостил у брата в Остерском уезде, в Золотоноше у Керстенов, навестил на Полтавщине чуть ли не всех друзей и знакомых В селе Мехедовка у помещика В. А Лукашевича неожиданно застал Николая Васильевича Гоголя и весь день 24 сентября провел в обществе великого Писателя Читал ему свои переводы псалмов Давида, пел Украинские песни. Позже Маркович рассказал Кулишу: Гоголь останавливался на лучших стихах по языку и верности изложения; песни слушал с видимым наслаждением, я особенно понравилась ему:

*Да вже третій вечір як дівчину бачив;
Хожу коло хати — її не видати...^[8]*

Но своей нареченной сообщил об этой знаменательной встрече равнодушным тоном в постскриптуме. На родной земле, под родными небесами ничто его не веселило и не радовало. Все зависело от службы — и возвращение к любимым занятиям и семейное счастье, а за четыре месяца ничего не удалось добиться. Человеку, состоящему под надзором полиции, нелегко было устроиться на казенную должность.

«Ты вообрази только, что у меня нет ни копейки денег пока, и пойми наше положение, прибавивши хоть маленькое помышление о моем здоровье, которое в одинаковом положении и о котором ты как будто забыла», — внушал он невесте, настроенной, по его мнению, слишком оптимистично.

Действительно, Афанасий был тогда болен, как сам говорил, и телом и душой, и это наложило тени на его письма к Маше — ворчливые, многословные, бессвязные и к тому же еще заполненные религиозными наставлениями, словно он готовил ее не к супружеской жизни, а к пострижению в монастырь. Лишь в редких случаях его бесцветный слог оживляется народными речениями, украинскими песнями и поговорками. Стилистом он был неважным — не чувствовал ритма фразы и гармонии словосочетаний, выражался выпренне и витиевато. Даже в его украинских письмах к друзьям; написанных несколькими годами позже и куда в более спокойном состоянии, невозможно уловить ни малейшего сходства с гибким, упругим, музыкальным стилем Марко Вовчка. Объективные

критики обращали на это внимание, опровергая клеветнические измышления недругов писательницы, которые никак не могли примириться с тем поистине удивительным фактом, что шедевры сладкозвучной украинской прозы были созданы русской женщиной, и приписывали авторство ее знаменитых народных рассказов... Афанасию Марковичу.

...С тяжелым сердцем вернулся он в Орел и 12 октября приступил к исполнению обязанностей в канцелярии губернатора. Маша все еще жила у матери в Ельце. Первым делом Афанасий нанес визит Мардовиным. «Катерина Петровна, — сообщал он в очередном письме, — без памяти обрадовалась, но, как водится, на другой же день стихла, должно думать оттого, что я не имею еще должности и не совсем выздоровел».

Дальше в переписке наступает почти двухмесячный перерыв, после чего и содержание и тон писем Афанасия резко меняются. Вместо ласкательных имен и прозвищ появляются официальные обращения на «вы», вместо назиданий и упреков — спокойные рассуждения без всякого проповедничества и дидактики. Роли словно переменились. Строгий учитель превратился в робкого ученика. Он полагается теперь на ее «твердую силу», «укрепляющий и освежающий дух», ищет в ней «опоры себе самому на зыбкой водяной поверхности нашей жизни», признает ее нравственное превосходство и склоняется перед душевной добротой: «Вы стоите большей любви, нежели моя. Ваша скорбь о несчастном крестьянине, обреченном на жертву насилия, свята для меня, вы поймете. Ваша воля, не покорившаяся суете, живо благодарит меня, если благодарность может быть и без желания благодарить». «Простите, друг мой, благодарю от всего сердца за доброту ко мне» и т. д.

Что же произошло? Очевидно, при встрече в Орле последовали решительные объяснения. Семнадцатилетняя девушка на самом деле была не такой уж робкой и беззащитной, какой казалась ему до поездки на Украину. Она готова была встретить любые испытания, а он растерялся при первой же неудаче. Афанасий вбил себе в голову, что «она его за муки полюбила», а ей вовсе не нужен был мученик.

Победила сильная воля.

Но нелегко было сломить его упрямство и еще труднее — вдохнуть бодрость и заставить поверить в свои силы. Афанасия точил червь сомнения: достоин ли он ее выбора? Будет ли она с ним счастлива? Прочна ли ее привязанность?

И тут начались размолвки, едва не приведшие к разрыву.

Согласие установилось перед Новым годом, когда он прислал в Грунец (она ездила к Писаревым на новоселье) покаянное письмо: «Не надо было

плодить в голове мыслей о тяжелом ходе наших дел, о своих неправдах к тебе; ты мне простила... и точно сняла облачко, которым я было заволок нашу нежную дружбу...»

В начале января, примиренные, они отправились вдвоем в Киреевскую слободу.

Кабинет ученого, куда Маша попала впервые, казался настоящим храмом науки. Просторная комната была сплошь уставлена книжными шкафами, загромождена большими корзинами и многочисленными картонными ящиками, в которых хранились коллекции Киреевского, различные картотеки, подсобные материалы и выписки из летописей под рубриками: Князь, Вече, Поляне, Северяне, Древляне, Новгород, Псков, Углич и т. д. На подоконниках, на столе, на креслах — повсюду громоздились книги и бумаги. Только сам хозяин в состоянии был разобраться в этом хаосе и мгновенно находил все, что требовалось для работы.

Киреевский с большой симпатией относился к Афанасию Васильевичу, который частенько наведывался к нему в слободу, пользуясь разрешением брать любые книги из его богатой библиотеки, где можно было раздобыть самые редкие материалы по истории и этнографии Украины. Молодого украинофила привлекали к Киреевскому, помимо личной симпатии и широкого круга общих знакомых, этнографические интересы. Несмотря на то, что по образу жизни и антидворянским настроениям Маркович был типичным демократом-разночинцем, религиозные взгляды Киреевского импонировали ему так же, как и приверженность ко всему народному. Впрочем, если бы мы внимательно рассмотрели отношение того и другого к церкви и к народу, то убедились бы, что мыслили они отнюдь не одинаково.

Но в то время религиозный пыл Афанасия еще не вызывал у будущей писательницы раздражения. Напротив, его набожность служила для нее своего рода гарантией хороших человеческих качеств, признаком нравственной порядочности. Пройдет несколько лет, и наметятся глубокие расхождения. Сыграют свою роль и разные взгляды на религию.

А сейчас она не могла еще разобраться в истинном содержании славянофильских идей, и Киреевский был для нее не идеологом определенного направления общественной мысли, а только замечательным этнографом, на чей авторитет опирался Афанасий, направляя свою невесту в русло народнических увлечений.

Именно в этот период Маша Вилинская познакомилась со сборниками народных песен, сама стала делать фольклорные записи, пробовать свои

силы в области художественного перевода и самостоятельного литературного творчества.

Афанасий поощрял ее ученические опыты. «Для перевода книги у меня нет, — писал он ей в Знаменское летом 1850 года, — а если это желание столько же сильное, как искреннее, то отошли Орловского уезда в слободу Киреевскую, Петру Васильевичу Киреевскому песни, если уж ты их сколько-нибудь собрала, и попроси выслать книгу для перевода, чему он будет очень рад; о чем, если захочешь, я наперед ему напишу».

Один из первых исследователей творчества Марко Вовчка — В. Доманицкий видел в ее бумагах листок с началом рассказа на русском языке, датированный 1851 годом.

Мы смело можем сказать, что Афанасий Маркович и его друзья заронили в юную душу семена, которые упали на благодарную почву и дали потом чудесные всходы.

...Наконец все было решено и оговорено.

10 января 1851 года счастливый жених получил «свидетельство» от орловского губернатора П. И. Трубецкого. «Предъявитель сего, служащий в канцелярии моей, титулярный советник Афанасий Васильевич Маркович намерен вступить в брак с дочерью подполковника девицею Марьей Александровой Вилинской, — почему и дано ему сие свидетельство в том, что со стороны моей препятствий к сему не встречается, что удостоверяю моим подписом и приложением гербальной печати».

Бракосочетание состоялось в середине января, в присутствии двух свидетелей — Николая Ивановича Якушкина со стороны жениха и Юлии Алексеевны Виноградовой со стороны невесты. Свадьбу отпраздновали более чем скромно — в холостяцкой комнате Афанасия.

Не решаясь пока что окончательно порывать с Орлом, он выговорил на этот раз двухмесячный отпуск — в Елецкий уезд, Черниговскую, Полтавскую и Киевскую губернии. Настроение у него было бодрое, здоровье заметно поправилось, и вожденная служба уже не казалась несбыточной мечтой.

В конце января молодожены уехали на Украину.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

УКРАИНСКИЕ ЗОРИ

СЕЛО СОРОКОШИЧИ

Если верить биографам, Марковичи в январе 1851 года перебрались на жительство в Чернигов. Д. Вилинский даже утверждает, что Афанасий Васильевич был переведен в канцелярию черниговского губернатора, поручившего ему заведовать редакцией «Губернских ведомостей».

Между тем сохранившиеся документы говорят о другом, только 20 октября он подал прошение на должность корректора «Черниговских губернских ведомостей» и лишь в самом конце года — 25 декабря — был назначен на это скромное место «высочайшим приказом».

Осели они в Чернигове осенью — не раньше, чем освободилось место в редакции, и не раньше, чем кончились неудачей попытки Афанасия Васильевича устроиться учителем в гимназию или найти какую-нибудь службу с мало-мальски приличным содержанием. Семейный человек только с горя мог пойти на пятнадцатирублевое жалованье!

Где же находились молодожены на протяжении десяти с лишним месяцев?

Отвечают на этот вопрос документы в личном деле Марковича: в Елецком уезде, в Черниговской, Полтавской и Киевской губерниях.

...«Я хорошо помню приезд из Орла *молдых* в нашу деревню, сельцо Екатерининское Елецкого уезда, — рассказывает Д. Вилинский. — Наши крепостные люди приходили с поздравлениями и находили, что барышнин муж хоть и хохол, но человек как быть надо, тем более что Афанасий Васильевич хорошо говорил по-русски, зато бывший с приезжими крепостной Марковича Иван представлял из себя до сих пор невиданного у нас истого хохла. Вечно заспанный, со щетинистой бородой, которую он стриг, со своим характерным украинско-полтавским говором, Иван явил собой такую диковинку, на которую сбегались смотреть и старые и малые, и если где-нибудь слышался необычайный регот (громкий смех), там наверняка был Иван и даровые зрители. В дополнение к Ивану, который был порядочный повар, мать предлагала сестре взять с собой из наших крепостных горничную, молодую, 15-летнюю девушку Маринку, но сестра наотрез отказалась и просила мать отпустить Маринку на волю, что и было исполнено. Сестра с мужем пробыли в деревне несколько дней и, собравшись в путь, выехали в Чернигов, взяли с собой и меня...»

Юной Марии Александровне сразу же пришлось взять на воспитание десятилетнего брата, несмотря на то, что сама она еще не оперилась и не

было у них с Афанасием ни кола ни двора. Но поехали они с Митей Вилинским не в Чернигов, а в Остерский уезд Черниговской губернии — к старшему брату Афанасия, офицеру корпуса лесничих.

«Воспоминания» Д. Вилинского были написаны в 1908 году. В старческой памяти могла смешаться последовательность событий. О жизни в лесничестве зимой 1851 года он ни словом не упоминает, хотя и говорит, что был знаком с Василием Васильевичем Марковичем.

Впрочем, допустима и другая версия. За мальчиком заехали осенью — незадолго до того, как А. В. Маркович определился на службу. О его поездке в 1851 году к родственникам жены в Орел вспоминает украинский этнограф М. Т. Симонов.

В Сорокошичах, где помещалось лесничество, Афанасий усердно записывал народные песни, пословицы, поговорки и характерные выражения крестьян Остерского уезда. Некоторые из этих материалов он опубликовал позднее в «Черниговских губернских ведомостях». Мария Александровна, принимавшая деятельное участие в этнографических работах мужа, сопровождала его во всех экскурсиях. В этом глухом уголке, на песчаной полосе между Днепром и Десною, она столкнулась с невиданной прежде нищетой. Представление о Сорокошичах и окрестных деревнях дает одно из писем Афанасия: «Жители бедны, гонят смолу, водят пчелы в соснах, сбывают траву с лугов, а хлеба мало так, что удобренные для него места обгораживают плетнем как огороды. Одежда их убога, красоты не видать...»

Но именно здесь народная память сохранила старинные героические предания. В Сорокошичах можно было услышать легенды и песни о национально-освободительной войне 1648–1654 годов, о подвигах гайдамаков. Здесь Маркович записал с голоса от древней старухи вариант известной думы о брацлавском полковнике Богдана Хмельницкого — Нечае, а также историческую песню об Иване Бондаренко, предводителе гайдамацкого движения на Киевщине.

Самая значительная работа этого периода — «Слова и выражения Остерского уезда» — получила у знатоков высокую оценку. Б. Д. Гринченко в предисловии к четырехтомному «Словарю украинского языка» (1907 г.) назвал ее «наиболее полной работой по собиранию материалов народного языка». С ноября 1851 года лексикографическая статья Марковича печаталась без имени автора на страницах черниговской газеты. Объясняя значение слов, он приводит множество примеров из народных песен и легенд. Статья обрывается на букве «О» и, по-видимому, осталась незаконченной. Только под одним отрывком, включающим запись

народного предания о гайдамаках, стоят инициалы А. М.^[9].

В понимании гайдаматчины как народного освободительного движения Маркович солидарен с Шевченко. По словам этнографа, гайдаматчина была вызвана «жестокими притеснениями малороссийского народа Польшею, основанными на грубом и своекорыстном понятии о народе том как о *хлопах*, существовавшем на свете как бы только для доходов и удовольствий польских панов».

Марко Вовчок придерживалась такого же взгляда на исторический смысл гайдаматчины. В Сорокошичах, как видно, и зародился ее интерес к гайдамацкой теме, которая сопутствовала писательнице на протяжении всей творческой жизни.

Здесь же Маркович, вероятно при участии Марии Александровны, составлял рукописные сборники исторических, бурлацких, чумацких, семейно-бытовых, обрядовых, лирических песен «без малейшего изменения не только склада песни, но и самого выговора, сколько можно уловить его слухом и передать на бумагу».

Отсюда можно заключить, что приобщение будущей писательницы к украинской этнографии началось сразу по приезде на Украину — в 1851 году, когда она первый раз попала в Сорокошичи^[10].

ИЗ ДОМА В ДОМ

Из Остра Марковичи отправились в Киев — восстанавливать прежние связи и хлопотать об устройстве. Побывали в Борзне, Конотопе, Прилуках — всюду, где жили давние знакомые и университетские товарищи Афанасия. Всех он хотел познакомить с красавицей женой! Рядом с нею он возвышался в собственных глазах и представлял перед окружающими в новом свете. Разочарованный ипохондрик, вялый, опустившийся, сломленный тюрьмой и ссылкой человек, каким видели его год назад, теперь возвратился на родину исцелившимся от недуга, в прекрасном настроении — и не один, а со спутницей жизни, да такой, что каждый останавливался в изумлении: «Ай да пан Опанас! И кто бы мог подумать, что тебе так посчастливится!»

Исколесив чуть ли не всю Черниговщину, перебрались на Полтавщину. Жили в Кулажинцах — у младшего брата, помещика Венедикта Марковича, и в Пирытине у ближайшего друга и единомышленника Афанасия Таволги-Мокрицкого, и в Золотоноше у Керстенов. Но долго там оставаться не могли: Екатерина Ивановна недвусмысленно дала понять троюродному брату, что выбора его не одобряет и ни за что не простит «отступничества»: выволить страдальца из беды, чтобы он женился на какой-то захудалой орловской дворянке, как будто на Полтавщине мало своих невест... Вот уж черная неблагодарность!..

Дни проходили за днями, а Марковичи разъезжали по городам и весям, от родственников к знакомым, от знакомых к знакомым родственникам, бродили по ярмаркам, останавливались на хуторах, беседовали со старухами и молодницами, записывали песни и пословицы, а за обедами у панов Мария Александровна подмечала острым взглядом их барскую спесь и пренебрежение к холопам. И куда бы ни приводила извилистая дорога — в чертоги «ясновельможного» пана, чьи владения простирались на десятки верст, в хоромы оскудевшего помещика, которому оставалось только кичиться своей родовитостью, в усадебку какого-нибудь замшелого хуторянина, сетовавшего на нерадивых крепачков, — везде она видела то же, что на Орловщине: право силы и полное бесправие, бесстыдное барство и неизбежное горе. Только украинские магнаты почему-то вбили себе в голову и доказывали с печей у рта, что в Малороссии вместе с воспоминаниями о вольном «козацтве» сохранились еще патриархальные нравы и такое мягкое обращение с крепачками, какого в Великороссии нигде

не встретишь. Каждый пан старался уверить, что живет со своими «хлопами» душа в душу и опекает их как отец родной. А холопы убегали от непосильной барщины, прятались в лесах, поджигали усадьбы и, случалось, учиняли расправы над ненавистными панами...

Посмотреть со стороны на украинскую деревню — все радует глаз, обещает покой и тишину.

«Я гляжу, а солнышко заходит: речка течет, как чистое золото, между зелеными берегами; кудрявые вербы в воде свои ветки купают; цветет-процветает мак в огороде; высокая конопля зеленеет; кой-где около белой хатки краснеет вишенья; высокий куст калины кровлю подпирает да всю белую стену закрывает; и сама хата в саду цветущем, как в венке, стоит. И зелено, и красно, и бело, и сине, и ало около той хатки... Тихо и тепло, и везде насквозь багряно — и на небе, и на взгорьях, и на воде... господи!»^[2]

Какая идиллия! Какое благолепие! А подойдешь поближе, заглянешь в оконца этих беленьких, чистеньких хаток и заметишь то, что издали ускользает от взора, — и нужду неприглядную и скорбь невыразимую.

За время этой первой и самой длительной поездки по Украине Мария Александровна многое поняла и узнала.

Убедилась, что между панами и холопами не может быть мира и согласия точно так же, как между русскими помещиками и мужиками.

Полюбила на всю жизнь украинскую природу, познакомилась с народным бытом, еще больше прониклась этнографическими интересами мужа, которые теперь только и стали по-настоящему ее собственными интересами, ощутила прелесть украинской народной поэзии, запомнила много песен, научилась понимать и объясняться по-украински.

ЧЕРНИГОВ

О жизни Марии Александровны в Чернигове сведений почти не сохранилось. Известно лишь, что летом 1852 года у нее родилась дочка Леля, не прожившая и нескольких недель, а поздней осенью Марковичи ездили в Орел и снова виделись с Киреевским, который передал Афанасию Васильевичу выписку из какого-то старинного документа для публикации в «Черниговских ведомостях». Известно еще, что после неудачных родов Мария Александровна долго болела, что жилось ей в Чернигове нелегко и уже в конце 1852 или в самом начале 1853 года она перебралась с мужем в Киев, где он получил другую службу. Обо всем остальном можно лишь догадываться на основании разрозненных фактов, относящихся не столько к ней самой, сколько к черниговскому окружению.

Итак, в Чернигове они провели немногим более года. Праздники сменились томительными буднями. Скучного жалованья Афанасия едва хватало на квартиру и пропитание. А ведь приходилось еще обращаться к доктору, заказывать лекарства, платить за Митю в гимназию, не говоря уж о других расходах. Не мудрено, что Марковичи залезли в долги и не скоро от них избавились.

Но было и другое — книги, встречи с интересными людьми, непрекращавшиеся занятия этнографией. Новые знания и новые впечатления обогащали внутренний мир молодой женщины. Не прошло для нее бесследно и само пребывание в Чернигове, этом заповеднике древнерусского и старинного украинского зодчества, где словно оживают летописные сказания и каждый камень овеян легендами.

В незапамятные времена уводят остатки славянских городищ и могильные курганы. Тревожат воображение величественные храмы, воздвигнутые в XI–XIII веках князьями-воителями во славу божию и для увековечения ратных подвигов. В Благовещенском соборе, от которого остались одни фундаменты, был похоронен Всеволод Святославич, воспетый в «Слове о полку Игореве», в Борисоглебском соборе — князь Изяслав, в Спасо-Преображенском — Мстислав Владимирович. Ансамбли Елецкого и Троицко-Ильинского монастырей, средневековые церкви и соборы определили облик старого Чернигова, почти не изменившийся в последующие столетия, когда многострадальный город подвергался опустошительным татарским нашествиям, входил в состав и великого княжества Литовского и Речи Посполитой, и только в середине XVII века

окончательно воссоединился с Русским государством. И поныне на валу, откуда открывается чудесный вид на Десну с песчаными плесами и широкими заливными лугами, красуются чугунные пушки, доставленные в Черниговскую крепость по велению Петра Великого.

Если бы не славное прошлое и не памятники старины, Чернигов ничем не выделялся бы из массы провинциальных городков, оживлявшихся только в дни ярмарок, приуроченных к престольным праздникам, и больших пожаров, вносящих непредвиденное разнообразие в привычную серенькую жизнь. А тут, на этом живописном фоне, среди фруктовых садов а пирамидальных тополей, еще более разительными казались контрасты величия и убожества, красоты и запустения.

В 1851 году на восемь тысяч жителей в Чернигове насчитывалось четыре трактира и тридцать три шинка, украшенных одинаковой вывеской-натюрмортом: прохожих приманивала одним глазом все та же вездесущая рыбина с вилкой, воткнутой в бок, в веселом окружении тарелок с закусками и сосудов разных размеров — от скромной рюмки до ведерной сулеи. И как ни бедна была фантазия местного живописца, его усилия не пропадали даром: большую часть доходов город получал от питейного откупа.

Обыватели — в основном мелкие торговцы и ремесленники — жили для чиновников и за счет чиновников, которые, по словам осведомленного современника, и сами «едва имели пропитание, да и то от барышей недозволенных».

Вместе с тем захолустный Чернигов располагал всеми атрибутами губернского города, не исключая и собственной еженедельной газеты, где печатались распоряжения властей, приметы «беспачпортных бродяг», списки несостоятельных должников, сведения о перемещении чиновников, о движении цен на местном рынке, метеорологические сводки и разные городские новости. И наряду с этим в так называемой «Неофициальной части» — всякого рода этнографические и краеведческие материалы.

И тут мы подошли к самому главному. Газета, в которой А. В. Маркович числился корректором, а на самом деле редактировал «Неофициальную часть», была первым и единственным в те годы органом печати, вокруг которого группировались украинские этнографы, историки, фольклористы. Это был кружок энтузиастов, содействовавших вопреки русификаторской политике царского правительства сплочению национальных культурных сил.

Поэт-романтик Александр Шишацкий-Иллич увлекался, как и Афанасий, собиранием украинских пословиц и поговорок, печатал в газете

этнографические статьи и так искусно имитировал народные песни, что Кулиш, не заподозрив мистификации, включил сочиненную им «Думу — сказание о морском походе старшего князя-язычника в христианскую землю» в фольклорный сборник «Записки о Южной Руси»; и эта литературная подделка создала Шишацкому большую известность, чем его оригинальное поэтическое творчество.

Учитель гимназии Александр Тулуб публиковал работы о народных говорах Черниговской губернии. Университетский товарищ Афанасия, он тоже привлекался к дознанию по делу Кирилло-Мефодиевского общества и был сослан в Черцигов за то, что при обыске у него был обнаружен список «Заповіта» Шевченко.

Борзненский помещик Николай Михайлович Белозерский, младший брат кирилло-мефодиевца Василия Белозерского, с энтузиазмом собирал фольклорные материалы и обменивался ими с А. В. Марковичем. К сотрудничеству в «Черниговских губернских ведомостях» он привлек баснописца Леонида Глибова и историка Александра Лазаревского.

Эти люди были связаны с Марковичами не только общностью интересов, но и дружескими отношениями.

ЧЕРНИГОВСКАЯ ЗНАТЬ

Дворянскую верхушку города составляли в числе прочих известные на Украине семьи Лизогубов и Галаганов, в чьих поместьях не раз останавливался Шевченко. Афанасий Васильевич в роли фактического редактора «Ведомостей» так или иначе должен был с ними соприкоснуться.

В начале пятидесятых годов в Чернигове часто устраивались благотворительные концерты в пользу детского приюта и «семейные музыкальные вечера» в доме Г. П. Галагана или Я. Г. Макарова, председателя Черниговской палаты гражданского суда. В основание вечеров, писала газета, было положено «три элемента — истина, добро и изящество». Среди исполнителей блистали малолетние сестры Макаровы и оба великовозрастных брата Лизогуба, Илья Иванович и Андрей Иванович. В газетных отчетах, которые составлял, по-видимому, Афанасий Васильевич, особо отмечалась «вдохновенная игра» Николая Андреевича Маркевича. Это был известный украинский деятель — историк, этнограф, поэт и музыкант, приходившийся А. В. Марковичу дальним родственником. Они виделись и позже — в Киеве, о чем Маркевич упоминает в своем неопубликованном дневнике. В 1852 году он работал в местном архиве и напечатал в губернских «Ведомостях» большую статью «Историческое и статистическое описание Чернигова», которая говорит об отличном знании жизни, быта и всех особенностей города. Маркевич и ввел молодых супругов в черниговский «свет».

Этот незаурядный деятель интересен для нас в двух отношениях — как автор «Истории Малороссии», пятитомного компилятивного труда, которым пользовалась, изучая историческое прошлое Украины, Марко Вовчок, и как приятель Шевченко, часто встречавшийся с ним в Петербурге в сороковых годах и на Украине, когда поэт приезжал на родину.

В годы пребывания на Украине Мария Александровна с жадностью ловила каждое новое слово о гениальном поэте, от кого бы это слово ни исходило.

КИЕВ

Расстаться с Черниговом Маркович решил уже в сентябре 1852 года, когда писал Киреевскому: «В благодарность за свои труды я таки дождался награды: публичную брань в лицо и чуть не бесчестие... Радуюсь, что не болезнь жены будет главной причиной моего удаления отсюда, а они сами — мои выродившиеся земляки...» По-видимому, столкновения с начальством — чиновниками губернского управления были вызваны невозможностью беспрепятственно проводить в газете ту линию, какую он считал верной. Как бы то ни было, в феврале 1853 года он сообщил из Киева своему преемнику Н. М. Белозерскому, что принят бухгалтером по продовольственной части в Палату государственных имуществ. В сентябре того же года его перевели на должность стряпчего, а 19 августа 1854 года Маркович вышел в отставку и в течение целого года нигде не служил.

Канцелярская работа меньше всего соответствовала его темпераменту. И хотя перспективы были самые неутешительные, Мария Александровна не препятствовала его уходу со службы. Вынуждала к этому и обстановка, сложившаяся в Киеве в годы Крымской войны.

Современники рассказывают о постыдном хищничестве чиновников, о «героях тыла», которые неслыханно наживались на военных поставках в то время, как с юга тянулись через весь Киев скорбные обозы с изувеченными солдатами, валявшимися на грязной соломе в телегах и арбах. По словам Н. С. Лескова (он проводил тогда в Киеве спешные наборы рекрутов), «город жил наживной лихорадкой». «Война на полуострове была вскрытием затаенного нарыва». «Глухая пора николаевского царствования» приносила свои «каиновы плоды...».

Афанасию Васильевичу поручено было сформировать в Киевской губернии «возовую полубригаду и конную роту подвижного магазина для действующих войск». Выполняя задание, он сталкивался на каждом шагу с вопиющими злоупотреблениями людей, строивших свое благополучие на всенародном бедствии. Состоять на государственной службе, не потакать взяточникам и казнокрадам, было почти невозможно и еще труднее — самому не выпачкаться в грязи. Вот почему скрупулезно честный Афанасий предпочел полуголодное существование «нормальной» чиновничьей карьере, которую сулило «Высочайшее Государя Императора благоволение», записанное в его формуляре после того, как сформированное пополнение было отправлено на фронт.

27 октября 1853 года у Марковичей родился сын Богдан — будущий математик, революционер, журналист, любимец Марии Александровны, ее радость, ее гордость, самое близкое и дорогое существо до последнего часа жизни...

Копия метрического свидетельства, найденная недавно в его университетском деле, позволяет установить немаловажную биографическую подробность. Крестной матерью Богдана была «дочь генерала от кавалерии Репнина княжна Варвара Николаевна».

Каждому, кто знает жизнь Шевченко, известно имя горячей почитательницы его таланта Варвары Николаевны Репниной, дочери героя Отечественной войны, опального наместника Малороссии, князя Н. Г. Репнина и племянницы декабриста С. Г. Волконского. Известно о ее неразделенной любви к поэту, о безуспешных хлопотах ее перед шефом жандармов, которого она умоляла, пользуясь родственными связями, смягчить участь Шевченко-солдата, сосланного в Аральские степи. Их дружеские отношения и переписка продолжалась много лет.

Думается, что выбор кумы не был случайным. А. В. Марковича связывала с Репниной память прошлого, общие знакомые и друзья, Марию Александровну — увлечение вольнолюбивыми стихами Шевченко. Можно представить себе, какое значение имели для нее задушевные беседы с этой женщиной и как много нового узнала она о любимом поэте, который, как писала Репнина, «купил ужасными испытаниями право громить сильных...».

В Киеве, как и в Чернигове, Марковичи дружили с украинскими демократами, подвижнически преданными родной литературе и народному творчеству. Некоторых из них Афанасий знал еще с юности.

Д. С. Каменецкий, скромный и удивительно бескорыстный молодой человек с университетским образованием, был тогда мелким чиновником. Пройдет несколько лет, и в качестве управляющего типографией он станет незаменимым помощником Кулиша во всех его литературно-издательских начинаниях, будет хлопотать о выпуске сочинений Шевченко и поможет в обход цензуры внести в текст «Кобзаря» ряд поправок, перепишет для набора рукопись «Народних оповідань» (рассказов) Марко Вовчка и окажет писательнице немало ценных услуг.

Другой знакомый, учитель гимназии М. К. Чалый, оставит мемуарные свидетельства о пребывании Марковичей в Киеве. Горячий поклонник Шевченко, он исподволь соберет огромный материал о его жизни и деятельности и напишет первую подробную биографию поэта.

Но едва ли не самой колоритной личностью из всех, с кем встречалась

Мария Александровна в Киеве, был жизнелюбивый, общительный, энергичный Степан Данилович Нос, помнивший наизусть несметное множество текстов и мелодий украинских песен. В 1854 году он окончил университет и в дальнейшем умело пользовался своей профессией врача для изучения народной медицины и поэзии. В шестидесятых годах ему довелось пройти и тюрьму и ссылку по подозрению в принадлежности к организации «Земли и воли». И как раз в то время, когда над ним уже сгущались тучи, Марко Вовчок спрашивала Афанасия в очередном письме из Парижа: «Что делает Нос?.. Поклонись от меня этому славному человеку Носу Не варит ли он мед, как когда-то в Киеве?»

К пестрому кругу киевских знакомых Марковичей принадлежал и Н. С. Лесков, внутренне уже подготовленный к вступлению на литературное поприще, и коллекционер украинских рукописей Ф. И. Дейкун, и поэт-романтик А. Л. Метлинский, который, как мы увидим дальше, сыграл определенную роль в жизни обоих супругов, и люди совсем иного склада, вроде богачей-помещиков В. В. Тарновского и Н. А. Ригельмана.

КАЧАНОВНА

В письме из Таращи и Черкасс (январь 1854 г.) Афанасий просил жену составить полный реестр долгов: «Не забудь в Орле Снежкова 10 р. с процентами, в Каменец-Подольске Демьяненко 125 р. с процентами... не забудь 151 р. 50 к. с. Вас. Вас. Тарновскому...»

С последним Маркович был в приятельских отношениях еще в сороковых годах, когда тот устраивал в Киеве литературные вечера, которые посещали члены Кирилло-Мефодиевского братства. В 1853 году Василий Васильевич унаследовал от бездетного дяди Г. С. Тарновского громадное имение в Борзненском уезде — прославленную Качановку, с роскошным парком, занимающим сотни десятин, и дворцом, возведенным по проекту самого Растрелли. В Качановке бывал Гоголь, Глинка здесь писал «Руслана и Людмилу», часто и подолгу гостил Шевченко, а в более поздние годы И. Е. Репин работал над «Запорожцами».

Жестокий крепостник-самодур, Г. С. Тарнавский оставил по себе недобрую память. «Высокопарная речь, по большей части бессмысленная, сознание своего достоинства, заключавшегося только в богатстве и звании камер-юнкера, приобретенном сытными обедами в Петербурге, посягательство на остроумие, претензии на меценатство, ограничивавшиеся приглашением двух-трех артистов на лето к себе в деревню, где им бывало не всегда удобно и приятно, скупость, доходившая до скряжничества, — вот характеристические черты Григория Степановича», — писал о нем сосед по имению, помещик Селецкий^{11}.

Глинка поражен был его скупостью и невежеством; Шевченко нарисовал образ «гносного сластолюбца», введшего такие улучшения по имению, от которых «мужички запищали». В повести «Музыкант», откуда взяты эти слова, рассказчик восклицает: «О, если бы я имел великое искусство писать! Я напивал бы огромную книгу о гнусностях, совершающихся в селе Качановке».

В. В. Тарновский в отличие от дяди проявлял себя как либеральней общественный деятель. Обладая неограниченными средствами, он положил начало замечательной коллекции малороссийских древностей, которую продолжал затем пополнять его сын. Почетное место в домашнем музее Тарновских занимали рукописи, рисунки и различные реликвии Шевченко^{12}. Однако общественное положение владельца нескольких тысяч душ толкало мецената Тарновского на практические действия, несовместимые с

цветистыми фразами о любви к угнетенной родине и ее страдающему народу. Почитание Шевченко не мешало ему быть фактическим союзником Галаганов, Лизогубов, Кочубеев, Скоропадских, которые, при всем своем «украинофильстве», не стеснялись сдирать по три шкуры с «братьев-гречкосеев».

Этого не могли не почувствовать Афанасий и его молодая жена, когда Тарновский пригласил их осенью 1854 года к себе в Качановку, поручив А. В. Марковичу заняться статистическим описанием своих владений. Служба у богатого покровителя продолжалась не больше месяца. Как вспоминал потом сын Тарновского, «Афанасий Васильевич занимался в Качановке больше собиранием народных песен и пословиц, чем статистикой, проводя целые дни на мельнице с помольцами». Но покинули они Качановку вовсе не из-за лени Афанасия. Мария Александровна объяснила М. К. Чалому, удивленному их внезапным возвращением: «Афанасий нашел, что ему, не имея почти никакого дела, даром брать деньги не приходится, и потому мы и уехали в Киев».

Новый хозяин Качановый показывал ей рукописи и рисунки Шевченко, а крепостные слуги, делясь воспоминаниями о встречах с «паном Тарасом», простодушно рассказывали полулегендарные истории о его смелости и свободолюбии. Еще при жизни Тарас Шевченко превратился в народного героя, и молва о крестьянском сыне, перед которым заискивали и которого наперебой зазывали в свои хоромы вельможные паны, переходила из уст в уста.

ИСТОКИ ТВОРЧЕСТВА

Когда Афанасий имел казенную должность, у Марковичей была приличная квартира в центре города, на Большой Владимирской улице. После возвращения из Качановки они снимали дешевый номер в «Московской гостинице», откуда вскоре перебрались на Куреневку — предместье Киева, ничем не отличавшееся в те годы от обыкновенного украинского села. Здесь они жили в простой хате, среди хибарок оброчных крестьян и мещанского люда, пробавлявшегося огородничеством.

Десять месяцев, проведенных за чертой города, дали Марии Александровне больше жизненного материала для «Народних оповідань», чем предшествующие три года. Именно здесь она в совершенстве овладела народным украинским языком. Таковую выразительную, богатую, сочную, певучую речь с характерными интонациями, своеобразным синтаксисом и непринужденным юмором можно было почерпнуть не из книг и не в общении с украинскими интеллигентами, а непосредственно из народных уст. Помогли ей в этом не только изумительные способности к усвоению живой речи, но и умение сблизиться с простыми людьми. Где бы она ни была, крестьянские девушки и женщины приходили к ней за советами, «зливали душу, приглашали на свадьбы и крестины.

Киевский период имел решающее значение в подготовке молоденькой «пани Марковичевой» к литературной деятельности. В ее бумагах сохранилось немало песен, записанных от знакомых женщин в самом Киеве и на окраинах — Приорке и Шулявке, в деревнях Борщаговке, Броварах, Сычевке и т. д.

В те же годы она начала составлять словарь живого украинского языка, над которым работала всю жизнь, пополняя его все новыми и новыми речениями. Уцелело несколько тетрадок с записями народных обозначений погоды и метеорологических примет, названий деревьев, трав и цветов, всевозможных обрядов, вышивок и мережек, ремесленно-профессиональных терминов с переводом на русский или французский язык. Здесь выписаны столбцами идиоматические обороты, синонимы, эпитеты, меткие выражения, загадки, прозвища, имена собственные, названия сел и хуторов.

Тетради 1855–1857 годов заполнены записями лирических, казацких, чумацких и рекрутских песен, пословиц и поговорок, имеющих ярко выраженную социальную окраску: «Як бідний плаче, то ніхто не баче, а як

багатий скривиться, то усяке дивиться», «З щастя та з горя сковалася доля», «Багатство дме, а нещастя гне», «Прибрався к святу у нову лату», «Багатий шепче з кумою, а вбогий з сумою» и т. п. Тут же мы находим и первоначальные наброски оригинальных художественных произведений на украинском языке, близкие по содержанию и стилю к «Народним оповіданням».

Разглядывая эти самодельные тетрадки, словно проникаешь в лабораторию писательницы — следишь за тем, как она жадно впитывала в себя богатства народной лексики, промывала россыпи драгоценного словесного материала, который лег в основу ее творческой работы.

Казалось, сама судьба свела поэта Метлинского, занимавшего в 1850–1854 годах кафедру русской словесности в Киевском университете, с супругами Марковичами. Они приняли самое деятельное участие в подготовке его замечательного фольклорного сборника «Народных южнорусских песен», напечатанного, и далеко не в полном виде, лишь по прошествии семи лет цензурных мытарств. Добившись, наконец, визы цензора, Метлинский вернулся в Харьков, передоверив А. В. Марковичу типографские хлопоты и корректуры.

Афанасий добывал для него песни где только мог. Уже на исходе 1852 года он поставил в известность М. К. Чалого о готовящемся издании.

«Узнав о моем перемещении из Немировской гимназии во вторую Киевскую, — вспоминает Чалый, — Афанасий Васильевич тотчас явился ко мне и стал канючить, чтобы я передал ему для напечатания несколько песен, записанных мною в Подольской губернии». Н. М. Белозерского он просил «поспешить с высылкою на имя Амвросия Лукьяновича Метлинского хоть несколько десятков [песен], во всех возможных родах» и опубликовал при его содействии в «Черниговских губернских ведомостях» составленную Метлинским программу для собирания образцов устного народного творчества — один из первых программных документов в истории украинской и русской фольклористики^[13].

В предисловии к «Южнорусским народным песням» Метлинский выразил благодарность этнографам, которые бескорыстно делились с ним собранными материалами.

Среди упомянутых лиц значится имя М. А. Марковичевой (М. А. Маркович).

Мария Александровна передала Метлинскому две исторические песни про сподвижника Богдана Хмельницкого козака Мороза (Морозенко), записанные ею в Родомысльском и Пирятинском уездах.

Что касается Афанасия, то он напечатал в сборнике Метлинского около

тридцати песен, хотя его фамилия значится лишь под одной-единственной («Былина про Нечая»). По разным соображениям Метлинский зашифровывал имена непосредственных собирателей, указывая их только изредка. Поэтому можно предположить, что и Мария Александровна передала ему не две песни, а больше.

Заметим, что в этом же сборнике представлены «житейские любовные» и «семейно-родственные песни», собранные Н. В. Гоголем в 1832–1834 годах на Полтавщине.

Случайный, но многозначительный факт: имя безвестной собирательницы народных песен девятнадцатилетней М. А. Маркович впервые упомянуто в печати рядом с именем великого Гоголя, оказавшего наряду с Шевченко заметное влияние на формирование и последующее развитие творчества Марко Вовчка.

Прижизненные публикации ее фольклорных записей не ограничиваются сборником Метлинского.

Позже Афанасий напечатал в «Черниговском листке» (1863, № 10) записанные ею в 1854 году «со слов жительницы хутора Петрушовка Ворзненского уезда Палашки Квитчиной» два рассказа про «мавок» — маленьких русалок, которые пляшут на берегу в ночь на «святое воскресенье» и поют:

*Не мий ноги об ногу,
Не сій муки над діжу;
Ух, ух,
Солом'яний дух, дух!
Мене мати уродила,
Нехрищене положила...*

В 1864 году М. Т. Симонов, писавший под псевдонимом Номис, выпустил в Петербурге обширный сборник украинских пословиц и поговорок («Українські приказки, прислів'я и таке инше»), положив в основу издания богатейшую коллекцию А. В. Марковича — итог многолетней деятельности фольклориста. На страницах этого сборника много раз упоминается имя Марко Вовчка как собирательницы пословиц и поговорок.

В 1872 году Н. И. Костомаров издал свою известную монографию «Историческое значение южнорусского народного песенного творчества». В этом труде, сказано в предисловии, автор обнаружил «довольно

значительное количество песен», переданных ему Марией Александровной Маркович. Некоторые песни были записаны ею самой, другие — ее мужем.

Учтены далеко не все публикации. Есть основания думать, что писательница снабжала фольклорными материалами из своего собрания и М. П. Драгоманова, выпустившего несколько сборников украинских народных песен.

О том, как она напела в Париже композитору Мертке и он положил с ее голоса на ноты двести украинских песен, речь еще впереди. Но тут будет уместно познакомить читателей с не переведившимся на русский язык чудесным вступительным словом Марко Вовчка к первому и, к сожалению, единственному выпуску ее сборника:

— «Эти песни собраны на Украине среди народа. Пели их и старики, и молодые, и дети. Хранились эти песни в памяти, пока не. посчастливилось встретить г. Э. Мертке, который и положил их теперь на ноты.

Надо, говорят, похвалить перед добрыми людьми эти песни, — да хотелось бы знать, кто и как решится хулить их? Если по совести да смелости набравшись сказать, так, верно, лучше украинских песен нет на всем свете великом.

Тому же, кто собирал их, каждая песня будто рисует и голосом и словом народ и краину: рисует печальную и грозную фигуру певца и нежное лицо испытанной певуньи: вызывает в памяти седые головы, закаленные в беде слепой, и молодежь живую, жизнерадостную; расстилает перед глазами тихие цела, степи бескрайние, леса и луга свежие, нивы тучные, тропы и дороги торные... Одна песня течет Днепром синим, другая Десной златобережную, а третья тоже какой-нибудь неведомой реченькой переливается тихо, или озером прозрачным плещет в берега, травой поросшие, или звонкими камышами шелестит где-нибудь над прудом хуторским, или Цветком пахучим красуется и благоухает... Есть маленькая Детская песенка: «Ой, ти, коте, не гуди»; стоит лишь первое ее словечко услышать — точно чарами некими вмиг прогонит любой прекрасный образ, какой бы вам в это время бог ни послал, и как живое встанет ребячье личико, круглое, свеженькое, с двумя веселыми звездочками вместо глаз, а вместо губ — ягода луговая, и слышишь — тонкий голосок звенит Тихонько и ласково над спеленатым братиком, что дремлет в колыбели, — а вокруг убогая усадьба и богатая весна, и по всей земле, кажется, ходит дрема и так сладко колышет, колышет, колышет. И кажется, уснул бы усталый человек, когда б иные песни не будили...»^[3]

Эти слова как нельзя лучше раскрывают привязанность писательницы к украинской народной поэзии, оплодотворившей ее оригинальное

творчество.

ИНТЕРЛЮДИЯ

Пожалуй, за все годы супружеской жизни Марковичи так не бедствовали, как в эти месяцы на Куреневке. Благодаря широкому кругу знакомств Афанасий Васильевич занимал и перезанимал небольшие суммы, а Мария Александровна закладывала и перезаклаживала все, что можно было заложить. Но молодость брала свое. Никакие невзгоды не выводили их из равновесия. Быть может, именно это время, когда они без особых помех могли отдаваться любимому делу, было для них самым счастливым.

Как трудно им жилось, мы знаем из воспоминаний М. К. Чалого. Он был изумлен, найдя Афанасия с семьей «в самой бедной лачуге, даже без дверей, вместо которых вход в квартиру был завешен какой-то дерюгой».

Увидев на полу кучу книг, он спросил;

— А что это у вас, Афанасий Васильевич, за книги?

— А это оставшиеся нераспроданными песни Метлинского ^[4].

— А сколько их у вас осталось?

— Кажется, экземпляров тридцать.

— Хотите, я их продам? Кстати, мне приходится сейчас читать моим ученикам о народной поэзии — они их и разберут...

Сказано — сделано. Книги были проданы гимназистам, и вырученные 30 рублей отосланы с Митей Вилинским Афанасию Васильевичу.

«На следующий день, — продолжает Чалый, — к квартире моей, в новом цилиндре от Огюста и сиреневых перчатках, подкатил на лихаче Афанасий Васильевич: под мышкой ящик бомбических сигар, другой — с сухими конфетами от Балабухи и еще что-то в свертке — так что как я посчитал все, что было куплено, то из 30 рублей едва ли что-нибудь осталось на продовольствие. Ну, думаю себе, тут не поможет никакая субсидия. Нужно придумать что-нибудь другое. Посоветовавшись с некоторыми из своих сослуживцев, я склонил в пользу Афанасия Васильевича инспектора казенных училищ Тулова, который и предоставил ему должность учителя географии в Немировской гимназии».

Здесь мемуарист не совсем точен: М. А. Тулов был тогда директором Немировской гимназии, а в Киев перевелся только в 1857 году. Возможно, что Чалый и просил Тулова о Марковиче, но реальную помощь оказали ему более влиятельные знакомые — через посредство Н. Р. Ребиндера, замещавшего попечителя Киевского учебного округа.

Но никакая протекция не возымела бы действия, если бы не кончилось позорное тридцатилетнее царствование Николая I.

Каковы были общественные настроения, можно судить по дневниковым записям Веры Сергеевны Аксаковой, дочери писателя, далекой, кстати сказать, от всякого радикализма. Незадолго до смерти царя она писала: «Положение наше — совершенно отчаянное: не внешние враги страшны нам, но внутренние — наше правительство, действующее враждебно против народа, парализующее силы духовные». Прошло несколько месяцев, и настроения резко изменились: «Все невольно чувствуют, что какой-то камень, какой-то пресс снят с каждого, как-то легко стало дышать; вдруг возродились небывалые надежды: безвыходное положение, к сознанию которого почти с отчаянием пришли, наконец, все, вдруг представилось доступным изменению».

Конечно, это были иллюзии. Либеральные послабления ни в коей мере не затрагивали основ самодержавно-помещичьего государства, да и послабления были временными. Но именно в этот период начинается подъем и демократизация общественной мысли. Стали поговаривать о неизбежности реформ и ликвидации крепостного права...

Новые веяния отразились и на судьбе Марковичей. 24 августа 1855 года Афанасий Васильевич получил назначение на должность «младшего учителя географии в Немировскую гимназию с окладом» триста рублей серебром в год». 28 августа ему был выписан проездной билет и выдано денежное пособие.

НЕМИРОВ

Дорога из Винницы в Немиров так красива, что кажется неправдоподобной. Высаженные еще при Румянцеве древние липы на десятки верст образуют сплошную аллею. Узловатые корни выпирают из земли, ветви тянутся от самого низа, сплетаясь в округлые кроны, и каждое дерево породит на зеленый шатер. Если добавить к этому пасущихся там и сям овец под присмотром пастушков в широкополых соломенных шляпах, то невольно вспоминаются буколические пейзажи фламандских живописцев. И думаешь: в этих местах бывала Марко Вовчок, любовалась, как и мы сейчас, этими «райскими кущами», отдыхала под отрадной сенью этих же самых лип. И приходят на память панегирические строки из мемуаров Чалого:

«Благословенная земля, счастливая Подолия! Кому хоть раз в жизни удалось насладиться прелестями твоей богатой природы, подышать ароматическим воздухом, упиться благоуханием твоей неистощимой растительности, заглядеться на твои роскошные равнины — поля, засеянные колосистой пшеницей, при тихом дуновении ветерка сверкающей на солнце золотистыми отливами, на эти зеркальные пруды, окаймленные яркой зеленью, обильные рыбой и дичью, на эти сады, богатые сочными фруктами, — тот не забудет тебя, благословенная Подолия, до самой смерти».

Подольская губерния была возвращена России после второго раздела Польши. Польские паны, ставшие подданными русского царя, сохранили и даже приумножили свои владения. Одному из крупнейших магнатов, графу Болеславу Потоцкому, принадлежали в Брацлавском уезде обширные поместья с тысячами душ крепостных и «родовое имение» Немиров — торговое местечко с разношерстным по национальному составу населением.

Когда-то у берегов Южного Буга гремели битвы, с татарами и не затихали бои гайдамаков с шляхетским ополчением Речи Посполитой. Все напоминало здесь о немирном прошлом: и само название городка, и крепостные валы, и разбросанные по окрестностям козацкие могилы, и переходящие из уст в уста песни и предания о Богдане Хмельницком и героях освободительных войн — славном продолжателе дела Хмельницкого Семене Палии и гайдамаком ватажке Гнате Голом, который убил в 1741 году изменника Савву Чалого, переметнувшегося к польским

панам. Владелец Немирова, коронный гетман Иосиф Потоцкий, сделал его полковником надворной милиции, и Савва Чалый стал сражаться с гайдамаками. Его гибель от руки мстителя и послужила сюжетом народной песни. Когда писательница приступила к работе над повестью о Савве Чалом, она просила мужа прислать ей в Париж все известные ему сведения об этом человеке. Сохранился отрывок из записной книжки Марко Вовчка с текстом «Думы яро Савву Чалого» и любопытной пометкой: «Запис[ано] Венед[иктом] М[арковичем] от 120 летн[его] козака Перебийноса в Пирытине в 1858 году».

В Немирове находилась резиденция Потоцких — величественный белый палац с огромным штатом дворцовой челяди и оравой паразитов, кормившихся от графских щедрот^{14}. Потоцкий устраивал у себя во дворце музыкальные вечера, где можно было послушать заезжего артиста или знаменитую певицу. Приглашались на приемы и учителя, получавшие вкусные обеды и рублевые сигары, которыми хозяин собственноручно одаривал гостей.

Потоцкий определил Немировской гимназии ежегодную субсидию, отвел несколько домов под квартиры учителям, построил интернат и содержал на свои средства до тридцати воспитанников. Однако он отнюдь не бескорыстно занимался благотворительной деятельностью. В награду за пожертвования Болеслав Потоцкий был назначен почетным попечителем Немировской гимназии, получал выслуги, звания, чины и ордена. После того как щедрый граф построил в своем имении православную церковь и учредил сиротский приют, он был, по изящному выражению «летописца» Немировской гимназии Стрибульского, «произведен не в пример другим в церемониймейстеры Высочайшего Двора».

Об этом сиротском доме мы знаем из письма Марии Александровны к Л. Н. Толстому. «Я видела и слышала, — вспоминала она, — как пели дети странными и дрожащими голосами псалмы в приюте графа Потоцкого в Немирове, как видели и слышали [Вы] за границей — я после по ночам слыхала эти голоса, и я думала, что бы сделать, как бы сделать — да я могла только думать, а сделать ничего не могла...»

Среди гимназистов преобладали сыновья шляхтичей и польской знати. Не менее четырех пятых от общего числа учеников составляли поляки. Уродливость русификаторской политики здесь особенно бросалась в глаза. Гимназисты разговаривали между собой на родном языке, а учиться должны были на русском. Гимназия была цитаделью официальной идеологии. Законопослушные учителя чувствовали себя во враждебном окружении. Этого не мог скрыть даже автор тенденциозного «Описания

Немирова» Т. М. Пристюк: «Чиновники гимназии, как представители русского начала, находятся в постоянной нравственной борьбе с родителями учеников — поляками. Оттого положение гимназического сословия здесь не завидно: оно не пользуется тем доверием и тем уважением, которых по своему положению вправе ожидать».

В Немирове, как и в других городах Подолии и Волыни, где сильно было польское влияние, распространялась агитационная литература и велась подготовка к восстанию. Из гимназистов-патриотов формировался повстанческий отряд.

В письмах Марко Вовчка упоминаются некоторые Немировские гимназисты и среди них Теобальд Шуазель, будущий политический эмигрант, с которым она встречалась за границей как с человеком, близким ей по духу.

Инспектор гимназии Александр Дельсаль устраивал у себя на дому еженедельные любительские концерты, где собирались пожертвования «на вызволение Польши». С Дельсалем Марковичи были в наилучших отношениях.

Случалось, что учеников-старшеклассников исключали из Немировской гимназии с «волчьим билетом» за революционную агитацию и хранение стихов «преступного содержания». Стихи и песни с проклятиями русскому царю и прославлением борцов за свободу имели в то время широкое распространение в юго-западных губерниях. Пели их на тайных сходках и поляки-гимназисты в Немирове.

Оказавшись в этой новой для нее среде, Мария Александровна Маркович быстро и легко усвоила польский язык. Познакомилась она и с польской литературой. Адам Мицкевич вместе с Пушкиным, Лермонтовым и Шевченко стал для нее до конца жизни любимым поэтом.

Позже, когда в круг ее друзей вошли польские революционные эмигранты, участники восстания 1863 года, профессор Московского университета С. В. Ешевский, сам родом поляк, писал Марии Александровне: «Мне приходит на память ваш превосходный варшавский выговор и то, что вы жили в центре польской агитации в самое горячее ее время».

«РЫЦАРИ ЧЕСТИ И ДРУЖЕСТВА»

Когда Марковичи приехали в Немиров, там еще свежи были воспоминания о предшественнике М. А. Тулова, мракобесе и деспоте Зимовском.

Новому директору Немировской гимназии, либеральному педагогу-словеснику М. А. Тулову, стоило немалых усилий искоренить аракчеевский режим, насаждавшийся его предшественниками. Тулов живо интересовался народным творчеством, что само по себе создавало почву для его сближения с Марковичами, и пока его не перевели в Киев, Афанасий чувствовал себя как за каменной стеной. Но заставить в Немирове сплоченную группу учителей-украинцев и обрести в их лице единомышленников и верных друзей было для Марковичей настоящим подарком судьбы.

Преподаватель русского языка и словесности Петр Гаврилович Барщевский, математик Илья Петрович Дорошенко, историк Автоном Григорьевич Теодорович приветливо встретили новоиспеченного географа и организовали вместе с ним и его женой своеобразную «коммунистическую колонию» наподобие тех молодежных коммун, какие возникали в шестидесятых годах.

Деньги держали в общей кассе и сообща нанимали кухарку, которая готовила на всех. Чтобы увеличить поступления — учительский заработок едва позволял сводить концы с концами, — приняли на пансион трех или четырех гимназистов-поляков и отвели им комнаты в том же доме на Нижне-Гимназической улице (сейчас улица 25-го Октября, № 23), арендованном у врача гимназии Оппермана.

Этот старый деревянный дом, крытый гонтом, с узкими террасами вдоль стен обеих этажей, находится теперь под охраной государства. На фронтоне укреплен мемориальная доска: «В цьому будинку в 1855–1858 рр. жила і працювала видатна українська і російська революційно-демократична письменниця Марко Вовчок», а одна из комнат бывшей гимназии (ныне Педагогическое училище имени Марко Вовчка) отдана музеем писательницы.

В доме Оппермана огни горели до полуночи. Здесь всегда было шумно и весело. Застольные беседы сменялись чтением стихов и статей из свежих журналов, чтение — пением народных песен. Иногда всей колонией отправлялись к живописным берегам Буга, в пяти-семи верстах от

Немирова, и устраивали пикники. Об одной такой поездке — в июне 1858 года — много лет спустя вспоминал П. Г. Барщевский в письме к Марии Александровне: «Скоро день моего ангела. Помнится, как мы его праздновали на берегу Буга. Ели мороженое, закутывались шинелью».

Сохранившиеся сведения о Барщевском рисуют его с самой привлекательной стороны, как бескорыстного энтузиаста просвещения. Когда ему поручили «исправлять должность» библиотекаря гимназии, он набрал частных уроков и весь дополнительный заработок тратил на покупку книг, так как казенных средств и пожертвований Потоцкого на пополнение ученической библиотеки не хватало.

Знакомство с Марией Александровной произвело на Барщевского неизгладимое впечатление. «Вы возбудили во мне такое чувство, — признается он в том же письме, — что и долгие лета разлуки не могут стереть и уничтожить его. Я уже стар, все вокруг меня меняется, и я меняюсь ко всему окружающему, но вы остались в моих глазах тою же Марией Александровной, какую я знал в доме Оппермана».

Немировские друзья Марковичей были первыми ценителями рассказов Марко Вовчка. Дорошенко, отличный знаток народного языка и быта, тщательно вычитывал вместе с Афанасием ее украинские рукописи. Позже он переехал в Чернигов, где привлекался к дознанию по делам революционных кружков: сначала по делу Заичневского-Аргиропуло, потом — Андрущенко, члена первой «Земли и воли», пытавшегося организовать украинское отделение общества. Дорошенко посылал Марии Александровне за границу для передачи в «Колокол» обличительные факты относительно произвола черниговских помещиков, делился с нею новостями, восхищался ее новыми произведениями. Это был типичный демократ-разночинец, один из лучших представителей украинской интеллигенции той поры^{15}.

Воспоминания Д. Вилинского содержат правдоподобную характеристику участников гимназической коммуны: «Один Маркович был женат, и потому хозяйством правила сестра Мария Александровна. Около нее группировались все эти милые люди — рыцари чести и дружества. Все они были малороссы, поклонники Тараса Шевченко, народники, может быть мечтавшие о судьбе меньшого брата, но в широком значении: все они любили Малороссию, все чтили ее старину, но узких мыслей о возрождении единой Малороссии не питали, а интересовались судьбой всей России... Они чтили не только Шевченко, но и великорусских мыслителей, и думали об общем благе».

После того как в Немиров перебралась мать Марии Александровны с

младшей дочерью Верой и семья выросла до шести человек, все остальные, кроме гимназистов-пансионеров, должны были отселиться. Коммуна, естественно, распалась, но колония учителей продолжала существовать — теперь на паевых началах — до самого отъезда Марковичей.

Число уроков в гимназии было ограничено. У Афанасия оставалось много свободного времени. Как и в прежние годы, он и Мария Александровна старались не пропустить ни одной ярмарки, заводилу знакомства с крестьянами окрестных деревень, зазывали их к себе и сами ходили по хатам, продолжая пополнять свое собрание народных песен, преданий, пословиц и поговорок. Записанные в эти годы А. В. Марковичем исторические песни — о Хмельницком, «Вийди, Василю, на могилу», «Як послав мене пан в велику дорогу», «Коли не тиї гайдамаки та такеє чинять» и другие — перешли затем в известные фольклорные сборники П. Кулиша, Б. Антоновича и М. Драгоманова, изданные в Петербурге, Киеве и Женеве.

С большим увлечением Афанасий Васильевич ставил с учениками Немировской гимназии любительские спектакли и сам играл Фамусова в «Горе от ума». В 1857 году на масленице он осуществил вместе с Марией Александровной постановку «Наталки Полтавки» Котляревского. Для нового спектакля подбирались мотивы из популярных народных песен с таким расчетом, чтобы они соответствовали характеру действующих лиц и метру стиха. Капельмейстер Потоцкого Иоганн Лангер сделал оркестровку для четырнадцати инструментов и сочинил увертюру, используя мелодии песен, подобранных А. В. и М. А. Марковичами, а также некоторые мотивы из прежней, менее удачной, партитуры Барсицкого, написанной еще в 1833 году.

Спектакль состоялся в актовом зале Немировской гимназии. Зрители съехались со всей округи. Как писал потом автор корреспонденции в журнале «Основа» (1862, № 3), «Наталка и Терпелиха благодаря любви, знанию и истинно народному вкусу М. А. Маркович вышли на сцену в костюмах блистательных и верных народности. Костюмировку остальных лиц и другие труды по режиссерству принял на себя И. П. Дорошенко. Обучение ролей по произношению и декламации принято было на себя А. В. Марковичем. Успех пьесы был беспремерный. Слышен был в рядах женщин громкий плач после нескольких песен; в конце пьесы раздались крики восторга. В том же году, после годичного акта, повторился этот же спектакль, и многие должны были уйти и уехать, не находя в большой зале места ни для одного глаза».

Спустя несколько лет А. В. Маркович и И. П. Дорошенко возобновили «Наталку Полтавку» в Чернигове, а затем она разошлась и по другим

украинским городам. Партитура, созданная в Немирове, была использована также в позднейших обработках, в том числе и в классической опере Н. В. Лысенко.

Нельзя обойти молчанием и такой любопытной подробности. В 1936 году во время Декады украинского искусства и литературы в Москве на сцене Большого театра Союза ССР с успехом шла в новой редакции «Наталка Полтавка» — «оперное зрелище, музыка Н. В. Лысенко и В. Я. Иориша, с использованием мелодий А. В. Марковича, Базилевича и других, литературная обработка текста М. Ф. Рыльского».

Кто знает, не остались ли в современных постановках «Наталки Полтавки» капли меда, внесенные когда-то в эту старинную оперу начинающей писательницей Марко Вовчок?

РОЖДЕНИЕ МАРКО ВОВЧКА

Летом 1856 года Марию Александровну охватило неодолимое желание выразить на бумаге переполнявшие ее мысли и впечатления. Живя вместе с Вогдасиком в деревенской хате неподалеку от Немирова, она набросала один за другим несколько коротких рассказов на украинском языке. Не придавая особого значения своим литературным опытам, она не без робости показала написанное Афанасию, а тот со смешанным чувством радости и удивления прочел рассказы общим друзьям и, убедившись, что не обманулся, послал небольшую тетрадку с двумя новеллами в Петербург Пантелеймону Кулишу.

Это было в феврале или марте 1857 года. Кулиш в то время собирал материалы для третьего тома «Записок о Южной Руси» и готовился открыть типографию для печатания украинских книг.

Рукопись сопровождалась примечанием: «Оба рассказа — истинные происшествия. Последнее случилось недалеко от Звенигородки».

О каких же «происшествиях» идет речь?

В первом рассказе — «Выкуп» — автор исходит из тех реальных конфликтов, которые порождало соседство вольных казацких селений с крепостными селами.

Старый Кохан соглашается выдать красавицу Марту за крепостного парубка Якова Харченко при одном условии — если тот выкупится из неволи: «За господского своей дочери я не отдам. Так я и прежде сказал, с тем словом и умру. Она у меня славного козацкого рода». И любовь все преодолевает. Заработав в Киеве на оброке триста рублей (как удалось собрать такую сумму, остается условным допущением), Яков получает вольную и женится на любимой.

Во втором рассказе — «Отец Андрей» — парубок Тимош Кряж становится невольным соперником распутного «пана эконома», велевшего взять силой его невесту Оксану себе в хоромы. Устроив с товарищами засаду возле барского дома и дождавшись темноты, смелый Тимош освобождает девушку и прячет у сельского священника, который немедленно их венчает, а наутро как ни в чем не бывало все отправляются на панщину.

Рассказы с идиллическими концовками совсем не типичны для Марко Вовчка. Но для начала были отобраны именно эти, чтобы не смутить осторожного Кулиша. Сам он позднее так передал свои впечатления: «В

числе материалов, доставленных мне из разных концов Малороссии для дальнейших томов «Записок о Южной Руси», некто, назвавший себя Марком Вовчком, прислал одну тетрадку. Взглянув на нее мельком, я принял написанное в ней за стенографию с народных рассказов по моим образцам и отложил к месту до другого времени. Тетрадка лежит у меня на столе неделю и другую. Наконец я удосужился и принялся ее читать. Читаю и глазам своим не верю: у меня в руках чистое, непорочное, полное свежести художественное произведение! Было прислано сперва только два небольших рассказа. Я пишу автору, я осведомляюсь, что это за повести, как они написаны. Мне отвечают, что, живя долго с народом и любя народ больше всякого другого общества, автор насмотрелся на все, что бывает в наших селах, наслушался народных рассказов, а плодом его воспоминаний явились эти небольшие повести. Автор трудился как этнограф, но в этнографии оказался поэтом».

После того как Кулиш прислал благоприятный ответ, в Петербург было отправлено еще два рассказа и завязалась оживленная переписка. 3 мая на столе у него лежали уже четыре «повістки», а месяца через полтора — все двенадцать, составившие, за исключением одного рассказа — «Чары», первую книгу «Народних оповідань».

В авторской рукописи под восемью рассказами были проставлены даты: «Одарка», «Максим Тримач», «Сон», «Чары» — 15, 16, 18, 23 апреля; «Сестра», «Данило Гурч», «Козачка» и «Горпина» — 1, 2, 4 и 8 июля 1857 года. Трудно представить, чтобы рассказы отделялись один от другого такими короткими промежутками времени, тем более что Кулиш возвращал автору рукописи на доработку, рекомендуя следовать образцам своей редакторской правки. Это, конечно, не даты написания, а даты переписки после всех исправлений, внесенных Кулишом и самой писательницей, причем согласилась она далеко не со всеми поправками. Не понравились ей и некоторые заглавия, которые позже были изменены (вместо «Знай, ляше!» — «Отець Андрій», вместо «Козацька кров» — «Данило Гурч», вместо «Панська воля» — «Горпина»).

Готовя рукопись к печати, Кулиш сам придумывал заглавия и подбирал эпитафии, производил разбивку на главы, делал сокращения и вставки и т. д. Самолюбивый редактор не считался с волей автора, всецело полагаясь на свое непогрешимое художественное чутье. Но в действительности оно нередко ему изменяло И потому Марии Александровне пришлось потом заново пересмотреть весь текст. Это легко заметить при сличении сохранившейся наборной рукописи, переписанной рукой Д. С. Каменецкого, с каноническим текстом последующих изданий Но в целом

редактура опытного литератора пошла на пользу.

Существует несколько версий относительно происхождения псевдонима По семейным преданиям, украинский род Марковичей происходит от козака Марко, прозванного «Вовком» за суровый нрав «Вовчок» — уменьшительное от слова «Вовк» и по-русски означает «волчонок». Это предположение высказал сын писательницы Б. А. Маркович Другие связывают ее литературное имя с названием нескольких хуторов и селений возле Немирова — Вовки, Вовчки. Но, пожалуй, самое правдоподобное объяснение принадлежит Н. С. Лескову. «Девушка Вилинская стала г-жою Маркович, из чего потом сделан ее псевдоним Марко Вовчок». Независимо от Лескова то же самое высказал потом западноукраинский литератор Богдан Лепкий. Псевдоним, по его мнению, Основан на игре звуков: *Марко — вичка, Марко — Вовчок*^[5].

Впоследствии Пантелеймон Кулиш, противореча самому себе, утверждал из недобрых побуждений, что якобы он сам придумал писательнице псевдоним, назвав ее Вовчком за молчаливость и угрюмый характер. Отбрасывая версию Кулиша как совершенно несостоятельную, мы усматриваем в этом литературном имени более широкий смысл. В период, когда вся Россия зачитывалась романами Жорж Санд и бредила идеями женской эмансипации, украинская писательница выбрала себе мужской псевдоним по аналогии с псевдонимом французской романистки, писавшей к тому же «деревенские повести»^[16]. Псевдоним *Марко Вовчок* имеет, кроме того, и определенное смысловое значение, намекая на твердость характера, силу воли, непримиримость, что соответствовало личным качествам Марии Александровны Маркович.

ОГНЕННАЯ КУПЕЛЬ

В России назревала революционная ситуация. Разложение феодально-крепостнической системы, растянувшееся на несколько десятилетий, переросло в глубокий кризис. Крестьянские волнения приняли такой угрожающий характер, что сами представители «вицмундирной мысли» вместе с первым помещиком-царем заговорили о необходимости реформ «Гораздо лучше, чтобы это произошло свыше, нежели снизу», — изрек 30 марта 1856 года Александр II в речи перед предводителями московского дворянства. Созданный в начале следующего года Секретный комитет «для обсуждения мер по устройству быта помещичьих крестьян» с первых же дней своего существования перестал быть секретным. Слухи об отмене крепостного права распространились по всей стране и, как писал в отчете царю шеф жандармов, «привели в напряженное состояние как помещиков, так и крепостных людей». Отказы крестьян от выполнения барщины и уплаты оброка стали повсеместным явлением.

В этой накаленной предгрозовой атмосфере и создавались рассказы Марко Вовчка, раскрывшие, по определению Добролюбова, «великие силы, таящиеся в народе, и разные способы их проявления под влиянием крепостного права». Вслед за великим Кобзарем она стала в украинской литературе выразительницей интересов и чаяний поработенного крестьянства, создала в прозе нечто новое, чрезвычайно близкое к фольклору, но свое. «Шевченковский фольклоризм, — писал М. К. Азадовский, — дает блестящие образцы подлинного *сотворчества* поэта с народом, требует подхода к народному творчеству как к определенной данности, рассмотрения и оценки его с точки зрения канонов народной эстетики».

Эти слова полностью применимы и к фольклоризму Марко Вовчка, чьи рассказы являют собой удивительный пример соединения поэтических канонов народной песни с правдивым изображением ее подлинных творцов — женщин и девушек крепостной деревни.

Деревня и панский двор — непримиримые враждебные силы. «Панское дворище! Чтоб от веку до веку ничего доброго не входило в тебя!»; «Тяжко, боже мой, как тяжко недоброму человеку угождать!»; «Панскую природу не переделаешь», — восклицают крестьянки-рассказчицы. И хотя в «Народних оповіданнях» бунтарские настроения не получили такого прямого и непосредственного выражения, как в стихах

Шевченко, ни одна из героинь Марко Вовчка не может принять свою участь без горького ропота. Неукротимая жажда свободы, жгучая ненависть к панам то и дело прорываются в их речах.

Живет Одарка на утеху родителям — «молоденькая, счастливая; никакого горя не знает, не ведает; бегают, смеется, точно в серебряные звоночки позванивает». Но приходит пан и забирает ее к себе во двор. Таает, чахнет замученная, опозоренная Одарка. Приводят к ней старуху лекарку: «расспросила, посмотрела, да и покачала головою. «Дитя мое несчастное! — говорит. — Затоптали тебя, как цветок душистый! Пусть не видят добра те, что это над тобою сделали! А твой век уж недолгий!» Перекрестила она девушку, заплакала, да и вышла» («Одарка»).

Полюбила на свою беду вольная казачка Олеся крепостного парубка Ивана Золотаренко, обвенчалась с ним и стала рабыней: «Год уплыл, как один час. Все на панщине, все на работе. Пани такая, что и отдохнуть не даст: работай да работай!» Подросли сыновья — обоих взяли в хоромы, а потом разлучили и с мужем: пану вздумалось увезти его в Москву. Там и помер Иван. Мается вдова с маленьким Тышком, «панскому племени служба, словно какой лихой болести», а когда отняли и последнего сына, была она уже при смерти: «Дети мои! дети! Вас, как цветку — по всему свету, только при матери ни одного нет; некому усталые глаза мне закрыть! Вырастила я вас людям на поруганье!..» («Козачка»).

Родилась у Горпины дочка. Нянит ее, лелеет, а как выгонят на панщину, положит где-нибудь рядом «и глаз не сводит с своего ребенка». Однажды младенец занемог — «на руках у ней так и бьется — кричит». Хотела Горпина остаться дома, не тут-то было: «Пану работа нужна, а до твоего ребенка какое ему дело?» А девочке становилось все хуже. Напоила она ее на другой день отваром из маковых головок, отбыла панщину, вернулась: «Дитя лежит холодное, неподвижное, не дышит» («Горпина»).

Пляшущим и поющим племенем назвал Пушкин героев «Вечеров на хуторе близ Диканьки». В изображении Марко Вовчка украинские крестьяне предстают прежде всего как страдающее племя. В незамысловатых сюжетах, взятых из самой жизни, раскрываются трагические противоречия российской дореформенной действительности. На нескольких страничках умещается история целой жизни — несчастная участь женщины, выросшей в крепостной неволе.

Лирический монолог человека из народа, чаще всего крестьянки, с естественными для нее речевыми средствами и образным мышлением, звучит как стихотворение в прозе^[17]. Преобладание песенных интонаций, однозначно очерченные образы и даже элементы пейзажа, гармонирующего

или контрастного душевному состоянию рассказчика — все это восходит к фольклорной традиции.

Сказочный зачин вводит в действие с первых же слов («Жил у нас в селе козак Хмара...»; «Жила когда-то в нашем селе вдова Орлиха...»; «Было нас у отца три дочери...»; «Расскажу вам про Якова...»). Главное действующее лицо — девушка-хороша, «как ягодка луговая», резва, «как рыбка», весела, «как пташка-певунья» и т. п. Героиня составляет одно целое с природой: слышит шелест каждого листочка, радуется, когда попевает рожь, любит золотистую пшеницу, растет счастливая и беспечная, «как былинка в поле», пока не сломит, не погубит ее злое лихо.

И строй речи и сама лексика воссоздают народный говор в его безыскусственной красоте, запечатленной в песнях и сказках. И это вовсе не подражание и не литературная стилизация, а показатель полной слитности автора со своими героями. Только так, а не иначе они могли выразить свое мироощущение, только так, а не иначе писательница могла передать их психологию и отношение к событиям.

Сказовая речь и до Марко Вовчка применялась в русской и украинской литературе. Но добродушно-лукавый юмор пасечника Рудого Панька в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» раскрывает преимущественно светлые стороны жизни. Украинская деревня рисуется здесь в розовом свете, как средоточие патриархальной простоты нравов, обусловленных близостью к природе и соблюдением добрых обычаев предков. Суровые жизненные противоречия пока еще не заглушают задорного смеха и не накладывают мрачных теней на творчество Гоголя.

Марко Вовчок по-своему восприняла опыт великого предшественника. В лирических монологах ее героинь-крестьянок преобладает трагедийное начало. Авторские ремарки, развернутые описания, комические эпизоды были бы психологически неоправданны. Многосложность повествовательной манеры Гоголя отразится на более поздних произведениях писательницы («Глухой городок», «Тюлевая баба».) Однако и в ее ранних вещах кое-где звучат гоголевские интонации. Характерный пример — описание толкучего рынка в рассказе «Сестра».

Г. Ф. Квитка-Основьяненко — другой предшественник Марко Вовчка — вошел в историю украинской литературы как первый талантливый прозаик. Он ведет речь от имени обитателя харьковской пригородной слободы, мещанина Грицько Основьяненко, человека степенного и богобоязненного. Если Грицько и посмежит своих слушателей, то тут же разбавит смех поучениями, да еще введет в рассказ морализаторский зачин и концовку. Он хорошо знает и удачно имитирует устную народную речь,

но между ним и персонажами из крестьянской среды все же чувствуется некая дистанция.

Марко Вовчок, отбросив всякое морализаторство и дидактику, преодолела этот барьер. Рассказы, написанные в Немирове, вынесли ее на гребень общественной волны. Молчаливая, скромная, застенчивая жена младшего учителя географии вдруг оказалась, по выражению Ивана Франко, «в рядах борцов за свободу и человеческие права поработанных народных масс».

Марко Вовчок не отделяет себя от своих героев, говорит устами самих жертв барского произвола, целиком и полностью переходит на их сторону. И этим определяется также различие в выборе сюжетов, изобразительных средств, расстановке действующих лиц по сравнению с антикрепостническими произведениями Григоровича и Тургенева.

Автор «Деревни» и «Антон Горемыки» сочувствовал обездоленным как сердобольный барин. Автор «Записок охотника» обличал крепостничество устами дворянского интеллигента, стремящегося войти в положение мужика и понять его загадочную душу.

У Марко Вовчка, не говоря о возможностях, иные художественные задачи. Влияние «Записок охотника» сказалось не столько в литературной манере автора «Народных рассказов», сколько «в разработке образов крестьян как носителей больших, красивых человеческих чувств и в возбуждении ненависти читателя к крепостному праву»^[18].

По свидетельству П. А. Кропоткина, «...в те годы вся образованная Россия упивалась повестями Марко Вовчка и рыдала над судьбой ее героинь-крестьянок».

Сказав свое слово, молодая писательница попала в круг передовых литераторов России. Сама логика общественной борьбы привела ее к революционным демократам. Чернышевский и Добролюбов, Герцен и Огарев, Писарев и Салтыков-Щедрин, Некрасов и Шевченко — вот имена ее будущих соратников. Но по идейным и художественным устремлениям ближе всех был ей, естественно, Тарас Шевченко.

ПЕРВАЯ КНИГА

А Кулиш между тем звонил во все колокола, что «одна пані родилась у Московщині і вже замужем почала вчитись по нашему», да «так зрозуміла вона красоту нашего слова і наче (будто) піснею заговорила!». Сначала он даже не подозревал, что Марко Вовчок — женщина, а потом создал в воображении ее идеальный образ, с нетерпением ожидая, когда заочное знакомство перейдет в личное.

Получив из Немирова очередной рассказ, в июне 1857 года он писал жене: «Чудо, чудо!..Ничего подобного еще не было в литературе нашей. Важно здесь то, что нет вымысла, *все было, все случилось* и рассказано именно так, как было и случилось; но какой язык! Какие формы! Чудо, чудо!.. это золотое дно для будущих малороссийских писателей. Вот этнография — вот она! Так должно рассказывать о народе! Так надобно сочувствовать народу! Жена Марковича — это гениальная актриса, которая принимает на себя образ молодыць и бабусь наших и лицедействует за них так, что не везде угадаешь, Что взято с натуры, а что присочинено в порыве актерского вдохновения. Но главное — как почувствовано достоинство характера народного! Одни только песни лучше этих речей».

Кулиш работал в эти годы с лихорадочной энергией. Возложив на себя «священную миссию» собирателя и объединителя украинских литературных сил, разрозненных и ослабленных длительными гонениями, он, безусловно, сделал много полезного; и в то же время в любое начинание вносил суетливость и нервозность, считая свои суждения непогрешимыми, и не терпел никаких возражений.

Кулиш был не только первым издателем и редактором, но и первым критиком Марко Вовчка. В частных письмах, предисловии к сборнику и в журнальных статьях он оценивал ее рассказы с позиций романтического народничества — видел в них блистательное подтверждение своей теории о предстоящем возрождении украинской литературы на основе слияния трех элементов: «высоких нравственных начал», хранимых крестьянской массой, богатейших сокровищ народной речи и этнографически точного изображения сельской жизни.

Правильно подметив, что устами Марко Вовчка «говорит сам народ», что ее произведения «живописуют наших крестьян...не так, как привыкли смотреть на них сверху, а так, как они сами себя видят», критик обнаруживает и свойственную ему узость мысли. По его мнению, «Народні

оповідання» — всего лишь «живая этнография», эскизы «с натуры», а героини-крестьянки — не более чем «натурщицы». Он сравнивает писательницу с «божьей пчелкой», втянувшей в себя росу из цветов украинской народной речи, но ее собственную роль в искусстве сводит к интерпретации. Акт индивидуального творчества он уподобляет исполнительскому мастерству, превращая демиурга в актера.

Но это еще полбеда. Кулиш упустил из виду антикрепостническую направленность «оповідань», не заметил главного — общественного звучания рассказов Марко Вовчка. «Он говорил о «сочувствии народу», а ее рассказы выражали общественный протест» (А. Белецкий).

То, чего не понял Кулиш, понял Шевченко, поняли русские демократы, поняла, но только не сразу, и сама писательница. И если Кулиш стремился отгородить украинских литераторов от русских, видя их силу в национальной обособленности и пренебрегая исторически сложившейся духовной близостью и родственными связями обеих литератур, то Марко Вовчок уж никак не могла разделять подобных взглядов.

Но пока что она — робкая ученица, а он — благожелательный ментор, пекущийся о молодом даровании. Сейчас он хлопочет об издании «Народних оповідань», не подозревая, что этот маленький сборник перетянет на весах истории все, что сделает для украинской литературы он сам, сам Кулиш, за свою долгую жизнь!

Сборник увидит свет, и он напишет С. Т. Аксакову: «Выпустил я «Народные рассказы» Марка Вовчка с моим предисловием. Изданием этой маленькой книжки я горжусь гораздо больше, нежели изданием сочинений Гоголя, ибо один я мог выпустить ее в таком обработанном виде. Я был вместе и редактором этих ни с чем не сравненных повестей, которые показывают мне в зерне, что будет словесность южнорусская в развитии».

В этих нескольких строчках весь Кулиш — с его непомерным тщеславием, склонностью к преувеличениям и страстным желанием служить родной литературе.

Книга печаталась в Петербурге, а цензуру проходила в Москве. Чтобы избежать придирок столичных чиновников, Кулиш по дороге на Украину сам отвез рукопись знакомому московскому цензору Н. Ф. Крузе, прослывшему в литературных кругах либералом, и 7 августа 1857 года получил цензурное разрешение.

В последних числах ноября сборник вышел в свет. На титульном листе значилось: «Народні оповідання Марка Вовчка. Издав П. А. Кулиш. Санкт-Петербург, 1858».

ПУТЕШЕСТВИЕ В ОРЕЛ

Марию Александровну звали в Орел друзья, настойчиво приглашала тетка, мечтавшая повидать Богдасика. Был еще один повод для поездки: хотелось полечиться у доктора Кортмана — мучили головные боли и частые простуды. Письмо Кулиша из Москвы с добрыми вестями и приглашением заехать к нему на хутор Мотроновку побудило ускорить сборы. Оставив «колонию» на попечение матери, в двадцатых числах августа она отправилась в далекий путь.

Послания Афанасию с дороги и из Орла — чудесные образцы украинской эпистолярной прозы. Перед нами сложившийся художник. Марко Вовчок умеет в нескольких словах набросать выразительный портрет или жанровую бытовую сценку, сдобрить рассказ юмором, закрепить мимолетное впечатление, воспроизвести со всеми интонациями живую разговорную речь.

Четырехлетний Богдась, веселый, здоровенький, любопытный мальчик, — главный герой писем. Все ему нужно знать: и как по-польски конопля называется, и есть ли в Киеве дети малые, и куда с поля гречку свозят. С каждым он знакомится и всех потешает. А что было, когда приехали в Киев! Кричит, радуется, заговаривает с прохожими, пристаёт с вопросами...

Отдыхали у родителей Барцевского. Навестили Михаила Андреевича Тулова. Встретил, как отец родной, расспрашивал про всех учителей. Богдан увидел его и сразу узнал: «Наш дирехтор...»

В Чернигове остановились у брата Ильи Петровича Дорошенко. В помощь путешественнице он отрядил до Орла и обратно деревенского хлопца Якима. Мария Александровна ходила на могилу дочки. Пока искала, Богдан все бегал и спрашивал: «Де моя сестричка маленька похована?» Виделась с Шишацким. Подарил вторую часть «Української квітки» — только что изданный сборничек своих стихов. Столкнулась на улице с Тулубом: «Такой, как был, ничуть не изменился».

26-го утром «отправились дальше. В пути были весь день. Миновали Козелец и Нежин. Высадились в Жукове — здесь надо было свернуть с почтового тракта — и за семь рублей наняли «вольных». Уже смеркалось, когда проехали Борзну, и только в десять вечера добрались до Мотроновки.

Вместе с Кулишом гостью встречали братья и сестры Белозерские — всем кланом, с женами и мужьями. Был тут и младший Тарновский (сын

владельца Качановки) — в живописном козацком наряде: синих шароварах, вышитой сорочке и чемерке^[6].

— Здорові були, землячко! — еще издали крикнул Василек.

Но первым бросился в глаза старый черниговский приятель Николай Михайлович Белозерский. Увидела и не сдержала слез — столько вдруг всего нахлынуло... Он собирался в Крым с чумаками — записывать песни и сказки; посулил прислать Афанасию целый ворох пословиц.

Кулиша отличила сразу, хоть представляла совсем другим. «Была бы я глупенькой, если б не поняла, какая это милая душа», — писала она под свежим впечатлением, не забыв упомянуть, что и жена его была очень приветлива.

В эти дни все окрашивалось для Марии Александровны в розовые тона. Опьяненная первым успехом, она с радостью сообщала мужу, что в Мотроновке ее рассказы уже читаны и перечитаны и никто не скупится на похвалы, что видела напечатанную «Сестру» (должно быть, корректурный оттиск), а Николай Михайлович прямо так и сказал про нее: «Народная и записана от народа».

Кулиш, любуясь собственным красноречием, перемешивал наставления с комплиментами.

— Вы, Мария Александровна, слишком щедро расточаете ваши дары, надо и на будущее приберечь! Старайтесь соблюдать гармонию частей и целого, оттачивайте слог, читайте Шекспира и Гете... Берегите вашу красавицу музу, и пусть она знает: это лишь пробы пера, а самое главное — впереди! Я жду от вас очень многого. Я возлагаю на вас большие надежды. Я верю — ваши прекрасные творения украсят малороссийскую словесность и послужат ее вящей славе...

Вряд ли он тогда догадывался, что дружные словословия Марко Вовчу заронили раньше времени в ревнивое и завистливое сердце его супруги семена вражды к «счастливой сопернице». И эта вражда, порожденная личной неприязнью, а еще больше закоренелыми предрассудками, вылилась потом в лютую ненависть, не оставлявшую несчастную женщину до последнего вздоха. Она была убеждена, что самозванная «московка» украла у нее ни больше, ни меньше... пальму первенства в украинской прозе!

Под нежным именем Ганны Барвинок Александра Михайловна Кулиш-Белозерская снискала известность далеко не бесталанными рассказами из крестьянской жизни. Писались они под прямым воздействием Марко Вовчу, чьи «Оповідання» вызвали в украинской литературе широкую волну подражаний.

...На следующее утро прикатил на лихих конях из своего хутора под Борзной Николай Данилович Белозерский. Богатый родственник жены Кулиша, он оказывал Пантелеймону Александровичу финансовую помощь в издательских начинаниях. Но ценили его в Мотроновке не только за это. Приятель Гоголя, антиквар, библиофил, коллекционер, он известен был своею любовью к литературе и украинской старине. Н. Д. Белозерский передал Метлинскому несколько десятков народных песен, записанных Гоголем. Ему принадлежит ценная публикация «Тарас Григорьевич Шевченко по воспоминаниям разных лиц». И его же Шевченко увековечил совсем в ином качестве, записав в своем «Дневнике» ядовитую песенку, сложенную крестьянами про жадного пана Білозера.

Белозерский сразу же потребовал, чтобы Мария Александровна что-нибудь почитала, а она, зардевшись от смущения, твердила одно:

— Не могу, не могу... ей-богу, не могу...

После полудня поехали к Николаю Даниловичу на обед. В его хуторе Николаевке было на что посмотреть. Писательница видела портрет Тараса Григорьевича и его же стихотворение, написанное углем. Ей показали сорочку, в которой казнили Кочубея, и старинные контуши^[7], и всякие другие редкости.

За обедом главным действующим лицом был Богдан. Сидел он рядом с матерью — в красных шароварах, широких, как Черное море, заправленных в сапожки с красными отворотами — ни дать ни взять запорожец, — и с аппетитом поглощал «гетьманский борщ». Хотели забрать тарелку — обиделся и заплакал. Поставили вареники, спрашивают: хороши ли?

— Не знаю, — говорит, — еще не знаю, дайте мне сметаны.

— Это маленький Кирило Тур, — сказал Кулиш.

— Нет, скорее Череваня, — возразил кто-то из Белозерских.

И тут стали спорить, кого из героев «Черной рады» больше напоминает Богдан. Решающее слово было за автором, и Пантелеймон Александрович повторил:

— Это маленький Кирило Тур!

А потом в центре внимания вновь оказалась Мария Александровна. Уговорили ее все-таки прочесть рассказ. Выбрала «Чумаков» и поняла при чтении, что вещь еще не доработана. Просила Кулиша повременить с печатанием, но он вопреки ожиданию остался доволен:

— Чего бы я не дал, — сказал он, — за такие слова: «еге, каже чумаков, еге!» Так и видишь этого чумака, и степи встают бескрайние...

Три дня промелькнули, как один час. Прощаясь, Кулиш условился с

Марией Александровной, что напишет ей в Орел, а если его возвращение в Петербург совпадет с ее отъездом, то, быть может, они еще встретятся на какой-нибудь почтовой станции. Он подарил ей на память свой портрет и оттиск статьи «Об отношении малороссийской словесности к общерусской», которую почему-то называл «Эпилогом к Черной раде». Обещал помочь выбраться из Немирова, когда откроет в Москве или Петербурге украинскую типографию. Сказал, что перетянет к себе Афанасия Васильевича — будут они вместе читать рукописи и печатать книги, и все устроится как нельзя лучше. Ведь Афанасий — хороший критик, с тонким чутьем и вкусом...

В Мотроновке она узнала потрясающую новость. В ее словах слышится ликование: «Пан Тарас в дороге, едет в Петербург, а может, и на Украине будет. Что ты на это скажешь?»

И в другом письме: «Едет пан Тарас!»

Наконец добрались до Орла и побыли там почти полтора месяца — с 2 сентября до 10 октября.

Мария Александровна повидала всех друзей и знакомых, кончила рассказ, начатый в Немирове, делала выписки из книг по украинской истории Бантыша-Каменского и Маркевича и не раз запрашивала мужа про Петра Дорошенко, Сирка и Пушкаря, Морозенка и Нечая, требуя сообщить о них все, что ему известно.

На родной орловской земле она скучала по Украине, видела во сне белые хаты и желтые подсолнухи. Водила Богдася к ссыльным украинцам, которых в Орле по-прежнему было немало. С ними он держался с достоинством, говорил уверенно, и никого не сместила его нерусская речь.

Почти целую неделю Мария Александровна провела у Рутценов в Хотетове. Проливные дожди и непролазная осенняя грязь были неотделимы от унылого зрелища убогой русской деревеньки с черными избами, пустыми полями и приземистыми амбарами позади ветхого барского особняка. Знакомые с детства картины навевали щемящую грусть...

Не тогда ли и зародился замысел следующей книги Марко Вовчка — «Рассказов из русского народного быта»?

...Недели за две до отъезда она писала мужу: «Жду письма от пана Паляя^[8]. Увидеть бы его еще хоть один-единственный раз! Да что это я говорю, увидеть-то увижу, это уж наверняка. Живы будем, так увидимся, а мне так хотелось бы увидеть его теперь, по дороге домой».

Кулиш выполнил обещание: прислал письмо и назначил свидание где-то на полпути между Орлом и Борзной. После этой дорожной встречи они

не виделись больше двух лет.

Ободренная похвалами Кулиша, полная свежих впечатлений и новых замыслов, Мария Александровна вернулась в Немиров и немедленно взялась за работу.

ПОДВИГ жизни

Конец 1857-го и весь следующий год были заполнены неустанным творческим трудом. Кроме шести рассказов на русском языке, составивших новый сборник, Марко Вовчок написала «Институтку», приступила к «Гайдамакам» и продолжила серию украинских «оповідань», набросав вчерне «Ледащицу» и «Пройдисвет».

В Немирове начинается и переводческая деятельность. Писательница перевела на русский язык свои «Народні оповідання» и послала их в «Русский вестник» — тогда еще либеральный журнал.

Восемь рассказов из одиннадцати были напечатаны летом 1858 года в сопровождении редакционной заметки: «Они отличаются необыкновенной прелестью и свежестью народной малороссийской речи и удивительной художественностью в воспроизведении народных чувствований и быта. Автор, сам *Марко Вовчок*, взялся переложить их для нашего журнала на великорусское наречие... Переложение автора сохраняет прелесть подлинника. Как увидят читатели, он сумел в формах великорусской речи сохранить колорит малороссийского рассказа».

В этих словах есть известное преувеличение. Первые авторские переводы были еще далеки от совершенства — изобиловали украинизмами и неравноценными лексическими заменами. Заметны и следы спешки и неопытность молодой переводчицы. Окончательный русский текст «Народних оповідань» подготовил для отдельного издания И. С. Тургенев. К тому же наиболее яркие и острые рассказы — «Гориину», «Одарку» и «Козачку» — редактор «Русского вестника» Катков печатать отказался, а когда в начале 1859 года все же рискнул поместить «Козачку», это вызвало замешательство и тревогу в цензурных инстанциях, о чем писал в своем дневнике цензор Никитенко.

Факт поистине знаменательный! Не успели еще украинские читатели проникнуться поэтической прелестью и осознать в полной мере общественное значение рассказов Марко Вовчка, как новое имя засверкало и в русской литературе.

И в дальнейшем почти все свои украинские рассказы и повести Марко Вовчок печатала в двух вариантах, чаще всего сначала на русском, а потом (в силу цензурных и издательских трудностей) на украинском языке.

С самого начала она выступила как литератор, если можно так выразиться, двуязычный. Произведения Марко Вовчка становились

достоянием не одной, а сразу двух национальных литератур, утверждая тем самым единство освободительных стремлений, духовную близость и родственные связи двух братских народов.

В тот период все украинские деятели, не исключая Шевченко и Кулиша, писали на обоих языках. Украинская проза была еще в стадии становления. Во всяком случае, нельзя объяснить лишь опасениями перлюстрации тот факт, что крупнейшие литераторы Украины вели тогда дневниковые записи, деловую и личную переписку не только на родном, но и на русском языке. Делались даже попытки, конечно не увенчавшиеся успехом, выработать искусственно некий усредненный украинско-русский диалект. И. С. Тургенев рассказывает в своих воспоминаниях о Шевченко, что он «не шутя стал носиться с мыслью создать нечто новое, небывалое, ему одному возможное — а именно: поэму на таком языке, который был бы одинаково понятен русскому и малороссу...». Но когда Тургенев спросил Тараса Григорьевича: «Какого автора мне следует читать, чтобы поскорее выучиться малороссийскому языку?» — тот с живостью отвечал: «Марко Вовчка! он один владеет нашей речью!»

Между тем еще при жизни Шевченко начались разговоры об «отступничестве» Марко Вовчка. Сама она не считала себя вправе писать только по-украински, потому что, по ее словам, «неволя — рабство, с которым надо бороться, в России везде одинаково». И не кто иной, как Шевченко, ответил на брошенное писательнице обвинение в том, что, выступив с русскими рассказами, она будто бы «изменила Украине»: «А пусть Марко Вовчок пишет хоть по-самоедски, — лишь бы в его писаниях была правда!»

Суровой жизненной правдой овеяны «Рассказы из русского народного быта». Написаны они в той же сказовой манере, выдержаны в том же стилевом ключе, что и украинские. Только источником изобразительных средств служит не украинский, а русский фольклор — народные песни, пословицы, поговорки преимущественно Орловской губернии. Нужно было обладать богатейшей памятью и поразительным чувством слова, чтобы, живя долгое время на Украине и укоренившись на ее почве, воспроизвести с такой точностью этнографический колорит русской деревни и своеобразие орловско-тульского говора.

Щедрая образность простонародной речи рассказчицы-крестьянки, умение автора полностью скрыться за ее личностью, редкостная мелодичность ритмизованной прозы, задушевный тон изложения — все это знакомо нам по украинским «оповіданням». Но появляется и нечто новое, что позволило Д. И. Писареву заметить по поводу второго сборника

рассказов Марко Вовчка: «Талант автора сделал так много шагов по пути развития, что критику приходится остановиться в раздумье, почесать себе затылок и с изумлением спросить: «Что же впереди-то будет? Чего еще натворит этот удивительный талант, так внезапно появившийся, разом занявший такое видное место и развивающийся не по дням, а по часам?»

По сравнению с первой книгой заметно усилился обличительный тон рассказов. В гамме настроений и чувств доминирует не тихая грусть и не щемящая душу скорбь, а ненависть к барскому произволу, отвращение к общественной системе, породившей «неволю-рабство». Раскрылись и новые художественные возможности Марко Вовчка.

Писательница тяготеет к более развернутой повествовательной форме. При одинаковом приблизительно объеме первый сборник содержит одиннадцать, второй — только шесть произведений. Рассказы становятся более пространными, а некоторые из них разрастаются в небольшие повести («Купеческая дочка», «Игрушечка»). Намечается развитие характеров, усложняются психологические коллизии, индивидуализируются образы центральных персонажей. Художественно-речевые средства подчинены еще фольклорной традиции, между тем как фабула все больше от нее отходит.

Здесь рубеж, отдаляющий старую манеру от новой. Чувствуется движение от лирики к эпосу.

Пожалуй, Только два рассказа — «Надежу» и «Катерину» — можно привязать к фольклорным прототипам. Первый — к лирическим песням о несчастной любви девушки и парня, которая приводит обоих к гибели, когда он, не послушавшись голоса сердца, соглашается жениться на чужой, нелюбой. И второй — к циклу песен об одинокой девушке, оторванной от родного дома и тоскующей на чужбине.

Катерина принадлежит к числу сильных, свободолюбивых натур, каких немало встречается в рассказах Марко Вовчка. В горделивом упорстве этого цельного, несломленного характера Добролюбов видел выражение тех освободительных стремлений, которых не мог заглушить в народе никакой гнет, и ставил Катерину рядом с Машей, героиней одноименного рассказа, чей протест против рабского состояния принимает уже формы открытого сопротивления. «Если бы из таких людей состояло большинство, то, конечно, история не только наша, но и всего человечества имела бы совсем иной характер», — писал Добролюбов.

Маше с детства грезится свобода, ненавистен подневольный труд. Ее невозможно выгнать на барщину, а когда заставляют силой, она ранит себя серпом в руку на глазах у барыни. Барыня же, не в пример другим, была

сердобольная: велела своим платочком рану перевязать и даже примочку прислала. На уговоры брата смириться перед доброй помещицей Маша отвечает: «Они, Федя, господа-то твои, добрые, что и говорить, — они в головку целуют, да мозжок достают!» Барыня ею не дорожит и отпускает за небольшой выкуп. Девушка сразу преобразилась, «словно она из живой воды вышла — в глазах блеск, на лице румянец; кажется, что каждая жилка радостью дрожит... Дело так и кипит у нее... «Отдохни, Маша!» — «Отдыхать? Я работать хочу!» — и засмеется весело. Тогда я впервые узнала, что за смех у нее звонкий! То Маша белоручкой слыла, а теперь Машу первой рукодельницей, первой работницей величают».

В этом противопоставлении рабского и свободного труда — квинтэссенция «Рассказов из русского народного быта». Каких бы сторон жизни писательница ни касалась, повсюду видится главный источник бед — крепостное право. Ее произведения, по словам Писарева, «поддерживают верную и вполне историческую мысль: рабство развращает и раба и господина. В одних забивается чувство человеческого достоинства, в других — чувство человеческого милосердия».

Казалось бы, такие рассказы, как «Саша» и «Купеческая дочка», далеки от социальной остроты. На первый взгляд лишь роковое стечение обстоятельств погубило Сашу, полюбившую Никчемного барчука, и купеческую дочку Анну Акимовну, ставшую женой крепостного кучера Ефима. Но это лишь на первый взгляд. Трудные и сложные взаимоотношения героев, раскрытые писательницей с утонченным психологизмом, могли возникнуть только на почве уродливых социальных отношений, порабощающих человека и физически и духовно.

И наконец, «Игрушечка» — блистательное завершение серии русских рассказов, и украинская повесть «Институтка» — вершина первого периода творчества Марко Вовчка.

Женщина, рожденная для любви и счастья, становится живой вещью, бессловесной рабыней, претерпевает неисчислимые муки, и, когда все уже позади, когда душа вытравлена и силы иссякли, рассказывает свою горемычную историю. В отличие от других рассказов, где жизнь героини рисуется лаконично, с чужих слов, здесь повествует она сама и не скупится на подробности.

Игрушечка — прозвище, полученное Грушей (Аграфеной) в господском доме, куда ее взяли для забавы малолетней барышни. Паразитический барский быт показан глазами деревенской девочки — сначала как нагромождение несуразностей, «остраненно», а потом, когда она привыкла и поумнела, — с нескрываемой иронией и даже сарказмом.

«Никогда я не видала, чтобы барин наш призадумался, чтобы барыня всплакнула — нешто безденежье или барышня захворает...Любили они оба и жить роскошно и наряжаться богато. Барыня все шелковые розовые платья носила да в тонких кружевах ходила. Барин тоже щеголь великий был: шейный платочек все голубиным крылушком завязывал, да, бывало, иной раз с утра до самого обеда бьется и не сладит...Это еще все бы не разор был, если б только не меняли они все до ниточки каждый год по столько раз. Мало ли на один дом шло! И к рождеству и к святой, бывало, все обновляют. И как уж весело тогда барин хлопочет! Сам картины прибывает. Ведь чудно покажется, как сказать, а скажу правду! до страсти любил гвоздики вбивать и, случись, что по усердию кто ему этим услужить поспешит, то так огорчится, страх! Потом уже все так и знали, сами не брались никогда, а ему приготовят молоточек».

Естественный, здоровый подход к вещам и создает нужный автору безошибочный угол зрения.

Дуреющие от безделья господа не знают, как убить время. Что бы они ни предпринимали ради своего развлечения, все выглядит смешно и нелепо. Приживалка Арина Ивановна, прибравшая к рукам весь дом, ревниво охраняет свое положение доверенного лица и преследует даже безответную Игрушечку. Смерть барышни, воцарение нового тирана — хитрой гувернантки-француженки, разорение господ и продажа имения, любая прихоть бар, малейшее изменение в доме — все отражается на судьбе Груши. Похоронив в сердце едва расцветшую любовь к Андрею, который был продан новому владельцу, она вынуждена отправиться со своими господами к их богатой тетеньке, приютившей незадачливых родственников.

Исповедь Игрушечки заключается печальным аккордом: «Меня выучили кружева плести; вот я кружева плету и век свой изживаю. Много времени с той поры прошло, как я сюда приехала, много тоски, много скуки едкой пережито. Да ни к кому уж я сердечно не привязалась, ни к кому уж и не привяжусь. Только сердце забьется, только душа повлечет — видится мне впереди пустая степь безбрежная, дальняя дорога, да тоска жгучая, да слеза одинокая».

Все персонажи «Игрушечки» — и барская чета, и дочка их Зиночка, и приживалка Арина Ивановна, и француженка Матильда Яковлевна — не просто живые люди со своими неповторимыми особенностями, но и социально обобщенные типы. При этом Игрушечкины господа вовсе не злые помещики. Сознательно они никому не причиняют горя. Но самый уклад их жизни и мертвящая душу паразитическая психология приносят

лишь несчастья зависимым от них людям.

Другое дело панночка («Институтка»). Это демон зла, исчадие ада, средоточие всех дурных свойств, какие только могут развиваться в жестоком от природы человеке, когда он ни перед кем не отвечает за свои действия. Это тоже обобщающий образ, литературная вариация Салтычихи.

Деспотический нрав красавицы панночки распространяется на всех, кто ее окружает, начиная от слабовольного мужа и кончая крепостной горничной Устиной, от имени которой и ведется рассказ.

«Люди и просыпались и спать ложились со слезами да с проклятьями. Все пригнула по-своему молодая пани, всем работу тяжкую, всем горькое придумала».

Крестьяне начинают роптать. «Волы в ярме и те ревут, а чтоб христианская душа всякий позор да неправду терпела и словом не отозвалась! Не такой у меня нрав! По-моему, освободись или пропадай!» — говорит Прокоп. За неповиновение его отдадут в солдаты. А кучер Назар добывает себе свободу старым способом — бегством.

Солдатчину Прокоп принимает как избавление. Жена его Устина будет мыкаться по чужим людям, но это легче, чем жить в неволе: «Что наша копейка! кровью она обкипела; но зато мне иногда так легко, так даже весело станет, как только подумаю, что стоит мне захотеть — и тотчас же могу я, что вольно мне бросить эту службу. Подумаю я этак и доживу до конца года. Утешает меня, помогает мне эта думка, что не связаны у меня руки. «Это беда временная, не вечная», — думаю я тогда».

Лейтмотивом проходит та же мысль, что и в рассказах: любой оплачиваемый труд, как бы низко он ни ценился, возвышает человека над рабом.

Характер лютой помещицы обрисован с такой глубиной, что Шевченко сравнивал ее даже с шекспировскими персонажами. Легче всего, разумеется, заметить в этом сравнении гиперболу. Но нужно прочесть «Институтку», чтобы понять, какое потрясающее впечатление производила она на современников в годы революционной ситуации.

«Народними оповіданнями», «Рассказами из русского народного быта» и повестью «Институтка» Марко Вовчок за неполных три года выполнила главное дело своей жизни. Если бы ее деятельность ограничилась Немировским периодом, то и этого было бы достаточно, чтобы имя *Марко Вовчок* осталось в истории литературы.

К двадцати пяти годам Мария Александровна Маркович достигла своего Монблана. Ее последующие произведения отличаются большей

глубиной и зрелостью, шире по диапазону, разнообразнее по охвату жизненных явлений, но по объективному историческому значению и по силе воздействия на читателей затмевались первыми книгами.

Рассказы, созданные в юности, на протяжении полувека умножали ее прижизненную славу. Но в этом высшем творческом удовлетворении заключалась и трагедия Марко Вовчка. Ее романы и повести шестидесятых-семидесятых годов, стоившие неизмеримо больше труда и усилий, получили запоздалое признание — правда, еще при жизни писательницы.

Ее появление в литературе сравнивали с промелькнувшей кометой, с ослепительным фейерверком, с внезапно вспыхнувшей и быстро погасшей звездой. Но время показало, как опрометчивы были эти суждения.

Звезда Марко Вовчка зажглась на небосклоне ярким и сильным пламенем, на какой-то срок потускнела, чтобы потом разгореться еще сильнее, еще ярче и никогда не погаснуть.

НЕМИРОВСКИЙ ЭПИЛОГ

В Немирове писательница прочла первые критические отзывы на свои украинские рассказы.

Кулиш пропел ей дифирамб в статье «Взгляд на малороссийскую словесность по случаю выхода в свет книги «Народні оповідання» *Марка Вовчка*»: «Казалось, — писал он, — после Шевченка нечего было требовать больше от малороссийского языка; но г. Марко Вовчок рассыпал в своих рассказах такие богатства родного слова, что, я уверен, сам Шевченко придет в изумление» («Русский вестник», 1857, декабрь).

А Шевченко в это время дождался в Нижнем Новгороде «высочайшего разрешения» проживать в Петербурге под надзором полиции. Книга еще не вышла из типографии, когда Кулиш в письме от 26 ноября подзадорил его любопытство: «Увидишь, какие чудеса у нас творятся! От такого и камни завопят! Да разве это не чудо, чтобы россиянка преобразилась в украинку, да такие повести выдала, что и тебе, мой друже, пришлось бы в пору!»

Как назло, первая посылка пропала. Кулиш отправил вторую. «Прочтешь, так сразу помолодеешь», — утешал он поэта, повторявшего с нетерпением: «Рассказов Вовчка еще не получил...», «Шли мне поскорей своего Вовчка».

Книга прибыла только в середине февраля. «Какое возвышенно прекрасное создание эта женщина! Необходимо будет ей написать письмо и благодарить ее за доставленную радость чтением ее вдохновенной книги», — записал Шевченко в своем дневнике и поручил М... Лазаревскому узнать в типографии Кулиша адрес Марко Вовчка, чтобы «хоть письмом поблагодарить ее за сердечные, искренние «оповідання».

В марте 1858 года великий поэт после десятилетней солдатчины вернулся в Петербург.

Мария Александровна поселилась с Богдасиком в селе Коваливке, в семи верстах от Немирова, и продолжала там свои работы, поручив мужу вести деловую переписку по поводу новых изданий.

В письме от 7 мая Афанасий Васильевич просил, от ее имени Каменецкого показывать «пану Тарасу» все, что она будет присылать: «Пусть он проверит своими глазами и исправит своей рукой... Хорошо, если б он как-нибудь на досуге провел через свою руку и уже напечатанное, а вы бы переслали тот экземпляр Вовчку — на поучение и в знак

наивысшей награды».

Редактировать Марко Вовчка Шевченко отказался. «Как можно к этому прикасаться! Это для меня источник истины и красоты», — отвечал он на просьбы приложить руку к ее творениям. В то же время он считал, что и Кулиш не должен вносить никаких изменений в эти поэтические рассказы: «Зачем она дает Кулишу исправлять свои писания! Он там все *опрозит!*»

Самолюбие Кулиша было уязвлено. Не скрывая раздражения, он писал из Мотроновки Каменецкому:

«С Тарасовыми сочинениями нечего спешить. Пускай сперва позволят. А когда позволят, пускай Тарас отнесется ко мне сам, а я набиваться с выправками не хочу, имея и у себя много работы.

Что же до Вовчка, то рука моя более к нему не прикоснется. Пускай сличает мою печать с своими оригиналами и выправляет по данным мною образцам художественной редакции. Если же в себе сомневается, то пусть ему помогут другие люди со вкусом. Я сделал для *нового* писателя так много, как никто никогда ни для кого нового и никому неведомого. Этого с него довольно. Не век же мне разрываться из великодушия».

Впрочем, не прошло и месяца, как Кулиш одумался. Нельзя было допустить, чтобы от него отшатнулись и Шевченко и Марко Вовчок — крупнейшие украинские писатели. В письме от 8 августа он сообщил Каменецкому, что послал Вовчку замечания на его перевод в «Русском вестнике».

И в дальнейшем Кулиш не снимал своей опеки. Осенью того же года он советовал сократить некоторые эпизоды и изменить финал «Панночки» («Институтка»), а заодно довольно бестактно высказывал А. В. Марковичу опасения, как бы у его жены не закружилась от похвал голова. — Неизвестно, воспользовалась ли она этими советами, когда дорабатывала свою повесть, но из ответного письма Афанасия (от 13 ноября 1858 г.) видно, что Мария Александровна с трудом решилась послать рукопись в Петербург — настолько была в ней не уверена. К счастью, опасения были напрасны: «Бессмертный Тарас, — по словам А. В. Марковича, — расхваливал красоты» и заявил, что «Панночка» влезла ему прямо в душу».

В предреформенный период сама расстановка литературных сил должна была сблизить Шевченко с Марко Вовчком. Они находились в разных концах России, но взаимные симпатии и заочная дружба крепили с каждым днем. Появление на Украине молодой талантливой писательницы, близкой ему по духу и направлению, вселяло в поэта новые надежды. Шевченко был очарован ее рассказами, считал ее своей сторонницей, называл нареченной дочерью.

Шевченко сердился, когда «Народні оповідання» сравнивали с деревенскими повестями Жорж Санд, которые раздражали его своей экзальтацией, мелодраматичностью, барским подходом к изображению крестьянской жизни. Зато в рассказах Марко Вовчка он видел неподдельную народность и не переставал восхищаться ее языком.

Расхождения с Кулишом были вызваны не только недоверием к его «непогрешимому вкусу», но и более серьезными причинами. Непреклонный Кобзарь был певцом крестьянской революции, а либерал Кулиш не скрывал своего стремления примириться с монархией. Пропасть между ними углублялась по мере обострения революционной ситуации. И конечно, не случайно «заботливый Панько» восставал против печатания наиболее смелых поэм Шевченко, а после его кончины в стихотворном некрологе упрекал поэта за то, что он «братался с чужими».

«Чужими» Кулиш считал революционных литераторов, группировавшихся вокруг «Современника» — Чернышевского, Добролюбова, Курочкина, Михайлова, с которыми Шевченко сблизился после ссылки.

Позиции Марко Вовчка определялись демократической направленностью ее рассказов. Вот почему, когда воскрес из небытия Шевченко, писательница потянулась к нему всей душой. И Кулиша это раздражало не меньше, чем ее упрямство и своеволие. Не обошлось и без личных обид. Главной же причиной последующего отчуждения были мотивы идейного порядка. Марко Вовчок тоже «братались с чужими» и вообще оказалась не той лошадкой, на которую он ставил.

Но мы опять забежали вперед. До Немирова доходили лишь отголоски литературных споров, да и вряд ли могли они тогда волновать писательницу. Она работала не покладая рук. Быстрое перо скользило по бумаге. Одни замыслы вытеснялись другими.

Украинские «оповідання» были уже переведены, русские рассказы написаны, «Панночка» подвигалась к концу, тревожили воображение «Гайдамаки». Во сне она разговаривала со своими героями, проснувшись, набрасывала новые сюжеты, вечером обдумывала завтрашние страницы...

В то время ее знали как автора «Народних оповідань». Только мужу и ближайшим друзьям было известно, как далеко она продвинулась в своем творчестве. Собравшиеся в Петербурге ценители украинского слова дружно восхваляли ее, зазывали в столицу, оказывали знаки внимания. Шевченко устроил складчину и послал ей «от всей громады» дорогой подарок — золотой браслет. Но дороже было ей личное подношение поэта — посвященное Марко Вовчку чудесное стихотворение «Сон» («На

панщині пшеницю жала...»), по сюжету и настроению созвучное ее рассказам.

Все это льстило молодой писательнице и еще больше укрепляло в решении вырваться из провинциальной глуши. Марко Вовчок уже заняла свое место на литературном Олимпе. Ее жизненное призвание окончательно определилось. В захолустном Немирове ей было тесно и душно. Невозможность поддерживать связи с редакциями, отсутствие интеллектуальной среды, опостылевший гимназический мирок с его сплетнями и дрызгами, неизбывная нужда и нежелание Афанасия продолжать службу при новом директоре, бездушном чиновнике Пристюке, — все это заставляло торопиться с отъездом.

Афанасий, Васильевич рассылал письма всем знакомым, умоляя пристроить на какую-нибудь скромную должность в Киеве, Москве или Петербурге. «Я все тот же 296-ти рублевый младший учитель Немировской гимназии... Оттого и мое семейное счастье безрадостно, или, вернее, держится добрым сердцем Марии Александровны. Но какая ей награда за такой подвиг? Спокойствие, удобства, которые я не могу доставить? Любовь, которая на сморщенном досадой лице не может много утех принести другу? Между тем с каждым годом и месяцем жизнь немировская становится несноснее... Я черт знает в какой нужде. Навязал мне товарищ один хозяйство свое со своими пансионерами, чтобы поддержать меня. Не тут-то' было! Мы не только не поправились, но еще подолжали».

Эти жалобы рассеивают миф об идиллической жизни в Немирове. О желании Марковичей вырваться оттуда свидетельствует и письмо Кулиша на имя обер-прокурора Синода графа А. П. Толстого. Рекомендуя Афанасия Васильевича на должность фактора в Московскую синодальную типографию, он перечисляет по пунктам все добродетели своего подопечного и, между прочим, указывает: «Он женат на особе, пишущей нравственно-религиозные повести под именем Марко Вовчка...»

Никакие хлопоты Афанасию не помогли. Оставалось только рассчитывать на литературные заработки Марии Александровны. И уже в Немирове на его долю выпала незавидная роль-состоять мужем при знаменитой жене. Роль тем более незавидная, что и сам он был человеком далеко не заурядным. Да только дарования были несоизмеримы!

Она с головой ушла в свое творчество, писала и переделывала рассказы, а он, как рачительный импресарио, старался их пристроить и заботился о гонорарах. Вступил в переговоры с «Русским вестником», переписывался с киевским книгопродавцем Литовым, запрашивал Каменецкого, какая сумма причитается еще Марко Вовчку сверх 65 рублей,

полученных авансом, просил Шевченко «поратовать за гроши» и выражал надежду, что предполагаемое второе издание «Оповідань» и выпуск той же книги на русском языке помогут им выбраться из Немирова.

Но делалось все очень медленно, а ждать было невтерпеж. Собрав с превеликими трудностями несколько сот рублей — из них полтора ста ссудил Дорошенко, — Марковичи стали готовиться к отъезду. Кроме этих скудных средств, были еще радужные перспективы — непроданные рукописи «Институтки» и «Рассказов из русского народного быта».

15 декабря 1858 года Афанасий Васильевич взял в гимназии месячный отпуск по болезни, заранее зная, что больше туда не вернется. Но что ждало его в будущем? Догадывался ли он, что все лучшее в его жизни осталось позади?

Наступила суровая зима, а путь предстоял долгий. В трескучий мороз выехали они из Немирова.

Марко Вовчок мчалась навстречу своей славе. Думала ли она, какая ее ожидает многотрудная, горестная жизнь?

ДОРОГА ДАЛЬНЯЯ

Путь из Немирова в Петербург со всеми остановками и заездами к родственникам занял больше месяца.

Слепящая снежная белизна, заиндевелые крупы лошадей; скрип полозьев, толчки на ухабах, чаепития на почтовых станциях, тоскливые песни ямщиков и стужа, стужа, стужа...

Рождественские праздники провели в Локотках (близ Шестки) у Василия Марковича. Сын его Дмитрий запомнил, как в переднюю вдруг ввалился «дядько Опанас», в высокой папахе и шубе, весь седой от мороза, как родители освобождали от груды платков продрогшую Марию Александровну и бережно разворачивали какой-то сверток, в котором оказался спящий Богдан.

Лесничество недаром называлось Глуховским. Большой бревенчатый дом находился вдали от села, за плотиной и помещичьей винокурней — на самом краю дремучего леса. Но такова уж была участь Василия — жить с семьей всегда где-то на отшибе. И хотя по ночам за высоким забором выли волки и мешала спать колотушка сторожа, Мария Александровна нигде не чувствовала себя так спокойно, как в этом гостеприимном доме. Воспользовавшись неделей отдыха, она переписала несколько главок «Институтки».

Афанасий тоже не бездельничал. В святочный вечер он вызвал с хутора ряженных хлопцев и дивчат и заставил их петь колядки. «Дядько долго продержал эту толпу, — вспоминает Д. Маркович, — и записывал их песни, а когда они ушли, поставил ноты на фортепиано и пропел нам. Я был поражен, как это он точно и хорошо записал». А когда пели хором под его аккомпанемент украинские песни, сбегались все, кто был в доме. Из дверей выглядывали Горпына, Гапка и на главном фоне баба, моя няня, утирала слезы. Ваба эта, По словам матери, героиня одного из рассказов Марко Вовчка».

«Тетка Маруся» — блондинка с серыми красивыми глазами, ровными, плавными и спокойными движениями, высокая, с большой русой косой — решительно отличалась от экспансивного мужа; в моменты резких порывов Афанасия смотрела на него широко раскрытыми глазами, не улыбаясь. Такой она запомнилась десятилетнему племяннику.

Дмитрий Маркович ни разу больше ее не видел, а Мария Александровна, уезжая из Локотков, навсегда простилась с его отцом.

Василия Васильевича перевели потом в Вологодское лесничество, а в 1865 году он погиб где-то в лесной глуши при загадочных обстоятельствах.

Следующий участок пути — от Шостки до Орла — был не менее мучительным. Сильные морозы заставили задержаться у Мардовиных дольше, чем хотелось. Зато до Москвы добрались сравнительно быстро — за каких-нибудь двое суток.

Провинциалы теряли голову в сутолоке большого города, путались в кривоколенных московских переулках. Но Марковичам повезло: сразу удалось разыскать Павла Ивановича Якушкина. Нечего и говорить, какая это была радостная встреча! Он сам вызвался отвезти их к Каткову, редактору «Русского вестника», и к Максимовичу, редактору «Русской беседы».

Посещение редакции не то, что канительная переписка. Катков все же решился напечатать «Козачку», нашел для нее место в февральской книге своего журнала, немедленно извлек рукопись из бумажного завала и отослал в набор. Мало того. Он произвел окончательный расчет за прежние рассказы и даже уплатил вперед — за принятый. Если бы не эти деньги, пришлось бы застрять в Москве: в дороге ушло все, что в Немирове собирали по рублю.

Максимович просиял, когда Якушкий представил ему автора «Народних оповідань». У маститого ученого, много сделавшего для украинской этнографии, с супругами Марковичами были общие интересы и общие друзья: первый из первых — Тарас Шевченко. Тотчас же завязался непринужденный разговор. Несмотря на то, что «Русская беседа» была рупором славянофилов, Максимович — крупный филолог и естествоиспытатель, тяготевавший к материализму, — далеко не во всем с ними соглашался. Во всяком случае, его никак нельзя было упрекнуть в узости мысли.

Мария Александровна обещала дать ему что-нибудь для журнала. И действительно, уже через несколько дней прислала из Петербурга один из лучших своих рассказов — «Машу» и экземпляр «Народних оповідань» с дарственной надписью.

Этот рассказ, посвященный С. Т. Аксакову, был опубликован в третьей книге «Русской беседы». Посвящение превратилось в эпитафию: старый писатель скончался 30 апреля после тяжелой, изнурительной болезни, приведшей его к слепоте.

В семью Аксаковых Марию Александровну ввел Максимович. Визит состоялся 21 января. Еще недавно, живя в Немирове, она и не помышляла о знакомстве с этим изумительным художником, певцом русской природы,

чьи книги не могли не вызывать восхищения.

Сергей Тимофеевич сидел в глубоком кресле, обложенный подушками, с пледом на ногах. Домочадцы неусыпно заботились о нем, угадывая малейшее желание. До последних дней его интересовало все, что происходит в литературе. Жена и дочери поочередно читали ему и писали под его диктовку. Аксакову было знакомо не только имя Марко Вовчка, но и рассказы, своевременно полученные от Кулиша.

Дружеские связи с Гоголем, Шевченко и Максимовичем укрепляли украинские симпатии всей семьи. Гоголь зажег в аксаковском кружке любовь к украинским народным песням. Младшую дочь писателя Надежду звали «певуньей». С наслаждением слушал Гоголь в ее исполнении «Чоботи», «Могилу», «Сонце низенько» и щедро снабжал ее новыми текстами и мелодиями.

Старшая дочь, Вера Сергеевна, известна как мемуаристка. Ее дневник — хроника семьи Аксаковых — один из ценнейших литературных документов эпохи.

Сыновья — Константин и Иван были чуть ли не главными идеологами позднего славянофильства. Иван Аксаков, в свое время видный публицист, издатель газет и журналов славянофильского толка, настойчиво изобличал царское правительство в недостаточном будто бы следовании «искони русским идеалам». Афанасий Маркович искал у него покровительства и на правах близкого знакомого Петра Васильевича Киреевского — друга семьи Аксаковых, и как этнограф, разделявший их увлечения.

Мария Александровна в покровительстве не нуждалась. Она познакомилась с Аксаковыми, будучи уже признанной писательницей.

В письме к своей родственнице Карташевской Вера Сергеевна тай рассказывает об этой встрече: «Вчера была у нас Марко Вовчок, то есть сочинительница. Лицо очень доброе, но простое; она должна быть очень не глупа, но очень конфузится. Сегодня они уже едут в Петербург, там, — вероятно, им будет приятнее... Обстоятельства же их весьма плохи, грустно было это видеть; очень жаль, что мы не успели с ней ближе познакомиться... Ваша малороссийская колония, вероятно, испортит Марко Вовчка, вскружат ей голову и собьют с толку, а пока она мне показалась женщиной скромной, без авторского самодовольства, кажется, очень конфузилась».

Николаевская железная дорога. Первое путешествие в поезде. Стук, грохот, скрежет, паровозные гудки. Ощущение невероятной быстроты...

23 января 1859 года, еще полные московских впечатлений, Марковичи очутились в Петербурге.

ПЕТЕРБУРГ

Жажда новизны была так сильна, что, не отдохнув еще от дороги, Мария Александровна попросила Каменецкого взять карету и поехала с ним осматривать достопримечательности столицы.

Все угадывалось с первого взгляда и все же выглядело иначе, чем подсказывали воображению книги и гравюры. Величественная перспектива Невского, громада Исаакиевского собора, лишь недавно освобожденного от лесов, гранитные набережные, Зимний дворец, Адмиралтейство, монументы, колоннады, мрамор, бронза, позолота — от такого великолепия и обилия впечатлений могла закружиться голова.

В самом широком месте Невы, напоминавшем заснеженное поле, с берега на берег тянулись санные обозы и цепочки людей. Позади Биржи, на стрелке Васильевского острова, была обширная площадь, тогда еще не застроенная зданиями клиник. Отсюда хорошо просматривался длинный, на четверть версты, фасад университета — внушительного здания, возведенного некогда Трезини для правительственных учреждений и с тех пор именуемого: «Двенадцать коллегий».

Зазимовавшие в Петербурге матросы торговали на площади заморскими редкостями и экзотическими животными. Один предлагал закутанную в тряпье простуженную обезьянку, другой отдавал за гроши огромную перламутровую раковину, третий настойчиво навязывал зеленого попугая, спящего или умирающего в клетке, покрытой стеганым одеяльцем. И тут впервые в жизни Мария Александровна увидела негра и подумала невольно об Айре Олдридже, на гастроли которого не успела попасть. Окруженный зеваками лиловато-черный человек терпеливо переминался с ноги на ногу перед кучкой кокосовых орехов, разложенных прямо на снегу. В этом странном контрасте было что-то феерическое, выходящее за пределы реальности.

Да и все, что происходило потом на протяжении трех с лишним месяцев, с первого и до последнего дня пребывания в Петербурге — торжественные приемы, громогласные похвалы, поклонения, почести, почти баснословный успех, почти неправдоподобная слава, — разве не должно было все это казаться молодой женщине, только что приехавшей из захолустья, чем-то феерическим, выходящим за пределы реальности?

И вместе с тем в холодном, пасмурном Петербурге в душу заползал холодок. Здесь как-то особенно подчеркивались иерархические градации и

сословные перегородки. Все до последней мелочи было регламентировано и упорядочено. Не только одежда, но и сама внешность человека говорили о его положении в обществе, о достатке и образе жизни. Мастерового из оброчных никто не спутал бы с мещанином, мещанина — с чиновником, чиновника — с купцом и т. д. Всякий знал свое место. Субординация, этикет, дисциплина всех выстраивали по ранжиру.

Чуть ли не на каждом углу торчала полосатая будка. Усатые будочники с алебардами зорко следили за прохожими, запрещая собираться в неположенных местах, шуметь и курить на улицах. Когда-то деревянные мостки и заборы загорались от случайной искры, да и само курение считалось неприличным. Центральная часть города давно оделась в камень, понятия о приличиях изменились, но запрет оставался в силе. И так было во всем — от малого до большого.

Бюрократическая рутина, архаические законы и установления делали Россию одним из самых отсталых государств.

Но вечно так продолжаться не могло. Назревала крестьянская революция. Шло великое брожение умов. Царскому правительству становилось все труднее сдерживать накал страстей. Нужно было спешить с реформами. Одни ждали их с нетерпением, как светлого праздника, другие — как конца света. Вместе с тем Приуготовительная комиссия для пересмотра постановлений и предположений о крепостном состоянии под председательством генерал-адъютанта Я. И. Ростовцева не сдвигалась с места.

Уже в июне 1858 года Герцен заявил в «Колоколе»: «Александр II не оправдал надежд, которые Россия имела при его воцарении... Он... повернул: слева да направо... его мчат дворцовые кучера, пользуясь тем, что он дороги не знает».

Дворцовый либерализм оказался очередным обманом. Не оправдали надежд и цензурные послабления, вызвавшие прежде всего стремительный рост торговли печатным словом. Об этом хорошо сказал в своих воспоминаниях Н. В. Шелгунов: «Еще никогда не бывало в России такой массы листовок, газет и журналов, какая явилась в 1856–1858 годах. Издания являлись как грибы, хотя точнее было бы сказать — как водяные пузыри в дождь, потому что как много их появлялось, так же много и исчезало. Одними объявлениями об изданиях можно было бы оклеить башню московского Ивана Великого. Издания были всевозможных фасонов, размеров и направлений, большие и малые, дешевые и дорогие, серьезные и юмористические, литературные и научные, политические и вовсе не политические. Появлялись даже летучие, уличные листки».

Разрешением высказывать в печати суждения о положении крестьянства и отмене крепостного права прогрессивные деятели воспользовались настолько широко и повели дискуссию в таком «нежелательном» направлении, что в декабре 1858 года был учрежден особый Комитет наблюдения над печатью. В него вошли: любимец царя граф Адлерберг, товарищ министра народного просвещения Муханов, начальник штаба жандармерии Тимашев и цензор Никитенко.

Новоявленный комитет сразу же дал о себе знать. 15 февраля Тургенев сообщил своему орловскому знакомому И. В. Павлову: «В цензуре заметно возвращение к строгости».

После этого письма не прошло и недели, как была запрещена газета «Slowo» («Слово») — орган патриотической группы поляков в Петербурге, а издателя Иосафата Огрызко упрятали в Петропавловскую крепость. Поводом для репрессий послужила публикация приветственного письма Иоахима Лелевеля, известного польского историка, одного из вождей восстания 1830 года, доживавшего свои дни в Брюсселе. Арест Огрызко вызвал бурю негодования. Некрасов сочинил по этому поводу экспромт:

*Плохо, братцы, беда близко.
Арестован уж Огрызко.*

Но ничто уже не могло задержать подъема общественной мысли.

В Петербурге зарождались революционные организации Группа «Современника», смелые конспираторы из студентов и разночинцев, непримиримые деятели польского освободительного движения, Шевченко и его единомышленники, Герцен со своим грозным «Колоколом», русские революционные эмигранты в Лондоне, Париже и Швейцарии — все они, несмотря на некоторые разногласия по тактическим вопросам, составляли единый фронт революционно-демократической оппозиции самодержавию.

«ГРОМАДА»

К концу пятидесятых годов в северной столице сосредоточились видные украинские писатели, ученые и общественные деятели. Это и заставило Кулиша отказаться от первоначального замысла основать типографию в Москве.

Жил он с женой более чем скромно — в двух небольших комнатах. В этом же доме Лея, на углу Вознесенского и Петергофского проспектов, помещалась и типография. Планы были широкие. Готовились к изданию сочинения Котляревского, Квитки-Основьяненко, проповеди Гречулевича. В цензуре лежал «Кобзарь». Замышлялось издание украинского альманаха, который в дальнейшем должен был превратиться в журнал, и серии дешевых книг для народа. Все это отнимало уйму времени и требовало капиталовложений. Поддерживали типографию пожертвования доброхотов и собственные гонорары Кулиша.

Неудачи, трудности, ссоры с женой выводили его из равновесия. «Уже в ту пору он был изрядно помят жизнью, озлоблен, нервен и носил задатки будущего психоза, но энергии, любви к своему делу было еще много», — вспоминала на склоне лет Марко Вовчок.

Зато шурин Кулиша В. М. Белозерский сумел устроить свою жизнь совсем иначе. Служба в канцелярии военного генерал-губернатора давала возможность снимать хорошую квартиру и ни в чем себе не отказывать. На еженедельных приемах у Василия Михайловича бывали почти все украинские литераторы и художники.

Позже, когда Белозерский переедет в Аптекарский переулок (осенью 1859 года) и будет выпускать вместе с Кулишом и Костомаровым первый украинский журнал «Основу» (1861–1862 гг.), салон его приобретет значение главного украинского центра в Петербурге. Надежда Александровна Белозерская, жена Василия Михайловича, станет известной переводчицей, автором исторических повестей и солидной монографии о Нарезном, удостоенной академической премии. Сделать литературную работу источником существования заставит ее нужда. После домашнего обыска и конфискации редакционного архива (до сих пор, кстати сказать, не разысканного) насмерть испуганный Белозерский резко изменит ориентацию. Симпатичный, обходительный Василий Михайлович подыщет для себя доходное место в Варшаве, бросит семью, превратится в типичного чиновника-обрусителя и прослывет ренегатом...

Но сейчас в этой семье царили мир и согласие. Совсем еще юная хозяйка дома, приветливо встретив супругов Марковичей, сразу же приобщила их к «громаде».

Более многолюдными были вечера у Карташевских. Двухэтажный особняк на углу Малой Офицерской и Гребецкой^[9], с каменными службами, каретным сараем и конюшней, принадлежал сестре С. Т. Аксакова, Надежде Тимофеевне Карташевской. Сын ее занимал четырнадцатикомнатную квартиру во втором этаже. Здесь собирались по вечерам не только украинские, но и русские писатели: Тургенев, Писемский, Некрасов, Тютчев, Полонский, Анненков, Щербина, братья Жемчужниковы и многие другие. В этом салоне звучала украинская речь, слышалась украинская музыка, гости-украинцы нередко появлялись в национальных костюмах, что в Петербурге смело могло сойти за демонстрацию.

Захаживали сюда и поляки. Приятель Шевченко Эдвард Желиговский — поэт, писавший под псевдонимом Антоний Соші, редактор «Слова» и других изданий Иосафата Огрызко, служил как бы связующим звеном между украинским и польским землячествами.

Сам Карташевский ничего из себя не представлял. О нем говорили, что он умеет только самостоятельно улыбаться. В семье главенствовала энергичная и властная Варвара Яковлевна, которую друзья называли «башибузуком». Она была красива, остроумна, начитанна и даже такой человек, как Тургенев, дорожил ее мнением.

Дочь черниговского помещика Я. Г. Макарова и племянница украинского историка Н. А. Маркевича, Варвара Яковлевна через мужа породнилась с семьей Аксаковых. Завязавшиеся еще на Украине литературные знакомства расширились в Петербурге при содействии ее брата, Николая Яковлевича Макарова, преуспевающего чиновника и третьестепенного литератора, принимавшего близкое участие в делах «громады».

Украинские интеллигенты собирались еще и в Валабинской гостинице у Костомарова (нынешний адрес — Садовая, 18) и в салоне графа Федора Петровича Толстого, известного скульптора-медальера, вице-президента Академии художеств. Он любил Шевченко и всячески ему покровительствовал. Тарас Григорьевич всегда был желанным гостем в его доме и нередко приводил туда своих друзей.

Что же касается самой «громады», то это был довольно пестрый конгломерат людей с очень разными интересами, настроениями и вкусами.

Сплоченную группу составляли до поры до времени только Кулиш с

Каменецким, Белозерский и Костомаров, а также издатель и редактор «Народного чтения» полтавчанин А. Оболонский. Более обособленно держались остальные литераторы — поэт и переводчик Афанасьев-Чужбинский, украинский прозаик А. Стороженко, писатель-этнограф Номис (М. «Симонов»). В дальнейшем все они стали сотрудниками «Основы».

Для кружка художников (К. Трутовский^[19], Г. Честаховский, М. Микешин, И. Соколов, Л. Жемчужников) объединяющим началом служил Шевченко, с которым был дружен и С. Гулак-Артемовский — талантливый певец и композитор, создатель первой украинской оперы «Запорожец за Дунаем» (1863). В беседах за чайным столом принимали участие и украинцы-чиновники — братья Лазаревские, Макаров, правовед Кистяковский, сын историка Андрей Маркевич, дворянский деятель Григорий Галаган, входивший от украинских помещиков в Приуготовительную комиссию по крестьянскому вопросу, и другие не столь заметные лица.

Ни о каком единстве взглядов говорить тут, конечно, не приходится. С Кулишом Шевченко связывали в этот период больше издательские дела, чем личные отношения. Костомаров искренне любил поэта, но, по словам Н. А. Белозерской, «был чужд той ненависти, доходившей почти до фанатизма, которую Шевченко, как человек из народа, испытывавший на себе всю тяжесть крепостного права, чувствовал к его угнетателям». То же самое можно сказать почти о всех земляках — приятелях поэта. Дальше либерального обличительства они не шли. Даже и такой преданный друг, как Михаил Лазаревский, не разделял его революционных убеждений.

В полном составе «громада» почти никогда не собиралась. Соединить всех этих людей под одной крышей могло лишь какое-то экстраординарное событие вроде литературного вечера с участием Щепкина или появление новой знаменитости — Марко Вовчка.

СИЛА МОЛОДАЯ

Несколько раз писательница выступала на многолюдных вечерах с чтением «Институтки» и, по-видимому, «Игрушеч-ни» — ис таким успехом, что об этих чтениях долго еще вспоминали современники.

В 1868 году Тургенев прислал Карташевой из Бадена свою повесть «Дым» — «в память прежних литературных сношений и тех знаменитых вечеров, на которых добродетельные малороссы брались за голову при чтении «Институтки» и умиленно твердили: «Шекспыр! Шекспыр!»

Но зимой 1859 года и сам Тургенев был преисполнен энтузиазма. Достаточно привести несколько строк из его письма к И. В. Павлову от 15 февраля: «Г-жа Маркович весьма замечательная, оригинальная и самородная натура (ей лет 25); на днях мне прочли ее довольно большую повесть под названием «Институтка», от которой я пришел в совершенный восторг: этакой свежести и силы еще, кажется, не было — и все это растет само из земли, как деревцо. Я имею намерение перевести эту «Институтку», хотя и не скрываю от себя трудности этой задачи».

Поначалу Марко Вовчок производила впечатление заурядной, ничем не примечательной женщины. Замкнутая и молчаливая, она держалась с подчеркнутой скромностью, без всякого жеманства и нарочитого старания понравиться. Ее поэтическая натура, редкое сочетание ума, таланта и природного обаяния раскрывались далеко не сразу — и только тем, к кому она сама хорошо относилась.

«Шевченко при ее виде оживал, Кулиш и Костомаров сильно увлеклись ею; даже Тургенев, несмотря на его роковую страсть и Виардо, был смущен и, как показывают его письма, испытывал чувство для него необычное, очень близкое к увлечению», — писал Богдан Маркович об этом периоде ее жизни.

24 января, на другой день после приезда, произошла долгожданная встреча с Шевченко. История не сохранила свидетельств об этой первой встрече Тараса Григорьевича с молодой писательницей. Мы не знаем, о чем они говорили, но ясно одно: тратить время на поиски общего языка им не пришлось. Первые часы, проведенные с глазу на глаз в задушевной беседе, закрепили дружбу, возникшую еще до личного знакомства.

26 января Кулиш уже изливал свои чувства в письме к А. Г. Милорадович: «Марко Вовчок, про которого я писав до Вас, приїхав сюда...Тепер Марко Вовчок коло мене. Він мені сизим голубом гуде і

соловейком співає. Він мене з великої туги визволяє. Він мені на світі задержує».

Костомаров, куда более сдержанный и осмотрительный, не оставил никаких признаний. Между тем летом того же года Тургенев писал о нем Марии Александровне: «Он жил Вами и для Вас; Вы теперь далеко — жизнь пошла серая, плоская, мелкая, скучная; он не из таких людей, которые умеют обмануть свой душевный голод, наполняя себя какой-нибудь посторонней пищей».

С Тургеневым сразу установились ровные, приятельские отношения. 10 февраля он сообщал своему другу В. П. Боткину «А здесь у нас появились разные новые лица: г-жа Маркевич (писавшая малороссийские рассказы под именем Марко Вовчка), премилая женщина, которая так *выглядит* (как говорят петербуржцы), как будто не ведает, какою рукою берется перо. Кроме ее, я познакомился с целой колонией малороссов и малороссиянок, где все, кроме картавого тупоумца Кулиша, милейшие люди».

Тургенев видел в ней не только украинскую писательницу, но и землячку. И хотя в Орле им встречаться не приходилось, у них были общие знакомые. А это всегда сближает. Мария Александровна импонировала ему и как интересная женщина, умная и поразительно восприимчивая, понимавшая с полуслова. Антикрепостническая направленность «Народных рассказов», стремление проникнуть в психологию героев из народа перекликались с «Записками охотника», и потому в этот период у Тургенева были все основания считать Марко Вовчка писательницей, близкой ему по идейным и художественным устремлениям. Она-то главным образом и побудила его серьезно заинтересоваться украинской литературой.

В середине февраля Марко Вовчок познакомила Тургенева с Шевченко.

«Первое наше свидание, — вспоминал много лет спустя Иван Сергеевич, — произошло в Академии художеств, вскоре после его возвращения в Петербург, зимою, в студии одного живописца, у которого Тарас Григорьевич намеревался поселиться. Я приехал в академию вместе с Марьей Александровной Маркевич^[10] (Марко Вовчок), которая незадолго перед тем тоже переселилась в нашу северную столицу и служила украшением и средоточием небольшой группы малороссов, съютившейся тогда в Петербурге и восторгавшейся ее произведениями: они приветствовали в них — так же как и в стихах Шевченка — литературное возрождение своего края. В студии художника, куда мы прибыли с г-жою

Маркевич, уже находилась одна дама (тоже малороссиянка по происхождению), Кар[ташев]ская; в ее доме, по вечерам, часто собиралась та группа, о которой я говорил; и Шевченко, познакомившись с г-жою Кар[ташев]ской, стал посещать ее чуть ли не каждый день. Мы прождали около часу. Наконец явился Тарас Григорьевич — и, разумеется, прежде чем кого-либо из нас, приветствовал г-жу Маркевич; он уже встречался с нею, был искренне к ней привязан и высоко ценил ее талант».

В проникновенной элегии «Марку Вовчку. На память 24 января 1859» Шевченко подчеркнул обличительный смысл ее творчества. Великий Кобзарь говорит о писательнице с отеческой нежностью. И каждое слово в этих вдохновенных стихах полно глубокого значения.

Вот оригинальный текст с параллельным русским переродом:

*Недавно я поза Уралом
Блукав і господа блавав,
Щоб наша правда не пропала,
Щоб наше слово не вмирало;
І виблагав. Господь послав
Тебя нам, кроткого пророка
І обличителя жестоких
Людей неситих. Світе мій!
Моя ти зоренько святая!
Моя ти сило молодая!
Світи на мене і огрій,
І оживи моє побите
Убоге серце, неукрите,
Голоднее. І оживи.
І думу вольную на волю
Із домовини воззову.
І думу вольную... О доле!
Пророче наш! Моя ти доне!
Твоєю думу назову.*

*Недавно за рекой Уралом
Скитаясь, небо я молил,
Чтоб наша правда не пропала.*

*Чтоб наше слово не смолкало;
И вымолил. Господь явил
Тебя нам, кроткого пророка
И обличителя жестоких
И ненасытных. Свет ты мой!
Моя ты зоренька святая!
Моя ты сила молодая!
Гори, сияй и надо мной
И сердце оживи больное,
Усталое, немолодое,
Голодное... И оживу,
И думу вольную на волю
Из гроба к жизни воззову,
И думу вольную... О доля!
Моя ты дочь! Поборник воли
Твоею думу назову. [\[11\]](#)*

1859 лютого (февреля) 17 СПб.

Заметим, что религиозная фразеология, мотивы из библейской и античной мифологии в условиях политического и цензурного гнета были общепринятой формой выражения мятежных чувств. Отсюда и метафорический образ «кроткого пророка», которого послал господь, внемля мольбам поэта, чтобы было кому ратовать после него за народную правду и народное слово. В украинской литературе того времени Марко Вовчок была ближайшей, если не единственной, преемницей Шевченко. Вот почему он называет ее своей дочерью, своей зоренькой, своей молодой силой...

В начале следующего года вышел из печати обезображенный цензурой «Кобзарь». Дата первой встречи так запала Шевченко в душу, что она обозначена и в посвящении этой многострадальной книги: «*Марку Вовчкові на пам'ять 24 січня [января] 1859 р.*». А на дарственном экземпляре того же издания поэт начертал: «*Моїй єдиній доні Марусі Марков[ич] і рідний і хрещений батько Тарас Шевченко*».

Таковы были высшие знаки любви и внимания автора «Кобзаря» к автору «Народних оповідань».

Писательница, в свою очередь, посвятила ему «Институтку», увидевшую свет почти одновременно с «Кобзарем».

3 апреля Шевченко подарил ей свой портрет и рукопись революционной поэмы «Неофиты» с трогательной надписью: «Любий моїй єдиній доні Марусі Маркович на пам'ять».

Нетрудно объяснить, почему из всех своих манускриптов Шевченко выбрал для подарка именно «Неофитов». В аллегорических образах кровавого деспота Нерона и первых мучеников христиан поэт клеймит самодержавие и славит бесстрашных борцов, отдающих жизнь за свободу. Наполняющие поэму грозные инвективы вместе с призывами навсегда покончить с царем и отрешиться от суеверий должны были вдохновить Марко Вовчка на создание новых обличительных произведений.

В 1875 году к Марии Александровне обратился украинский деятель Русов с просьбой прислать воспоминания о Шевченко для пражского двухтомного издания «Кобзаря». Вместо этого она послала в Прагу драгоценный автограф «Неофитов», оставив себе титульный лист с дарственной Надписью поэта, а воспоминаний о нем не написала — ни тогда, ни позже. По каким соображениям — трудно сказать. Быть может, не хотела поднимать со дна души то, что было для нее сокровенно и свято, а скорее всего — останавливала неприязнь к мемуарному жанру. Касаться чужой биографии, говорила Марко Вовчок, можно не раньше, чем человек сойдет в могилу и могила трижды травой порастет. Шевченко был с ней предельно откровенен. Выложить всю правду — значило затронуть его отношения с людьми, которые были еще живы и могли истолковать воспоминания в плане личных намеков и выпадов.

С какой преданностью «единственная дочь» относилась к «родному и крестному отцу», как хорошо понимала его могучую силу и неукротимый нрав, свидетельствуют немногие уцелевшие ее письма к поэту.

Неожиданное известие о смерти Тараса Григорьевича она восприняла как величайшее горе: «Я ні об чім думати не можу. Боже мій! Нема Шевченка. Се я тоді з ним навек попрощалася — чи думали мы, прощаючись...Ні об чім я більше не буду говорити сьогодні — я хочу плакати».

После кончины Шевченко Мария Александровна в письме из Рима просила мужа выволить шевченковские реликвии — автопортрет, выполненный им еще в молодости, тетрадку стихов, написанных в Орской крепости, и библию, которая сопровождала его в скитаниях по Аральским степям: «Все тее він мені отдав, як я в нього була, а я зоставила знов у нього, поки вернусь». Уже в начале нашего века редактор первого научного издания «Кобзаря» В. Доманицкий осведомлялся у писательницы, нет ли на полях этой библии каких-либо маргиналий — собственноручных пометок,

записей или стихов Шевченко. Что ответила Марко Вовчок, мы не знаем, но из ее поздних писем видно, что она сама заботилась о публикации хранившихся у нее автографов.

В 1902 году она поместила в «Киевской старине» написанную еще в шестидесятых годах украинскую сказку «Чортова пригода» (в русском варианте — «Чортова напасть») с лаконичным посвящением: «Т. Г. Шевченку». С разрешения писательницы редакция дала небольшое предисловие: «...перед выездом г-жи Марко Вовчок за границу Т. Г. Шевченко завещал автору непременно заняться обработкой сказок. «Гляди ж, доню, — просил поэт ее, — щоб ти мені написала копу-дві, або п'ять, а то и сім кіп казок»...^[12] Выполняя волю поэта и данное ему слово, г-жа Марко Вовчок обработала несколько народных сказок. Настоящая сказка и есть именно одна из тех, которые были написаны по завещанию поэта».

Дружеские отношения с Шевченко стали для Марко Вовчка фактом не только личной, но и творческой биографии. Ее сказки, проникнутые освободительными стремлениями, чрезвычайно близкие по мотивам и художественным средствам к народному творчеству, конечно, не обычные обработки фольклорных сюжетов, а вполне самостоятельные произведения. Лучшие из них, и в том числе «Чортова пригода», являются жемчужинами украинской классической прозы.

Тургенев вспоминает, как Шевченко однажды показал ему «крошечную книжечку, переплетенную в простой дегтярный товар, в которую он заносил свои стихотворения и которую прятал в голенище сапога, так как ему запрещено было заниматься писанием».

Марко Вовчок не только видела, но и читала, «захалавные» книжки, привезенные поэтом из ссылки, читала сама и слышала из его уст стихи, по тем временам абсолютно запретные, рассматривала его «невольничьи» рисунки и только что выполненные офорты.

Шевченко ввел ее также в круг своих друзей и единомышленников. Тут были украинские и русские художники, поэты — Плещеев и Василий Курочкин, польские революционеры, товарищи Тараса по изгнанию — Зыгмунт Сераковский, Павел Круневич, Эдвард Желиговский. Последний внушил ей настоящий культ Мицкевича, которого она читала еще в Немирове, познакомил с польской народной поэзией, а позднее, когда они встретились снова в Париже, связал с революционными эмигрантами, будущими участниками восстания 1863 года.

Таким образом, Тарас Григорьевич Шевченко, всегда будивший поэтические струны ее души, был и идейным вдохновителем Марко Вовчка.

Она пережила своего великого друга почти на полстолетия, но в истории украинской литературы их имена стоят рядом.

ДЕЛА И ДНИ

Марковичи снимали квартиру в угловом доме — напротив типографии Кулиша. При малейшем затруднении Мария Александровна могла обращаться за помощью к Каменецкому. Привезенная из Немирова девушка-служанка Мотря несколько раз на день прибегала к нему со всякими поручениями и просьбами. Коротенькие записки, набросанные беглым торопливым почерком на листках почтовой бумаги, проливают свет на обстоятельства петербургской жизни Марко Вовчка.

Когда заболела Мотря, а вслед за ней слегла и сама Мария Александровна (по мнению врача, у нее было «что-то вроде тифа»), Каменецкий взял на себя попечение о всем семействе; вызывал доктора, доставал лекарства, приносил книги, забирал рукописи, отсылал корректуры, ходил за покупками, следил за расходами, стараясь по возможности снять с писательницы бремя бытовых забот.

Конечно, все было бы проще и легче, не будь Афанасий таким беспомощным и беспечным в житейских делах. В непривычных условиях он терялся и требовал к себе не меньшего внимания, чем шестилетний Богдан.

Каменецкий превратился в ангела-хранителя. Что бы ни случилось, он с готовностью спешил на выручку.

«Афанасий очень просит Вас указать Мотре, где живет портной, у которого сюртук, и научить Мотрю его вытребовать *сейчас же*, потому что нужен к 7-ми вечера». «Афанасий затрудняется, как доставить Василию Михайловичу его часы». «Придите, пожалуйста, Афанасий Вас хочет попросить о каком-то деле».

Богдась бесится от скуки — Данило Семенович уводит его в зверинец Зама на Екатерингофском проспекте. Богдась потерял калоши — Данило Семенович покупает новые. Мотре опять стало хуже — Данило Семенович посылает за доктором Галузинским.

«Что же Вы не идете, Данило Семенович? Мое хозяйство без Вас совсем приходит в упадок, хотя и *господиня* из меня не большая, по пословице: *господиня!* три городи — одна диня!»

«Потрудитесь, Данило Семенович, уведомить Макарова, что сегодня чтения не будет, потому что я чувствую себя нездоровою и не могу никого принять».

«Если можете, Данило Семенович, достаньте карету, мне хочется

поехать за город. К тому же и Богдась сегодня целый день не был на воздухе. Впрочем, только в таком случае возьмите карету, если это будет стоить не дороже одного рубля — поедем не более двух часов. Если Вы поедете с нами, я буду очень рада. Вы будете наставлять кучера, куда ехать. У меня сегодня голова болит».

В Петербурге жили родственники писательницы: брат Валерьян — бухгалтер Департамента окладных сборов, и Митя Писарев, в ту пору студент-филолог, блистательно начинавший литературную деятельность в юношеских журналах. В «Подснежнике» он помещал переводы, в «Рассвете» вел литературно-критический отдел, напечатав за каких-нибудь полтора года около ста рецензий и несколько больших статей.

Юный Писарев, уже захваченный освободительными идеями, воспринял антикрепостнические рассказы Марко Вовчка как знамение времени. Он знакомил с ней товарищей по университету, горячо рекомендовал всем друзьям и, разумеется, постарался заинтересовать сочинениями «семейной знаменитости» редакторов журналов, в которых сам сотрудничал. Правда, то были не первые публикации, а перепечатки, неизменно сопутствующие успеху автора. «Подснежник» остановил свой выбор на «Сестре» (1859, № 10), «Рассвет» облюбовал «Институтку» (1860, № 2).

Таким образом, Марко Вовчок с самого начала становится писательницей для всех возрастов. С самого начала ее рассказы получили доступ в детскую и юношескую аудиторию. И в дальнейшем они верно служили и служат до сих пор воспитанию молодого поколения, внушая благородные чувства, отвращение к произволу и деспотизму.

Самым примечательным событием петербургской жизни Марко Вовчка было участие Тургенева в подготовке русского издания «Украинских народных рассказов».

Уже после того как 9 февраля было получено цензурное разрешение, Иван Сергеевич тщательно отредактировал авторские переводы и до такой степени улучшил первоначальный текст, что согласился выставить свое имя в качестве переводчика. Вполне возможно, что эта работа была им проделана в сотрудничестве с автором.

Чтобы обеспечить успех изданию, он написал и напутственное слово:

«Малороссийская читающая публика давно уже познакомилась с «Народными рассказами» Марка Вовчка, и имя его стало дорогим, домашним для всех его соотечественников. Чувствовалась потребность сделать его таким же и для великорусской публики, которая не могла быть вполне довольна появившимися переводами, носившими слишком явный

отпечаток малороссийской речи. Взвзявшись удовлетворить этой потребности, пишущий эти строки поставил себе задачей — соблюсти в своем переводе чистоту и правильность родного языка и в та же время сохранить, по возможности, ту особую, наивную прелесть и поэтическую грацию, которою исполнены «Народные рассказы». Насколько удалась ему эта задача — в особенности ее вторая, труднейшая часть — остается судить благосклонному читателю».

Стоит только сопоставить окончательный текст с публикациями в «Русском вестнике», чтобы убедиться, с каким мастерством выполнена редаKTура. Тургенев исправил неудачные обороты, подобрал во многих случаях более точные эпитеты, заменил украинизмы близкими по смыслу русскими выражениями, значительно обогатил словарь, синтаксис и ритмический строй речи. После тургеневской правки русский перевод украинских рассказов Марко Вовчка засветился всеми красками, стал легким, изящным, поэтичным, певучим и, главное, вполне адекватным подлиннику.

Книга Марко Вовчка, как и «Кобзарь» Шевченко, печаталась под наблюдением Каменецкого в типографии Кулиша. Финансировал издание петербургский книгопродавец Д. Е. Кожанчиков, связанный с кружком украинских литераторов. Только счастливое стечение обстоятельств позволило ему выпустить «Народные рассказы». 19 марта цензор Никитенко записал в своем дневнике после очередного заседания секретного Комитета по надзору за печатью: «Тимашев прочитал безымянный донос о том, что в «С.-П[етербургских] ведомостях» напечатано извещение о приготовляющемся переводе малороссийских повестей Вовчка на русский язык и о намерении некоторых литераторов пустить их в продажу по самой дешевой цене. Доносчик с патриотическою ревностю указывает на страшный вред, долженствующий произойти от распространения в народе подобных вещей».

Никитенко усомнился, действительно ли так «вредны» эти рассказы, и тогда Муханов пересказал ему содержание «Козачки», написанной «с целию как бы вооружить крестьян против помещиков, их притеснителей-владельцев». «Странно, — продолжает цензор свои рассуждения, — что подобные вещи печатаются теперь, когда дело идет об уничтожении злоупотреблений, против которых восстает автор «Козачки»... Странно также, что переводчиком повестей Вовчка в «С.-П. ведомостях» объявлен Тургенев, не знающий вовсе малороссийского языка. Это, должно быть, какая-нибудь спекуляция».

В действительности же то, что Никитенко принял за «спекуляцию», явилось ценнейшим вкладом великого писателя в национальную культуру обоих народов. Незнание украинского языка не помешало Тургеневу после кропотливого редактирования русского текста «Народних оповідань» взяться за перевод «Институтки». Вместе с украинским оригиналом в распоряжении Тургенева был на этот раз не авторский перевод, а добросовестный «подстрочник», сделанный, по-видимому, Афанасием Марковичем при участии Кулиша или Каменецкого.

20 марта Тургенев выехал в Москву, а оттуда в Спасское, с тем чтобы после месячного отдыха вернуться на несколько дней в Петербург и отправиться потом за границу. Из Спасского он прислал обещанное предисловие к книге Марко Вовчка.

«Благодарю Вас, уважаемый Иван Сергеевич, за предисловие. «Институтка» вышлетя Вам дня через три», — писала она 29 марта, а Тургенев, в ожидании нужных ему текстов, напоминал Карташевской: «Я до сих пор не получил перевода «Институтки» — да мне нужен и оригинал, непременно; надеюсь, что Кулиш мне его пришлет».

Захваченный работой над романом «Накануне», он не успел выполнить перевод к намеченному сроку. Русский текст повести попал в редакцию «Отечественных записок» только осенью и был напечатан в январе 1860 года.

Тургенев как переводчик и популяризатор украинских произведений Марко Вовчка способствовал ее всероссийской славе. Пока писательница находилась в Петербурге и в первые месяцы ее пребывания за границей, появлялись хвалебные статьи и отзывы о книге, изданной Кожанчиковым, и рецензии на «Рассказы из русского народного быта», печатавшиеся в журналах.

Оперативность прессы соответствовала злободневности рассказов. Они произвели в России не меньшую сенсацию, чем «Хижина дяди Тома» в Америке. Не было, пожалуй, ни одного сколько-нибудь заметного органа печати, который обошел бы их молчанием. Среди первых критиков Марко Вовчка, отвлекаясь от конкретных оценок и отношения к ее творчеству, мы встречаем Тургенева и Достоевского, Герцена и Писемского, Добролюбова и Писарева, Кулиша и Костомарова, Дружинина и Леонтьева, Пыпина и Котляревского.

Рассказы Марко Вовчка будоражили общественное мнение, никого не оставляли равнодушным. На первых порах, пока вопрос о реформе находился еще в стадии обсуждения, их появление было встречено дружными похвалами. Автор небольшой книжки немедленно был вознесен

на Олимп, возведен в ранг перворазрядных писателей. Позже, по мере нарастания революционной ситуации, отношение к Марко Вовчку служило верным показателем идейных и эстетических позиций критиков — разных направлений. Вокруг ее творчества разгорались жаркие споры, завязывались литературные бои. Но первой реакцией был восторг, смешанный с удивлением: автором этих чудесных произведений оказалась молодая женщина!

Рецензировались даже отдельные рассказы. Стоило появиться «Надеже» на страницах «Народного чтения», как последовал отклик в «Московском вестнике»: «Рассказ г-жи Марко Вовчок мог бы украсить страницы любого из наших периодических изданий. О произведениях этой замечательной писательницы, исполненных искренности, теплоты и задушевности, мы когда-нибудь поговорим в особой статье».

Но инициативу перехватил молодой украинский критик А. А. Котляревский, впоследствии крупный ученый-славист, которого хорошо знал и высоко ценил Чернышевский^[20]. Он выступил в «Отечественных записках» (1859, № 3) с боевой публицистической статьей, подписанной криптонимом «Эк. С-ть» (т. е. экс-студент). Без всяких околичностей он причислил «Народные рассказы» Марко Вовчка к «реальному направлению» в литературе, которое «приходит в живую связь с нашими кровными интересами и является дружным помощником на пути отречения от выжившей старины». И с этой точки зрения критик подробно рассматривает «Козачку», «Одарку» и «Горлину», выражая притворное удивление, почему именно эти, лучшие из лучших рассказов, не были помещены в «Русском вестнике». «Все три рассказа, — заявляет Котляревский, — не что иное, как три акта одной тяжелой драмы, впечатление которой тем сильнее, что она далека всех литературных условий и прямо вводит нас в среду живой, неподкрашенной действительности». Не менее знаменательна и концовка статьи: «Великая благодарность да будет воздана честному автору за его честное, благородное слово о том, на что в настоящее время обращены и мысли, и чувства, и дела всякого живого современного человека».

Даже в первых доброжелательных откликах наметились две тенденции, которые в дальнейшем проявились еще более отчетливо. Одни подмечали преимущественно поэтическое своеобразие рассказов, не касаясь их социальной остроты, другие подчеркивали общественную направленность и идейно-творческое новаторство писательницы. Характерны в этом отношении выступления Костомарова и Писарева, как бы продолжающие первый — линию Кулиша, второй — А. Котляревского.

Костомаров постарался обратить внимание читателей «Современника» (1859, № 5) прежде всего на художественные достоинства рассказов, отметив умение автора «отыскивать главные поразительные черты, избегать многословия и в немногом выражать многое», а Добролюбов в вводной заметке похвалил работу Тургенева: «В его собственном таланте столько поэтической грации и прелести, его сочувствия так близки к народной жизни, что он мог приложить к этому делу свою душу, и это ручается нам, что русская публика получает теперь перевод украинских рассказов Марко Вовчка, не уступающий оригиналу».

В подтверждение правоты этих слов в том же номере «Современника» была напечатана «Одарка».

Писарев откликнулся на только что изданную книгу в журнале «Рассвет» (1859, № 5). В его короткой рецензии уже проводится главная мысль, определившая содержание большой статьи, написанной в следующем году, когда он возобновил свою деятельность после тяжелой болезни: писательница «нападает своими вполне художественными произведениями не на случайные злоупотребления, а на самый принцип, как он есть». Статья предназначалась для того же «Рассвета», но по неизвестной причине в журнале не была помещена и вообще при жизни критика не печаталась. Впоследствии он подарил эту рукопись Марии Александровне. Статья была найдена в ее бумагах и увидела свет только в 1913 году — в дополнительном томе павленковского собрания сочинений Писарева.

Очень скоро произведения Марко Вовчка стали известны и за пределами России. Двоюродный брат Чернышевского, будущий академик А. Н. Пыпин, печатал в «Журнале Чешского музея» серию «Писем о современной русской литературе». В одном из них, опубликованном в марте 1859 года, он с восхищением отозвался об «Украинских народных рассказах», и уже в июне газета «Пражские новости» напечатала «Одарку» — первый из иностранных переводов, за которым последовали в той же газете «Сон», «Чумак» и «Выкуп». «Знаете ли Вы, — спрашивал писательницу осенью того же года Белозерский, — что Ваши «оповідання» переводят в Варшаве на польский и в Праге на чешский?»

Это было только начало. Прошло несколько лет, и рассказы Марко Вовчка завоевали популярность во всех славянских странах. Немногие литераторы получали такое быстрое и единодушное признание.

Ну, а сама она? Как восприняла писательница свою неожиданную славу и весь этот шум, поднятый вокруг ее имени? Вполне спокойно. У нее хватило самообладания не подавать вида, что все это Имеет к ней прямое

отношение и в какой-то степени волнует ее.

ОТСТУПЛЕНИЕ, БЕЗ КОТОРОГО НЕЛЬЗЯ ОБОЙТИСЬ

Имя Марко Вовчка то и дело мелькает в дневниках, записках, воспоминаниях и письмах пятидесятих-семидесятих годов. Современники отзывались о ней по-разному, но никто не относился безразлично. Ее любили или ненавидели, боготворили или мазали дегтем. Если свести воедино определения и эпитеты, которыми награждали ее со всех сторон, то они разделятся на две диаметрально противоположные группы, почти без промежуточных оттенков. Одни считали ее доброй, чуткой, отзывчивой, остроумной, живой, веселой. Другие — холодной, лукавой, двоедушной, замкнутой, угрюмой, черствой. Одни укоряли ее за «самоедство» — за то, что она предъявляет к себе непомерные требования, грызет себя и терзается из-за пустяков. Другим она казалась заносчивой, самоуверенной, самодовольной. Но даже отъявленные злопыхатели не могли ей отказать в большом уме, целеустремленности и сильной воле.

Итак, для людей расположенных — ангел во плоти, и демон зла — для всех недоброжелателей. Но она не была ни ангелом, ни демоном. Жизненные неурядицы и пестрая толпа, которая ее окружала, приучили ее не доверять льстивым речам и не откровенничать с кем попало. Душу она открывала только тем, кому верила, а таких было немного.

Вспомним, какое это было время. Борьба за женскую эмансипацию стала своеобразным эпохальным движением, велась в теории и на практике, в домашней жизни и общественных сферах. В свободном изъяснении свободных чувств прокламировалось равноправие и личная независимость женщины. В самостоятельной трудовой деятельности — ее социальная полноценность. В этом смысле Марко Вовчок ничем не отличалась от Жорж Санд и других прогрессивных писательниц XIX века.

Да, она порвала с мужем, она меняла сердечные привязанности, но убеждений своих никогда не меняла. Успех у мужчин создавал ей врагов среди женщин. Где бы она ни появлялась, за ней тянулся шлейф, сотканный из ревности и зависти. То, что другим прощалось, ей ставилось в вину. Напускное равнодушие, кажущееся высокомерие были ее защитной реакцией против злословия и клеветы. Что бы о ней ни говорили, какие бы ни распускали сплетни, она гордо проходила мимо, демонстративно не считаясь с общественными предрассудками и пренебрегая светскими условностями. Больше того. Она не давала себе труда опровергать

клеветнические измышления, не одергивала пасквилянтов, старавшихся подорвать ее репутацию и даже лишить права называться автором «Украинских народных рассказов» — тех рассказов, которые символизировали для современников освободительные стремления века.

Нужно еще принять во внимание и особенности ее самобытной натуры. Требовательная к себе и другим, она в критические минуты сжигала за собой мосты и навсегда порывала с теми, кто ее разочаровывал или обманывал доверие. Компромиссов не признавала. *Tertium non datur* — третьего не дано! Если любовь — то безрассудная, если дружба — то беззаветная, если ненависть — то до последнего вздоха! Вопреки всему она принимала крутые решения, порою совершала опрометчивые поступки, а потом горько каялась. Но в ошибках своих никому не признавалась и делала вид, что в жизни ее все обстоит как нельзя лучше.

Нелегкое положение «эмансипированной женщины», живущей на литературные заработки, смело бросившей вызов официальному общественному мнению, создало ей славу «нигилистки», для которой нет ничего святого. Изнурительная борьба за кусок хлеба нередко заставляла ее вступать в деловые отношения с людьми, чуждыми ей по духу, которых она презирала и не могла от них этого утаить. С юных лет Марко Вовчок привыкла к тому, что за ней увивалась целая свита «поклонников таланта». Глупых и наглых она немедленно изгоняла, и достаточно было двух-трех словечек — метких, язвительных, разящих наповал, чтобы вчерашний поклонник, затаив обиду, переходил в стан ее недругов и хулителей.

«Недостаток любезности, — однажды заметила она в письме к сыну, — создал мне не только недоброжелателей, но, как это ни чудно, прямо врагов. «Что она о себе думает!» А она ничего не думала, только не целовалась, не говорила любезностей зря, кому попало... Неискусна была в жизни. Однако об этом не жалею: не осквернила себя притворством, хотя бы незначительным в угоду хорошему манерам или общественности. Быть грубым скверно, и я не поклонница и не последовательница грубости, но еще хуже зря целоваться, «сердечно» пожимать руки и проч, и проч.»

Жизненный путь Марко Вовчка не был устлан розами и не походил на почтовый тракт. Первоначальный успех и популярность молодой писательницы были беспримерны, а потом в силу многих причин обстановка резко изменилась: ей приходилось сотрудничать во второстепенных газетах и журналах, гоняться за случайными литературными заказами, на многие месяцы отрываться от оригинального творчества ради более верной и регулярной переводческой работы, печататься анонимно и под другими псевдонимами.

Чтобы оценить писателя во всей сложности его духовных исканий и во всем драматизме жизненных коллизий, не следует замалчивать и таких сторон его биографии, которые не укладываются в хрестоматийные схемы. Классики не походили при жизни на свои посмертные гипсовые маски и не изъяснялись цитатами из своих книг. Литературоведческий грим не украшает, а обедняет писателя — делает его похожим на других, подгоняет под готовую рубрику и заранее заданный шаблон. Любая попытка раскрыть индивидуальный характер и неповторимое своеобразие крупной творческой личности начинается с освобождения ее от посторонних «наслоений» — апологетических или враждебных. К этому мы и стремимся. И чтобы не утомлять читателя длинными рассуждениями, приведем искреннее признание Марко Вовчка, не заменяя «неудобное» слово сакраментальным многоточием:

«Я прожила весь свой [век], идя по одной дороге и не свертывая в сторону. У меня могли быть ошибки, слабости, безобразия, как у большинства людей, но в главном я никогда не осквернила себя отступничеством».

На этом пока остановимся. Нам еще придется говорить о превратностях ее литературной и жизненной судьбы, следить за извивами ее сложного и трудного характера — трудного для нее самой и для тех, кто с нею близко соприкасался. Но она не нуждается в снисхождении! Не будем ее ни порицать, ни оправдывать. Примем ее такой, какой она была в действительности — во всем величии Творческих свершений и со всеми человеческими слабостями.

КОЛОВОРОТ

Кратковременный роман с Кулишом был первой большой ошибкой в ее жизни. Позволив себя увлечь, она не подумала, к каким это может привести катастрофическим последствиям, а когда опомнилась, было уже поздно: Кулиш ушел от жены, нескромно афишировал свои интимные отношения с писательницей, предъявлял ультимативные требования, бесновался, неистовствовал, грозил покончить самоубийством. В конце концов она только бросила искру, а костер разгорелся помимо ее воли. В сложившейся ситуации люди, даже не очень близкие к Марии Александровне, осуждали этого далеко уже немолодого человека, отравлявшего ей жизнь своими настойчивыми домогательствами.

Вот отрывок из письма Григория Галагана от 10 апреля 1859 года: «Кулиш сделался совершенно невыносимым. Характер до такой степени самонадеянный, желчный, завистливый, что со всеми перессорился и Марку Вовчку так надоедает, что она готова бежать от него. Свою жену Кулиш бросил, и она, бедная, очень жалка. Все берут в ней большое участие, и я хочу ее навестить. Шевченко говорит, что он ожидает от Кулиша, что он с ума сойдет».

Шевченко был недалек от истины. Сама Марко Вовчок, пытаясь на склоне лет обелить память Кулиша, объясняла его недостойное поведение «задатками будущего психоза», впоследствии «обратившего его, не знавшего счастья народолюбца, в несчастного автора «Хуторских недогарків» — реакционной книги, написанной в состоянии маразма.

Конечно, в то время до этого было далеко. В глазах молодой женщины не выдержали проверки его человеческие качества, но авторитет литератора и собирателя украинских литературных сил был еще достаточно высок. Положение создавалось очень трудное. Пылкие объяснения и пламенные письма Кулиша, тяжелая меланхолия Афанасия, соблезнования друзей, косые взгляды знакомых, слухи, толки, пересуды, как всегда в таких случаях опережающие события, нервное напряжение, недомогание, усталость — все это омрачило последние недели пребывания Марко Вовчка в Петербурге.

Якорем спасения была рекомендация известного столичного медика Шипулинского полечиться за границей на водах. Деньги, полученные от Кожанчикова, — первый в жизни крупный гонорар, давали такую возможность. Шевченко вместе с Афанасием настойчиво отговаривали ее

от поездки, но решение было принято, а от принятых решений она никогда не отступала.

Разочарованный Кулиш тоже почел за благо покинуть Петербург и сообщил о своем намерении в патетическом прощальном письме, которое как нельзя лучше раскрывает его безудержное фразерство и беспредельный эгоизм: «Вы действительно любили меня в слабой степени. Склонить Вас на что-нибудь для Вас полезное я не надеюсь более, а увлечь Вас к тому, что, собственно, мне нужно, не могу да и не хочу. Давая слишком много, я не хочу получать слишком мало. В Вашей душе холод, едва допускающий и такое сближение между нами, которое существует. Довольно мне терзаться безумным увлечением к женщине, не способной любить горячо! Я уезжаю в Малороссию так скоро, как только позволит Народное Чтение. Сегодня делаю над собою опыт самообладания. Надобно отвыкать от Вас Завтра приду раза два накоротке, и так до самого отъезда — единственно для того, чтобы не пустить в ход истории о внезапном разрыве Надеюсь, что время и новая жизнь при отсутствии Вас самих помогут мне поумнеть».

Не тут-то было! Узнав, что ее заграничная поездка — дело решенное, Кулиш воспылал новыми надеждами Но она вовсе не собиралась связывать с ним свою судьбу и еще раз дала это недвусмысленно понять. И тогда он спешно отбыл за границу, вымолив у нее обещание встретиться в Берлине. Оттуда он засыпал Каменецкого истерическими телеграммами и письмами, в которых с бесстыдной откровенностью анализировал свои чувства, жаловался на злую судьбу, отдавал последние распоряжения («И умирая, люблю эту женщину...»), говорил о ее «вечно загадочном душевном состоянии», требовал вступить с Марией Александровной в переговоры и постараться убедить, что только с ним, Кулишом, она будет счастлива. Каменецкий ответил убийственно лаконичной телеграммой: «N'esperez rien» — «Не надейтесь ни на что».

После этого Кулиш тотчас же отказался от первоначального намерения провести за границей не меньше года: вернулся в Россию, примирился с женой и отправился с ней по Волге на Кавказ. Но его обида и ее ревность не только не улеглись с годами, а разгорались все больше и больше. Супружеская чета Кулишей — первоисточник оговоров и наветов, преследовавших писательницу и при жизни и после смерти.

...Сложный узел противоречий предстояло разрубить Тургеневу. Он вернулся в Петербург 24 апреля и через несколько дней должен был выехать в Париж. Его предложение сопроводить Марию Александровну до Дрездена и представить близкому другу семьи Герцена, г-же Рейхель, было принято без колебаний Молодая писательница жаждала новых

впечатлений. Поездка за границу, помимо лечения, привлекала возможностью расширить кругозор — познакомиться с западноевропейским бытом и общественной жизнью. Задерживаться Тургенев не мог, а терять такого спутника не хотелось, тем более что его протекция обещала встречи с интереснейшими людьми, быть может, если посчастливится, и с самим Герценом.

Места в дилижансе были уже заказаны, а заграничный паспорт Афанасий мог получить в лучшем случае через две-три недели. Мария Александровна покидала его с тяжелым чувством, утешая себя лишь тем, что успеет пока осмотреться и устроиться с Богданом на новом месте. «Вы себе и вообразить не можете, как мне грустно и тяжело, хотя есть у меня надежда, что Афанасий приедет в июне ко мне, но все неверно на земле», — писала она Каменецкому за несколько часов до отъезда.

Афанасий Васильевич с 27 марта был причислен к министерству народного просвещения, разумеется, без должности и оклада. После всего случившегося он чувствовал себя на распутье, не зная, что предпринять — искать ли службу в Петербурге или вернуться на Украину. Исчезновение Кулиша вывело его из смятения. Семейный мир восстановился, и теперь Афанасию ничего не оставалось, как последовать за женой в Дрезден, хотя он по-прежнему считал ее поездку зряшной затеей.

Предполагалось, что они проведут за границей не более трех-четырех месяцев. Поэтому взяли с собой только самое необходимое, а все остальные вещи отдали на хранение Каменецкому. Мотре сняли угол и решили ее не увольнять. Марии Александровне и в голову не приходило, что она рассталась с ней навсегда. «Прошу Вас, скажите сами Мотре, что жалованье ее не прекратится, хотя она и послужит месяца три у кого-нибудь, а я все так же ей буду платить 2 рубля в месяц, как уговорились. Пусть не плачет, не беспокоится, приеду — я опять ее возьму к себе», — писала она из Дрездена Каменецкому.

Афанасий тосковал в одиночестве, почти не выходил из дому, превратившись, по словам М. Симонова, в «диванно-халатное существо». Стоило с кем-нибудь встретиться, он твердил, не дожидаясь расспросов: «Говорят-де, что жена его оставила, но это сущий вздор». Она зовет его за границу, только он не знает «чи э в кузні гроші». День получения заграничного паспорта был для него воскресением из мертвых.

...Мария Александровна выехала из Петербурга в ночь с 29 на 30 апреля. Путь через Ковно и Кенигсберг, где нужно было пересесть в поезд на Берлин, занял почти четверо суток. На станции Кресты — возле Пскова — пришлось задержаться на несколько часов в ожидании сменной кареты,

а ночевать — в грязной харчевне, где ничего не было, кроме деревянных скамеек и клопов. Как только пересекли границу, началась ровная мощеная дорога; любая почтовая станция удивляла чистотой и благоустроенностью, как и весь окружающий пейзаж с аккуратными немецкими домиками и ветряными мельницами. Вместе с тем возникло странное ощущение, что из жизни выпало двенадцать дней. С непривычки нелегко было приспособиться к новому календарю.

Тургенев, со свойственной ему точностью, нередко помечал письма с Запада обеими датами, а Марко Вовчок предпочитала вовсе обходиться без дат, ставя в тупик своих корреспондентов и... будущих биографов, которым стоит больших усилий разбираться в хронологии ее писем.

О совместном путешествии Тургенев вспоминал со смешанным чувством удовольствия и досады. Насколько приятно было ему общество Марии Александровны, настолько же докучал Богдан. В июле 1859 года он писал ей из Куртавнеля: «...я должен сказать, что с великим удовольствием примусь за продолжение тех длинных, длинных и хороших разговоров, которые происходили между нами в течение нашего путешествия. Особенно остался у меня в памяти один разговор в маленькой карете, между Ковном и границей, в тихую и теплую весеннюю ночь. Я не помню, о чем, собственно, мы толковали, но поэтическое ощущение сохранилось у меня в душе от этой ночи. Я знаю, что это путешествие нас сблизило — и очень этому рад».

Что же до Богдана, то, по словам П. В. Анненкова, Иван Сергеевич «с уморительным юмором рассказывал потом, как резвый мальчик сидел у него всю дорогу на руках, на ногах и спал на шее», и долго еще вспоминал «его милые птичьи крики, когда он передразнивал русских ямщиков».

Итак, в середине мая 1859 года (по новому стилю) Марко Вовчок прибыла в Берлин, а оттуда через несколько дней выехала в Дрезден.

И тут в ее биографии начинается новый период.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

НА ЧУЖБИНЕ

ДРЕЗДЕН

Все так и вышло, как было задумано. С помощью г-жи Рейхель Мария Александровна сняла удобную квартиру, нашла для Богдасы няню, «очень ласковую и добрую немку-старушку», отдала его в немецкую школу и, не теряя времени, занялась своими делами.

Прогулки, экскурсии, осмотр достопримечательностей, лечение по советам Шипулинского, уроки немецкого языка, оперный театр, концерты, музыкальные вечера у Рейхелей, встречи с орловской подругой Софьей Карловной Рутцен и с приезжими из России — все это определяло программу действий, на несколько дней вперед. Но на первом плане, как всегда, была работа.

«Жить в Дрездене хорошо, тихо. Работа подвигается очень быстро. Здесь больше сделаешь за месяц, чем где-нибудь за два года», — писала она Шевченко вскоре после приезда и почти то же самое, но в несколько ином тоне, повторила в письме к Тургеневу в начале июля: «Работа моя идет скоро, да все что-то нехорошо очень. Надо, однако, посылать в Россию».

Первым делом она перевела на русский язык и отослала Кожанчикову свою «Ледащицу» — в надежде, что рассказ будет выпущен отдельной книжкой еще до того, как появится возможность опубликовать его в оригинале. Шевченко должен был узнать, принято ли это предложение. «С Кожанчиковым я виделся позавчера, — сообщил он в ответном письме, — и он мне ничего не сказал про «Ледащицу». И тут же предостерегал: «Серденько мое, не посылайте ничего этим книжникам, пока беда вас не заставит. Потому что они не видят, а носом чувят нашу нужду, а впрочем, поступайте, как сами знаете. Осенью у нас будет свой журнал под редакцией Белозерского и Макарова. Подождите немного. А покамест пусть вам бог помогает во всем добром».

Шевченко оказался прав. Кожанчиков не захотел выпустить «Ледащицу» отдельным изданием. Тем не менее рассказ не залежался. Редактор «Русского слова», поэт Я. П. Полонский, напечатал его в сентябрьской книге и вменил это себе в заслугу: «Кто познакомился с Маркой(И) Вовчком и упросил ее из Дрездена прислать повесть? — Полонский», — похвалялся он перед издателем журнала, графом-меценатом Кушелевым-Безбородко.

Вслед за тем «Русский вестник» подарил читателям «Игрушечку».

Тургенев готовил для «Отечественных записок» перевод «Институтки», а московский издатель Щепкин обещал поторопиться со сборником «Рассказов из русского народного быта». Предвиделись еще и перепечатки кое-каких рассказов.

Письмо Шевченко, а затем утешительные вести от Макарова и Белозерского, настойчиво хлопотавших о разрешении украинского журнала, позволяли надеяться и на быструю публикацию новых рассказов, составивших вторую книгу «Народних оповідань». Один за другим посылались они Белозерскому в оригинале и переводились параллельно на русский язык. Но прежде чем говорить о новых произведениях, мы должны выяснить, какими впечатлениями обогатилась писательница и как складывалась ее жизнь на чужбине.

В Дрездене было на что посмотреть! Кто бы ни описывал этот город на Эльбе, не уставал восхищаться его музеями, памятниками готической архитектуры, знаменитой картинной галереей, драматическим театром, где играли в то время известнейшие актеры Девриент и Дависон, дрезденским рынком с невероятным обилием фруктов и цветов, образцовой чистотой и порядком на улицах, сплошь усаженных чайными розами. «Немецкая Флоренция» славилась также первоклассным симфоническим оркестром, Высшей музыкальной школой и певческой капеллой, куда приезжали учиться исполнительскому мастерству музыканты и певцы чуть ли не со всего света. Помимо всего прочего, иностранцев привлекали в столицу Саксонии живописные окрестности и дешевая жизнь.

И вместе с тем нельзя было не заметить мещанского самодовольства и чопорности дрезденских обывателей. В 1859 году, когда Германия праздновала столетие Шиллера, это как-то особенно бросалось в глаза. Филистеры постарались низвести великого поэта до уровня своего «позитивного» сознания. «Хорошо, что великие люди Германии умерли и не могут сами присутствовать на собственных юбилеях», — иронизировал Герцен.

О шиллеровских торжествах Марко Вовчок не упоминает, но в письмах к Тургеневу встречаются меткие наблюдения и психологические зарисовки.

Учитель немецкого языка, «словоохотливый старичок», получавший от Марии Александровны и С. К. Рутцен пять зильбергрошей за урок, «доказывает и высчитывает нам на всех пяти пальцах преимущества Германии и достоинства перед всеми другими странами, а главное, она [Германия] ни в чем на свете не сомневается и решает все свободно и покойно очень».

А вот несколько наивный отзыв о немецкой опере: «Я была два раза в Академии пения, была в католической церкви и была в театре, когда играли «Фрейшиц»^{21} — если б опять давали его, я опять бы пошла, хотя все немцы и немки все руку прикладывают к груди и покачивают головою и все одинаково выступают. Со мной была книжечка, и я все понимала».

Из переписки с Тургеневым видно, что он и на расстоянии оставался ее добрым наставником. «Вы читаете, гуляете, учитесь — и, вероятно, работаете — все это очень хорошо и похвально», — писал он 21 июня из Виши и почти каждое письмо сопровождал советами: «Надобно теперь сильно налечь на немецкий язык». «Вы еще не посещали Саксонской Швейцарии? Обходите-ка ее пешком с Афанасием Васильевичем, — Вы, говорят, мастерица ходить». «Читайте, читайте Пушкина: это самая полезная, самая здоровая пища для нашего брата, литератора; когда мы свидимся, мы вместе будем читать его». И спустя несколько месяцев, попросив поклониться от него Дрезденской Мадонне^{22}, не забыл напомнить: «Читайте Гете, Гомера и Шекспира — это лучше всего. Вы же теперь, должно быть, одолели немецкий язык».

В то время знание немецкого языка давало ключ ко всей мировой классике. Говоря о Гомере и Шекспире, Тургенев имел в виду превосходные переводы «Илиады» и «Одиссеи», выполненные Фоссом, и талантливые шекспировские переложения Людвиг Тика и Вильгельма Шлегеля. Что касается Гете, то «Фауст» был одной из любимых книг писательницы, которую она предпочитала всем его произведениям.

Письма Тургенева овеяны грустью. Он жалуется на неустроенность и одиночество, несмотря на близость к семье Виардо. «Нет счастья вне семьи и вне родины; каждый сиди на своем гнезде и пускай корни в родную землю. Что лепиться к краешку чужого гнезда?» А Мария Александровна еще раньше говорила ему о своей неудовлетворенности и делилась своими сомнениями. В ответных письмах угадываются не только чувства стареющего писателя, но и настроения его корреспондентки. «Молодость — действительно прекрасная вещь. Вы это должны по себе знать — Вы молоды. Самая Ваша тоска, Ваша задумчивость, Ваша скука — молоды. Мы, например, с Вами во многом сходимся: одна только беда: Вы молоды — а я стар. Вы еще вносите новые суммы — а я уже подвожу итоги. Я не жалею на это: всему свой черед; «Благословен и тьмы приход!» — я все это только к тому сказал, что мне весело думать, что Вам еще много остается впереди; дай бог, чтобы Вы вполне воспользовались собственной жизнью! Не многим это удается».

Марко Вовчок прислушивалась к советам Тургенева. За два месяца, проведенные в Дрездене, она обошла и объездила значительную часть так называемой Саксонской Швейцарии, поднималась с Афанасием на Бастей, побывала в Ротене, Таранте. Много и жадно читала. Пушкина она любила с детства, а теперь восприняла по-новому: «...всякий раз, как читаю, вижу, что прежде много пропускала».

Благодаря М. К. Рейхель писательнице стали доступны издания Вольной русской типографии в Лондоне, приобщившие ее к интересам революционной эмиграции и злободневным политическим дискуссиям. Она внимательно следила за «Колоколом» и «Полярной звездой»; читала «Записки княгини Е. Р. Дашковой», снабженные памфлетным предисловием Герцена, в котором русское самодержавие приравнивается к военной деспотии, искони чуждой потребностям народа; увлекалась «Прерванными рассказами» Искандера^[13].

Мария Каспаровна Рейхель, урожденная Эрн, была воспитательницей детей Герцена и вместе с его семьей выехала за границу, где вышла замуж за Адольфа Рейхеля, музыкального педагога и композитора, будущего директора Дрезденской музыкальной школы. Вот почему Герцен и Огарев избрали Дрезден главным опорным пунктом в связях с Россией. М. К. Рейхель служила им посредницей в распространении лондонских изданий.

Тургенев свел Марию Александровну не только с Рейхелями, но и с супружеской четой Станкевичей. Завязавшееся знакомство возобновилось в Киссингене и Остенде, где писательница снова с ними встретилась, а затем поддерживала переписку. Александр Владимирович и Елена Константиновна с большой симпатией относились к Шевченко, который посещал их в Москве, и с давних пор были в приятельских отношениях с Тургеневым и Герценом — друзьями рано умершего литератора сороковых годов Николая Станкевича. А. В. Станкевич, опубликовавший письма своего покойного брата и выпустивший впоследствии книгу о жизни и трудах Грановского, был профессором Московского университета по кафедре политической экономии. Научные занятия все дальше уводили его от несостоявшегося литературного призвания, но он хранил верность духовным привязанностям юных лет и с этой точки зрения представлял для Марко Вовчка интереснейшего собеседника. Живые и остроумные письма к Станкевичам относятся к лучшим образцам ее эпистолярного творчества.

Тогда же писательница познакомилась с видным либеральным деятелем, профессором К. Д. Кавелиным и с издателем детского журнала «Подснежник» Владимиром Майковым, сопровождавшим И. А. Гончарова в его заграничной поездке. Кавелин отозвался о ней восторженно: «М. А.

— ребенок сердцем и душой... Я мало встречал таких симпатичных, как она, дышащих такой правдой, такой сердечной чистотой» (из письма к Е. К. Станкевич). Мимолетное знакомство с Гончаровым тут же и оборвалось, а Майков, как мы знаем, вскоре напечатал в своем журнале «Подснежник» рассказ Марко Вовчка «Сестра».

После предварительного курса лечения следовало поехать на воды, а потом на морские купания. Из нескольких рекомендованных курортов она выбрала Швальбах, а для морских купаний — Остенде, чтобы сократить путь до Лондона.

Герцен ждал ее с нетерпением.

В июне 1859 года Марко Вовчок спрашивала Тургенева: «Скажите мне что-нибудь о нем, ведь Вы, верно, его увидите в Лондоне». И прочла в ответном письме: «Я ездил в Лондон, пробыл там неделю — и каждый раз видел Герцена: он бодр и крепок — внутренняя грусть меньше его точит, чем прежде: теперь у него есть деятельность. Натура могучая, шумная — и славная».

Тогда же Тургенев вручил ему только что выпущенные Кожанчиковым «Украинские народные рассказы», которые произвели на Герцена сильное впечатление. Он загорелся мыслью познакомиться с молодой писательницей и прислал ей приглашение через Рейхель: «Рассказы эти превосходны — я автора жду с нетерпением» и спустя две недели, 29 июня, напомнил: «Марко Вовчок жажду видеть, ее книга такая бесподобная вещь, что я не только себе, но вслух читал Тате^[14] и даже советовал переводить на английское».

Нечего и говорить, что приглашение в Лондон полностью отвечало желанию Марии Александровны совершить по примеру многих соотечественников паломничество к издателю «Колокола». Имя Герцена было тогда у всех на устах.

«Мне хотелось бы побывать в Лондоне, да еще не знаю, как это устроится», — писала она 18 июля Тургеневу.

Все устроилось наилучшим образом. После месячного пребывания в Швальбахе, кратковременной поездки в Киссинген и нескольких дней, проведенных в Ахене, где состоялась условленная встреча с Н. Я. Макаровым, Марковичи отправились в Остенде — один из лучших морских курортов на фламандском побережье Бельгии.

22 августа Станкевич писал Кавелину из Остенде: «Здесь Марковичи. Они завтра едут в Лондон в 6 часов вечера. Если думаете, что книга и письмо ваше еще застанут их здесь, то присылайте то и другое к m-me Маркович».

23 августа она извещала Тургенева: «Сегодня мы едем в Англию», а Герцен, получив от нее «доброе, милое письмо», поспешил из Вентнора — на острове Уайте — в Лондон и в течение двух дней ожидал в своем доме гостью, пока, наконец, она не явилась вместе с мужем и сыном вечером 24 августа.

ЛОНДОН — ОСТЕНДЕ — БРЮССЕЛЬ

Единственное мемуарное свидетельство о визите Марковичей в Лондон принадлежит Н. А. Тучковой-Огаревой. Вот выдержка из ее воспоминаний:

«Переписываясь довольно часто с Александром Ивановичем, Тургенев прислал ему однажды малороссийские повести Марка Вовчка, которые привели Герцена в неопишуемый восторг. Иван Сергеевич писал, что автор этих рассказов, г-жа Маркевич, — очень милая, простая, некрасивая особа и что она намерена скоро быть в Лондоне.

Действительно, г-жа Маркевич не замедлила явиться в Лондон с мужем и маленьким сыном. Г-н Маркевич казался нежным, даже сентиментальным, чувствительным малороссом; она, напротив, была умная, бойкая, резкая, на вид холодная...

...Она рассказывала Герцену, что вышла замуж шестнадцати лет, без любви, только по желанию независимости. Действительно, Тургенев был прав, она была некрасива, но ее серые, большие глаза были недурны, в них светились ум и малороссийский юмор, вдобавок она была стройна и умела одеваться со вкусом. Маркевичи провели только несколько дней в Лондоне и отправились на континент, где я их впоследствии встретила, кажется, в Гейдельберге».

В приведенном отрывке обращает на себя внимание плохо скрытый недоброжелательный тон. Вполне возможно, что именно эти мемуары, изданные отдельной книгой в 1903 году, побудили писательницу поворошить собственные воспоминания почти полувековой давности и рассказать в очередном письме к Богдану (от 20 декабря 1906 г.) о семейной драме Герцена и его отношениях с Огаревой.

«Он желал, т. е. Герцен, знать, как найду я подробную запись об этом времени и печатать ли ее. Не знаю, может после его смерти все это напечатано, хоть и сомневаюсь. Жена Герцена года через два умерла», — заключает Марко Вовчок довольно подробное изложение обстоятельств его семейной драмы. И далее пишет: «После ее смерти вскоре приехали к Герцену Огаревы. Затем он, Герцен, сошелся с Огаревой, которую действительно Тургенев метко называл «шпиговальной иглою», и был, говорят, очень злополучен этим союзом...Огарева ревновала его как тигр, всеми средствами истязала его — ревновала не только к женщинам, но и к детям, к приятелям, к тетрадам и проч. проч. проч.».

Герцен сам рассказывал ей о своих житейских невзгодах и читал сокровенные страницы «Былого и дум», дожидаясь случая познакомиться полностью с «Рассказом о семейной драме». Последний раз он напомнил об этом в июле 1860 года: «Я жду вашего искреннего суда, честного, — вы — как женщина — должны сказать, если что вас шокирует. Я верю в ваше сердце. А для меня эти главы не шутка». Кроме Ог[аревы]х и С[атина], я никому не читал всего»^{23}.

Революция 1905 года сняла запрет с имени Герцена. После долгих колебаний Марко Вовчок решилась опубликовать его письма. «Я напрасно писала, что они не интересны: хотя он пишет больше о незначущих вещах — ценности моих рассказов и т. п. — но имеется много черточек, кот[орые] стоит, и очень, сохранить», — заявила она сыну, не забыв вместе с тем и предупредить его: «Посылаю письма и портрет Герцена. Распорядись ими по усмотрению, только елико возможно менее выставляй изв[естную] пис[ательницу] М[арко] В[овчок], что я всегда, вечно ненавижу».

Перенесемся, однако, в Лондон 1859 года.

Герцен, как и ожидал, нашел единомышленницу, готовую послужить — и не только своим творчеством — освобождению поработенного народа. Он рассказал Марии Александровне, какие серьезные трения вызывает в дворцовых кругах подготовка реформы, как обострилась в России политическая ситуация. Поделился своими мыслями по поводу итальянского освободительного движения и событий западноевропейской общественной жизни. Этот удивительный человек располагал самыми свежими сведениями, которые поступали к нему какими-то загадочными путями из первых рук.

Долгие доверительные разговоры с Герценом и Огаревым, их более чем благосклонные отзывы о «Народных рассказах», их рассуждения о верном направлении таланта, определяющем истинные победы художника, — все это должно было окрылить молодую писательницу, помочь ей многое переосмыслить и понять по-новому. Но сама она, по-видимому из предосторожности, не оставила никаких признаний. Улавливаются только намеки в коротеньком письмеце к Тургеневу, отправленном 28 августа из Остенде — сразу же по возвращении из Лондона: «Теперь вы знаете мой адрес, если вздумаете — напишите, а я больше сегодня не буду: меня разные мысли одолевают. Много говорить, да нечего слушать вам».

Зато Герцен мог позволить себе высказываться без утаек: «Марко Вовчок была у нас в Лондоне, — сообщал он М. К. Рейхель на другой день после отъезда Марковичей, — я ею очень доволен, она займет славное место в нашей литературе — ей надобно расширить рамки и захватить

побольше элементов. Это и сделано в «Игрушечке», но характер барышни не жив, сжат, и видно, что сделан на заданную тему».

«Игрушечку» она читала Герцену в рукописи. Позже, когда повесть была напечатана, он с удовлетворением отметил, что Марко Вовчок посчиталась с его критическими замечаниями: «Перечитал я вашу «Игрушечку» — превосходная вещь, вы ее исправили — и, кроме двух-трех безделиц да вдвое <меньше> малороссийских слов, это был бы брильянт чистейшей воды. Я читал ее вслух — и на всех она сделала то же впечатление, как на меня».

О поездке Марко Вовчка в Лондон скоро стало известно всем русским литераторам. Почта подгоняла стоустую молву. В. П. Боткин, проводивший время на острове Уайт, поспешил сообщить об этом Н. Я. Макарову в Ахен и И. С. Тургеневу в Куртавель: «Я получил известие, что г-жа Маркович находится теперь в Лондоне и что ее нашли прекраснейшей женщиной»; «Маркович (г-жа) в Лондоне видела Герцена и очень понравилась ему».

Между тем Герцен подумывал о перенесении Вольной русской типографии на континент. В конце сентября в сопровождении сына Александра он отправился позондировать почву в Брюссель. Вылазка была не безопасной, так как бельгийские власти легко могли его задержать и выдать царскому правительству. К счастью, этого не случилось, но бельгийский министр юстиции даже не счел нужным ответить на его официальный запрос. Убедившись, что его считают нежелательной персоной, Герцен вернулся в Англию.

30 сентября, когда он проезжал через Остенде, состоялась новая встреча с Марко Вовчком, закрепившая их дружеские отношения.

Об этом свидании он упоминает в нескольких письмах. Одно из них — к Рейхель: «Так-то-с, так-то-с — матушка Мария Каспаровна. Возьму, думаю, и съезжу — не удастся, посадят на съезжую — была не была — и вот я приезжаю с Сашей в Остенд — Мар[ия] Алекс[андровна] была очень рада, а я ведь это принимаю за большое счастье, когда есть люди, радующиеся при встрече, и потому провел с ней прекрасно время — она привезет вам «Под суд», «Думы» и «Колок[ол]».

Закончив лечение на морском курорте, Мария Александровна уговорила Афанасия пожить еще месяца два в Дрездене и дожждаться там денег из России, чтобы к зиме вернуться в Петербург. Все уже было готово к отъезду, когда Герцен известил о своем скором прибытии и затем, после встречи в Остенде, пригласил Марковичей в Брюссель. Не мешкая, он прислал оттуда письмо, решившее эту непредусмотренную поездку: «Напишите, когда вы едете, или просто приезжайте...Теперь, Мария

Александровна, позвольте вас искренне поблагодарить за вчерашний прием, за то, что вы обрадовались нам, — вы много знаете меня а *livre ouvert*, но не знаете а *soeur ouvert*^[15]...Жаль, что вы едете, я многое еще показал бы вам из рукописей — но оставим до будущего года....Пожмите руку вашему супругу. Ему я страшно обязан за замечание о народном языке, я много думал об этом».

3 октября он уведомил Огарева: «Если Марковичи] приедут сюда — они задержат», а 6-го был уже в Лондоне. Значит, в Брюсселе они могли быть 4–5 октября. Сама же их поездка подтверждается колоритными строками из более позднего письма Герцена: «Скажите Богдану, что он хорошо делает, что помнит, что в Брюсселе солдаты — дураки, но чтоб он не забывал, что и во всех других странах — они такие же дураки».

Французскому историку Мишле Герцен сообщил о своем посещении в бельгийской столице двух знаменитостей — «святого старца Лелевеля и Прудона». А в одном из писем второго мужа писательницы к Богдану есть такая фраза: «При первой возможности М. пришлет о том, как Герцен водил ее к Лелевелю»^{24}.

Этот неизвестный факт стоит многого! Стало быть, зарубежные знакомства Марко Вовчка с польскими революционерами начались с самого Лелевеля — ветерана освободительной борьбы, лидера демократического крыла польской эмиграции.

Любимый учитель Мицкевича, активный участник революции 1830 года, Иоахим Лелевель доживал свой век, по словам видевшего его в Брюсселе П. В. Анненкова, «в почетной и крайней бедности». Хозяин какого-то захудалого кафе отвел ему каморку на антресолях, откуда «регулярно каждый вечер он сходил в кафе выпивать свою чашку кофе, причем расплачивался парой су, тщательно завернутых в бумажку».

Встреча с Лелевелем, должно быть, хорошо запомнилась Марии Александровне, если на старости лет она решила написать о ней сыну; но успела ли — неизвестно.

Марко Вовчок не просто сочувствовала деятельности Герцена, но и оказывала ему посильную помощь. Он охотно принял ее предложение пересылать для «Колокола» корреспонденции из России и выполнять любые поручения. И действительно, Герцен и Огарев отправляли на заграничные адреса писательницы новые издания лондонской типографии, свежие номера «Колокола» и приложения к ним, а она, в свою очередь, отсылала в Лондон обличительные материалы, полученные из России.

Как доверенное лицо Герцена, Марко Вовчок была в курсе его

издательско-пропагандистских дел. «Наши колокольные дела идут блестяще. Об этом при свидании», — информировал он ее в июле 1860 года, а в декабре писал Тургеневу: «Читал ли ты раскол[ьничий] сборник? Это чудо как интересно: У меня нет экз[емпляра], ты пока возьми у Мар[ии] Ал[ександровны]». Речь идет о первом выпуске «Сборника правительственных сведений о раскольниках», составленном в Лондоне по секретным Материалам. Можно не сомневаться, что она прочла этот сборник от корки до корки — и не только из чистой любознательности. Будущего автора повести «Дьяк» и романа «Записки причетника» живо интересовало все, что имело отношение к церковно-монастырскому быту и религиозным движениям на Руси.

Еще будучи в Остенде, Марко Вовчок писала в Лондон, не подозревая, что задержится за границей: «Нет ли у Вас поручений в Россию? Нет ли у Вас, Николай Платонович? Или у Натальи Алексеевны? Я их исполню верно. Получили ли Вы, Александр Иванович, мое письмо, где есть вести для «Колокола», присланные из Чернигова?»

К сожалению, мы располагаем лишь двумя письмами Марко Вовчка к Герцену, но упомянутая заметка «Из Чернигова», где говорится о притеснении крестьян помещицей Максимовой и предотвращении бунта с помощью батальона солдат, была напечатана в «Колоколе» 15 января 1860 года. Известно еще, что Герцен опубликовал полученные от Марии Александровны секретные протоколы одной из правительственных комиссий по составлению «Положения о крестьянах» и статью неустановленного лица о насильственной смерти Павла I — вопреки официальной версии, объяснявшей его смерть апоплексическим ударом. Такие статьи Герцен рассматривал как «любопытные материалы для уголовного следствия над петербургским периодом русской истории» и благодарил в предисловии к «Историческому Сборнику Вольной русской типографии в Лондоне» (книга вторая, 1861) людей, помогающих ему обличать канцелярские тайны Зимнего дворца.

Все эти материалы упоминаются в переписке, но можно сказать с уверенностью, что их было больше. Например, И. П. Дорошенко, приятель Марко Вовчка по Немирову, поведав в очередном письме с Украины о самодурстве и злоупотреблениях черниговской знати, прозрачно намекнул на связь писательницы с «Колоколом»: «Вот вам еще один случай, про который можно было бы и прозвонить».

Общение с Герценом — заметная веха в духовном созревании Марко Вовчка. Герцен раскрывал в своих письмах живую преемственную связь нового поколения русских революционеров с декабристами, давал глубокие

оценки международных событий и политических деятелей.

В его риторических вопросах к писательнице подразумевались или содержались ответы, наводившие ее на размышления.

«Читали ли вы прокламации Гарибальди? Как я угадал этого человека — назвав его в «Полярн[ой] З[езде]» античным героем, лицом из истории Корнелия Непота».

«Читали ли вы в «Атене» отрывки из записок И. И. Пущина? Что за гиганты были эти люди 14 декаб[ря] и что за талантливые натуры! Можно думать, что это писал юноша, а он вспоминает в 1858-м — о том, что было между 1812— 1824-м. Какой клад еще хранится под ключом, спрятанный от полиции». И в декабре 1859 года — снова о «людях четырнадцатого декабря»: «Здравствуйте, Мария Александровна. Собираюсь вас поздравить с новым десятилетием — да еще в какой день — 14 декабря! С тринадцатилетнего возраста — я святил этот день — нашего нравственного рождества. 35 год наступает с тех пор!»

Давняя ненависть писательницы к произволу выражала здоровые чувства человека, судившего об окружающем мире с точки зрения самого народа. Теперь, под влиянием Герцена, пришло понимание исторической обреченности феодально-монархического строя.

Герцен и герценовские издания были политическим университетом Марко Вовчка: вооружали ее обличительными фактами, помогали осмыслить теоретически то, что прежде воспринималось эмоционально, формировали революционно-демократические убеждения.

ИЗБРАННИК

В Дрездене появились новые лица — Татьяна Петровна Пассек с двумя взрослыми сыновьями и племянником-подростком Ипполитом Пашковым. Встреча с этой семьей перевернула всю жизнь Марии Александровны и разрушила все ее планы.

Родственница Герцена и вдова его друга Вадима Пассека, умершего в 1842 году от скоротечной чахотки, Татьяна Петровна прославилась впоследствии своими воспоминаниями «Из дальних лет», дополняющими сюжетные линии «Былого и дум», где будущая мемуаристка фигурирует под именем «корчевской кухни». После долгого перерыва она возобновила с Герценом переписку и затем встречалась в Париже и Лондоне. Но прежней дружбы быть уже не могло. Единственно, что их теперь связывало, — память прошлого.

Едва познакомившись с ней, Марко Вовчок сообщила Герцену:

«У нас была Т. П. Она еще и сама не знает, когда попадет к Вам. Ее выпускали два месяца из Петербурга — и намекали, и просили, и просто приказывали, чтоб она с Вами не видалась, — видно, Вас очень боятся, и здесь, и везде за нею следят. Будете ей писать — пишите на мое имя: Dohnaische Gasse № 8 или poste restante...Она до сих пор корчевская кухня. Сколько живости в ней и жизни сколько. Как она говорит — я слушаю, смотрю да думаю об ее харьковском житье».

В молодые годы она бедствовала с Вадимом в Харькове, куда его пригласили в университет на кафедру истории, но, как участника герценовского кружка, лишили права преподавания. Об этом эпизоде из первой части «Былого и дум» и упоминает Марко Вовчок.

Герцен дополнил характеристику своей старой приятельницы:

«Итак, вы познакомились с Т. П. — она еще ко мне пишет «Милый Саша», как в 1842 году, и поминает в своем письме о давно-давно прошедших людях и событиях. По ее письму я вижу, что она жива, она принадлежит к тому выносливому тягучему кряжу, который заменили николаевскими юродивыми, с рождения испуганными нервными чудаками — оттого она и осталась не старою в 53 года».

Поводом для заграничного путешествия Татьяны Петровны послужила длительная командировка ее старшего сына Александра Вадимовича, молодого юриста с блестящими задатками, посланного после окончания Московского университета собирать материалы для проекта нового

тюремного уложения. Протежировал ему влиятельный дипломат, князь Н. А. Орлов, знакомый семье Пассеков.

Поставив на очередь преобразование тюрем и модернизацию системы наказаний, министерство внутренних дел на протяжении 60-х годов занималось изучением вопроса. Сама же реформа тюремного режима так и не состоялась. И даже закон об отмене телесных наказаний, принятый в 1863 году, сохраняя «для непривилегированных» розги.

А. В. Пассек должен был обследовать тюремно-исправительные заведения Германии, Швейцарии и Франции, чтобы представить в дальнейшем свои выводы министерству. Работа была рассчитана на несколько лет. Пассек взялся за нее с энтузиазмом, полагая, что его рекомендации будут учтены при выработке нового уложения. Прежде чем приступить к систематическому осмотру тюремных заведений и колоний малолетних правонарушителей, он решил прослушать в Гейдельберге курс лекций известного правоведа Миттермейера.

О характере и настроениях молодого Пассека мы можем судить со слов Татьяны Петровны, рассказавшей в письме из Гейдельберга своей приятельнице О. А. Новиковой, какое его постигло разочарование после осмотра саксонских тюрем: «А наказания-то и здесь есть, да еще и тяжелые. Смотря на все, кажется, что-то да не так. Как будто в развитии человечества машина соскочила с нормального пути, да и не попадет на него. От многого сердце щемит. Вот, например, как исправляться, сидя на цепи с бревном под рукой? (В Саксонии этот род наказания прилагается более к прекрасному полу.) Хорошо, что дети отдельно и их учат. Саша весь взволнованный возвращается из этих поездок. Молод, мягок! Дай бог, чтоб он когда-нибудь мог быть полезен соотечественникам несчастным»^[25].

Упреждая события, отметим любопытный факт: цикл очерков Марко Вовчка «Отрывки писем из Парижа» соприкасается тематически с направлением деятельности Пассека.

Он был моложе Марии Александровны почти на четыре года. Она была в зените славы, а он только начинал свой путь.

С. первых же дней знакомства они полюбили друг друга, и эта любовь, самая большая в ее жизни, не угасала до безвременной кончины Пассека.

По тону его пылких писем из Франкфурта и Гейдельберга — от 23 и 27 октября — легко заключить, что все уже было оговорено в Дрездене.

Плыть с Афанасием дальше в одном челне она больше не могла. Сглаживать противоречия становилось все труднее. За границей с особой остротой выявилось несходство натур и различие интересов. Она —

впечатлительная, любознательная, охваченная жаждой все увидеть и все познать, легко срывающаяся с места и готовая мчаться хоть на край света, и он — инертный, угрюмый, раздражительный, подавленный своими неудачами, скованный религиозными чувствами, тоскующий от безделья и чуждого ему окружения...

Нельзя забывать и об идейных разногласиях. Подруга писательницы Юлия Ешевская свидетельствует в своих воспоминаниях, какие разгорались споры, когда Афанасий доказывал, что Марко Вовчок вообще не должна писать по-русски, а она возражала на это, что считает своим долгом вести борьбу с «неволей-рабством» всеми доступными ей средствами и потому не может ограничиться одним украинским языком. По справедливому замечанию Ю. Ешевской, «умственный кругозор Марии Александровны расширился со времени выхода в свет украинских рассказов» и «в искании идеалов она ушла дальше, чем думал Афанасий Васильевич. Быть может, в этом и была причина последовавшего разлада между ними».

Чтобы оттянуть окончательный разрыв, Афанасий старался не стеснять свободы Марии Александровны и не вмешивался в ее личную жизнь. Но время и обстоятельства только углубляли разверзшуюся между ними пропасть. Мучительная семейная жизнь тянулась еще почти целый год, и в конце концов они вынуждены были расстаться.

Пассек, поселившись в Гейдельберге, стал зазывать к себе Марию Александровну: «Приедете ли вы сюда, мой добрый друг; я все надеюсь. А как бы вам здесь было хорошо, покойно — и для вас, и для меня, и для Богдася: ему все средства многостороннего образования, вам — здоровый климат и, может быть, спокойствие духа. А что может быть лучше этого?! Устройте дела так, чтобы вам можно было сюда приехать. Как хорошо может сложиться наша жизнь здесь».

В этом послании есть еще любопытная приписка: «Если вас не затруднит, пришлите мне слова и голос двух малороссийских песен: вашей любимой и песню про Галю. Или нет — вы ведь сами приедете — и тогда сами скажете слова и споете мотив. Да?»

Да, она приехала к Пассеку и пела ему украинские песни — и в Гейдельберге, и в Лозанне, и в Риме, и в Париже.

Александр Вадимович вырос на Украине, чтит память своего отца, украинского историка и этнографа. Он с детства полюбил народные песни и понимал в них толк.

В одной из парижских тетрадей Марко Вовчка выписаны заглавия книг и статей Вадима Пассека, которые она читала вместе с его сыном во

Франции: «Путевые записки Вадима», «Курганы и городища в Харьковской губернии», «Киево-Печерская обитель», «Праздник Купало», «Веснянки», «Киев — Золотые ворота» и др.

Украинские симпатии Пассека сблизили их еще больше.

Из-за него она осталась за границей, потеряла лучших друзей, перенесла много невзгод. И пока они не осели в Париже, ее беспорядочные скитания по разным городам и странам почти всегда совпадали или перекрещивались с маршрутами Пассека, продолжавшего собирать материалы для пересмотра тюремного законодательства.

Огорченная Татьяна Петровна сделала все, чтобы разлучить любящих, возбудила против Марии Александровны общественное мнение, но, что бы ни думали и ни говорили окружающие, победил голос сердца, а не разума.

ГЕЙДЕЛЬБЕРГ

В середине ноября 1859 года Марковичи были уже в Гейдельберге и провели там всю зиму.

Этот старинный университетский город, приютившийся в горной лощине, на левом берегу Неккара, служил притягательным центром для русской учащейся молодежи. «Выбору Гейдельберга, — вспоминал В. И. Модестов, — способствовала дешевизна и блестящий состав преподавателей: физиолог Гельмгольц, химик Бунзен, физик Кирхгоф, историк Шлоссер, юристы Блунчли и Миттермейер». Под руководством лучших профессоров здесь проходили стажировку и молодые русские ученые. В то время в Гейдельберге вели экспериментальную работу Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов, А. П. Бородин; слушали лекции историк С. В. Ешевский, юрист П. Г. Редкин, киевский знакомый Марко Вовчка Сидоренко и еще один преподаватель из Киева — Демченко.

Любопытную характеристику города и приезжих из России оставил Бородин: «Гейдельберг очень миленький и чистенький городок, — писал он матери в ноябре 1859 года, — до того чистенький, что о калошах здесь нет и речи. По субботам неуклюжие немки моют не только тротуары, но и улицы. Местоположение города необыкновенно живописно: с одной стороны горы (на одной из них чудные развалины замка, обросшего плющом), с другой стороны — прекрасная река. Вид из моих окон бесподобный — прямо перед окнами начинается огромная гора — Kanzel с башнею на вершине. Русских здесь много; между ними даже две литераторши — Марко Вовчок и еще какая-то барыня, пописывающая статейки. Есть даже русские литературные вечера. Русские разделяются на две группы: ничего не делающие, т. е. аристократы Голицыны, Олсуфьевы и пр., и делающие что-нибудь, т. е. штудирующие; эти держатся все вместе и сходятся за обедами и по вечерам».

Позже, когда они стали соседями по пансиону Гофмана и попали в одну компанию, Бородин отозвался о писательнице совсем иначе: «Познакомился я еще с одною милою, премилою барыней — Маркович (Марко Вовчок) и m-me Пассек, сестрою Герцена».

Среди москвичей и петербуржцев Гофман был популярной личностью. В недавнем прошлом преподаватель древних языков в Московском университете, он читал теперь на правах приват-доцента сравнительную филологию, но слушателей у него было так мало (преподавателей

выбирали и оплачивали сами студенты), что по примеру многих немецких профессоров сдавал комнаты и содержал пансион. Предпочтение он оказывал русским постояльцам, а Марковичам симпатизировал больше, чем другим; когда у них не было денег, кормил в долг и даже выдавал на расходы.

В семейные анналы добропорядочных Гофманов вошел не один подвиг Богдана, не забывавшего после школы поучить уму-разуму младших отпрысков профессорской четы. Почти двадцать лет спустя, при вторичном посещении Гейдельберга, Бородин напомнил своей жене забавный эпизод, — как неугомонный «Богдася Марко-Вовчок» посадил в бадью с дождевой водой юного Генриха Гофмана.

Сам же Бородин, многообещающий химик и никому еще не известный композитор, тщательно скрывал свои серьезные занятия музыкой, удивляя знакомых умением играть на память, без нот, все, что от него требовали. Мария Александровна слушала с наслаждением его виртуозную игру в зале гофмановского пансиона и в доме Пассек, где собирались по вечерам русские ученые и литераторы.

В это время в Гейдельберг приехал со своей семьей недавно вышедший в отставку вице-президент Академии художеств Ф. П. Толстой. По словам его дочери Е. Ф. Юнге, около Татьяны Петровны «всегда образовывалась теплая родная атмосфера, веяло чем-то широко русским...». Молодежь затевала споры, которые «прерывались рассказами, анекдотами, воспоминаниями. А тут на столе Герцен, Пушкин; возьмет кто-нибудь и прочтет любимое место». Здесь всегда можно было найти последний номер «Колокола» и новинки Вольной русской типографии. О чем бы ни заходила речь — об университетских профессорах, о немецких студентах с их шумными пирушками и вечными дуэлями, о здешнем театре или концертах симфонического общества, разговор неизменно возвращался к русским делам, и снова разгорались споры.

Вспоминает об этих вечерах и И. М. Сеченов: «Т. П. Пассек нередко приглашала Дмитрия Ивановича Менделеева и меня к себе то на чай, то на русский пирог или на русские щи, и в ее семье мы всегда встречали г-жу Марко Вовчок, уже писательницу, которая была отрекомендована в глаза как таковая, а за глаза, как бедная женщина, страдающая от сурового нрава мужа. То ли она не обращала на нас никакого внимания и мы не доросли до понимания заключающихся в ней душевных сокровищ, но у меня по крайней мере не осталось в памяти никаких впечатлений от нее в этом направлении — ничего более, как белокурая, некрасивая, но очень молодая и довольно полная дама, без всяких признаков измученности на лице».

Сеченов, как и его приятельница Т. П. Пассек, не придавал серьезного значения творчеству Марко Вовчка и воспринимал ее с чисто внешней, бытовой стороны. В своих мемуарах он передал то, что слышал, вольно или невольно, примешав к этому более поздние наслоения — чувство досады, вызванное уходом Александра Пассека от матери, а Татьяна Петровна, еще не видевшая повода для ссоры, конечно, без злого умысла оказала писательнице дурную услугу. В глазах сердобольной москвички, жившей в Гейдельберге в семикомнатной квартире, с тремя слугами, Мария Александровна была «бедной женщиной» и в прямом и в переносном смысле: на свои грошовые заработки бедняжка содержала семью и должна была еще сносить попреки от мужа!..

Так вот и получалось, что невидимые тернии кололи ее даже в кругу дружески расположенных людей.

Жить в Гейдельберге и не учиться было просто невозможно. Уроки стоили дешево, и педагоги были отличные. Мария Александровна установила для себя твердое расписание: «Четыре раза в неделю у меня уроки английские, два раза итальянские, а немецкие три раза брать буду» (из письма к Н. Я. Макарову).

Овладев за границей несколькими языками, она одинаково успешно переводила потом с французского, английского, немецкого и польского; читала по-итальянски и по-чешски.

В свободное время занималась историей. Профессор Московского университета Ешевский — ее доброхотный наставник — добывал книги, учил отделять главное от второстепенного, разбираться в концепциях разных исторических школ. Историю Англии она проходила по Маколею, историю французской революции — по Тьеру. «Я работаю и читаю. Как хороша история Маколея — я тут начала читать ее и ничего больше не читаю. Я сама не думала, чтобы так меня чтение это увлекало. Что, я думала, мертво, то мне живо у Маколея», — писала она Станкевичам.

Вместе с Пассеком и новыми друзьями Ешевскими Мария Александровна выезжала осматривать Мангейм, Висбаден, Франкфурт и другие близлежащие города.

ИСКАНИЯ

На исходе зимы в Гейдельберге появился Иван Аксаков. Встретив на улице Афанасия, он с барским высокомерием известил домочадцев: «Марковича я нынче видел и принял меры против его частых набегов». Но не прошло и недели, как Аксаков сам стал наносить визиты в пансион Гофмана и уже в следующем письме заметно изменил тон: «Хотя Афанасий Васильевич Маркович человек очень скучный, но очень неглупый, а главное — при своих строгих нравственных понятиях очень тонко чувствующий».

Мария Александровна вопреки ожиданиям произвела на него благоприятное впечатление. «В ней много простоты в хорошем смысле; я думал, что Петербург ее сбил или собьет с толку, но этого не видать».

Славянофилу Аксакову больше всего импонировала самобытность искусства и с этой точки зрения лучшим произведением Марко Вовчка показался «Червонный король». Услышав его в чтении автора, Аксаков отметил, что повесть «противоречит всем внушениям, учениям, эстетическим теориям и советам, которые разом обрушились на ее бедную голову».

Но самую лестную оценку дал этой повести Герцен, назвав ее «гениальной вещью». «Ваш червонный туз (больше, чем король и козырный) — такая изящная прелесть, что я заочно поцеловал вашу руку», — писал он Марии Александровне.

Тургеневу же повесть вовсе не понравилась: «Она не додумана — точно Вы и тут спешите, и притом язык ее слишком небрежен и испещрен малороссиянизмами», — выговаривал он писательнице.

Поистине сколько голов, столько умов! Но то, что ее новое произведение пришлось по душе Аксакову и Герцену, людям противоположных взглядов, говорит о его эмоциональном воздействии и жизненности самого замысла^{26}.

История двух сестер — уездных барышень, удачливой и невезучей, раскрывается со слов крепостной служанки Гашки. Исходная ситуация — банальная из банальных, но само стечение обстоятельств снимает флер благополучия с бесцельно-бессмысленного житья-бытья. Простодушие и бесхитростный юмор рассказчицы создают безошибочный критерий, который и нужен автору, чтобы показать во всей неприглядности «идиотизм помещицкой жизни». Угол зрения и художественная манера те же, что в

«Рассказах из русского народного быта», но тема, которая вскоре получит дальнейшее развитие, — новая для Марко Вовчка.

В том же письме из Гейдельберга Аксаков передает содержание разговора с Марковичами: «Кулишом они оба очень недовольны и очень обрадовались его примирению с женой. Марья Александровна жаловалась на его деспотизм, с которым он считает себя вправе относиться ко всем малороссийским писателям и деятелям».

Об этом же сообщали ей из Петербурга Макаров и Белозерский. В «громаде» не прекращались распри и склоки, затруднявшие совместные действия. Пока Белозерский хлопотал о журнале, Кулиш затеял выпуск серии альманахов с меняющимися названиями: «Хата», «Левада», «Пасека», «Гумно». В конце февраля 1860 года как ни в чем не бывало он обратился к Марии Александровне: «После долгого молчания пишу к вам опять, как во времена оны — Немировские». Ставил ее в известность: «В *Хату* вошли и ваши *Чари*, на которые по прежнему, не отнятому у меня праву я набросил покров старинной легенды»; сообщал, что Каменецкий издает «Галерею портретов украинских писателей» и собранные деньги пустит на издание дешевых книг для народа. «Пришлите! Для доброго дела можно и вам, кажется мне, явить свое лицо миру с подписью вашей руки: Марко Вовчок. Пришлите! Не отказывайтесь!»

Публиковать свой портрет она не пожелала, но вместо этого предложила перепечатать «Народні оповідання» и половину выручки определить на издание дешевых книжек для крестьян. Кулишу это показалось неудобным. Зато Каменецкий, как только представилась возможность, начал печатать на свои скромные средства и отсылать на Украину пятикопеечные брошюры — «метелики» (мотыльки). Офени разносили их по деревням и продавали на сельских ярмарках. «Оповідання» Марко Вовчка впервые стали доходить до народа.

Когда хлопоты Белозерского все же увенчались успехом, Кулиш пытался настроить против него Марию Александровну: «Едва ли я дам ему хоть что-нибудь в журнал, потому что он хочет кормить читателей похлебкою неопределенного вкуса и, поместив ваши рассказы, ради их известности, вероятно, будет у Кочубеев говеть, у Галагана исповедоваться, а у Тарновского причащаться во отпущение греха своего».

Обвиняя шурина в угодничестве панам, Кулиш хотел вернуть если не расположение, то хотя бы доверие писательницы. Это была примитивная хитрость: она откажется сотрудничать в «Основе» и передаст ему свои новые вещи, без которых альманахи не стоило и выпускать.

В роли примирительницы, как это ни странно, выступила цензура.

Дабы не поощрять украинских деятелей и не плодить новых изданий, альманахи (кроме уже печатавшейся «Хаты») решено было запретить. И тогда Кулиш, резко изменив тактику, стал фактическим соредактором «Основы».

Предстояло еще устранить немало помех, прежде чем увидел свет — лишь в январе 1861 года — первый номер долгожданного журнала, объединившего вокруг себя литературные, научные и общественные силы Украины. При всех недостатках и слабостях, о которых достаточно много писали^[27], в целом это был прогрессивный орган печати, и его рождение накануне крестьянской реформы современники правильно расценили как вынужденную уступку царского правительства и как победу украинской интеллигенции. И хотя «Основа» существовала недолго — всего лишь два года, она проложила глубокую борозду, не поросшую травой забвения.

Еще задолго до выхода первой книги редакция извещала в рекламных объявлениях: «С особенным удовольствием упомянем, что украинский отдел словесности уже обеспечен у нас значительным запасом произведений любимых наших писателей — Марко Вовчка и Т. Гр. Шевченко». Участие великого поэта и крупнейшего прозаика повышало авторитет и общественное значение журнала.

Ожидали «Основу» не только на Украине. Обещанные редакцией новые творения Кобзаря и автора «Народних оповідань» подстрекали любопытство и русских читателей.

В конце 1860 году П. В. Анненков писал Тургеневу: «Я жду с нетерпением появления «Основы», чтоб прочесть много хороших вещей Марьи Александровны, о которых добрые слухи пробились уже в публику».

Кроме оставленного в Петербурге украинского оригинала «Институтки», то были рассказы и повести, написанные или завершённые за границей в 1859–1860 годах: «Ледащица», «Два сына», «Три доли», «Павло Чернокрыл», «Не под пару» — щедрый вклад молодой писательницы в молодую украинскую прозу.

В распоряжении Белозерского была еще повесть «Дьяк» (по-украински «Дяк») присланная из Парижа незадолго до закрытия журнала. (Куда делась эта рукопись, неизвестно. Украинская повесть под тем же заглавием, опубликованная в сборнике посмертных произведений Марко Вовчка, — вещь незаконченная, скомпонованная из черновых вариантов.)

«Институтке» тоже не посчастливилось. Со страниц «Основы» она перекочевала в закордонные (галицийские) издания, но упорно исключалась царской цензурой из всех украинских сборников и только в

1902 году попала в киевский двухтомник Марко Вовчка.

Из шести вещей Марко Вовчка, напечатанных в «Основе», «Институтка», «Ледащица» и «Два сына» заключают на высокой ноте цикл антикрепостнических произведений.

Украинское слово «ледащица» на русском языке не имеет однозначного эквивалента. Ближе всего по смыслу — дрянная лентяйка или ленивая негодница. Настя, наделенная этим обидным прозвищем, отказывается работать на пани и ни о чем другом, как о вольной жизни, и думать не может. «Да все мне, — говорит, — давняя воля мерещится. Что-то мне неспокойно: все чего-то ожидаю, сама не знаю чего... и мысли мои мешаются, и сон меня не берет; а засну — все вольные степи, все козаки с вольными сестрами, с вольными дочками снятся...»

Настя и ее мать — жертвы беззакония. Вдова крепостного слуги, козачка Чайчиха, могла бы вместе с дочерью получить свободу, но хитрая пани удерживает их в рабстве. Тоскующая девушка пускается во все тяжкие — спивается, пропадает по ночам, берет в любовники какого-то негодяя, посулившего ей написать бумагу и выхлопотать вольную, рожает и хоронит ребенка. Освобождение, доставшееся ценою позора, приходит слишком поздно: силы у Насти сломлены, сердце разбито. Покидает она панский двор, чтобы вольной лечь в могилу. По сравнению с предшественницами — крепостными женщинами и девушками из «Народных рассказов» — образ героини резко индивидуализирован, как и сама ситуация, определившая ее горькую судьбу.

Народно-поэтическая речевая манера полностью сохраняется и в рассказе «Два сына», но восходит он в отличие от «Ледащицы» к фольклорным первоисточкам. Сюжет навеян печальными рекрутскими песнями, близкими по своему складу к похоронным причитаниям. Наивная простота рассказа подчеркивается его неподдельным трагизмом. Горе несчастной вдовы, у которой солдатчина отняла обоих сыновей, передано без всякой аффектации, без нарочитого желания разжалобить.

В. Белозерский, получив от писательницы этот маленький шедевр, поспешил выразить охватившие его чувства: «Впечатление, которое сделал этот душевный плач заживо похороненной матери, на меня и на Надю, — мы никогда не забудем....В вашей матери я видел, словно живых, миллион матерей, которые рыдали предо мной — не слезами, а кровью собственного сердца. А Андрийко и Василько — что это за художественные типы! И что за язык у вас в этом рассказе! Только «Сестра» да «Чумак», да некоторые места «Институтки» произвели на меня подходящее впечатление» (письмо от 4 ноября 1859 г.).

О страданиях народа под гнетом крепостничества писательница сказала все, что видела, знала и думала. Добавлять к нарисованной картине новые оттенки накануне реформы не хотелось, а во что выльются обещанные преобразования, было еще неясно. В этот промежуточный период Марко Вовчок чувствовала себя на распутье. «Три доли», «Павло Чернокрыл», «Не под пару» в ее творческом развитии — вещи переходные и в некотором роде экспериментальные.

Утонченный психологизм, сложные душевные переживания, перенесение конфликтов в нравственно-этическую сферу, изображение любви как непреборимой фатальной силы — во всем этом, зная обстоятельства личной жизни писательницы, улавливаешь какие-то смутные биографические реминисценции и вместе с тем — скрытую полемику с дворянской салонной беллетристикой. Банальным адюльтерам светских дам, никчемным воздыханиям кисейных барышень, донжуанским подвигам столичных щеголей противопоставлены сильные страсти и глубокие чувства людей из народа, обладающих богатым внутренним миром, яркими и цельными характерами. Произведения Марко Вовчка и романы такого типа — два полюса тогдашней литературы.

Кулиш, ориентировавший украинских прозаиков на этнографические описания и фольклорную стилистику, оценил «Три доли» как «профанацию святых народных вкусов» и даже пытался воспрепятствовать опубликованию повести в «Основе». А между тем Чернышевский отметил эту вещь в своей статье «Новые периодические издания»:

«Мы не будем говорить ни о рассказе Марко Вовчка, ни о пьесах Шевченка: одних имен этих довольно, чтобы люди, читающие помалорусски, назвали первый номер «Основы» очень интересным».

Пройдут годы, и повесть «Три доли» привлечет внимание Ивана Франко. Взыскательный критик с восхищением отзовется о ее сладкозвучном, мелодичном языке и обнаружит в ней «очень большой психологический интерес». А отсюда недалеко и до современной научной оценки этой повести как первого в украинской литературе крупного психологического произведения.

Разные женские характеры раскрываются в испытаниях неразделенной любви. Гордая, своевольная Катря хоронит себя заживо в монастыре. Кроткая, тихая Маруся превращает свою жизнь в мучительный подвиг самопожертвования. Спокойная, рассудительная Хима грустит в одиночестве, утаивая от всех свои чувства. Но и сам Яков Чайченко, красавец козак, разбивший сердце трех подруг, не знает счастья. Слова песни, вложенной в его уста, объясняют его душевное состояние:

*Хоть яка ласкова, яка чорнобрива,
Та не буде така, як першая мила.*

Сюжет повести воспроизводит в реальной бытовой обстановке эту извечную коллизию. Осложняется же она тем, что «первая милая» (вероломная вдова-шинкарка) держит парубка на привязи и становится причиной всех несчастий; и если в песне поется об одной безнадежно влюбленной дивчине, то здесь их три, и в отличие от молодого козака, почти лишенного индивидуальных черт, все они обрисованы свежими, живыми красками.

Главная героиня повести «Три доли» — сама рассказчица — сирота Хима говорит о себе скупой и неохотной, личность ее всегда в тени. Но мало-помалу создается из отдельных штрихов законченный психологический портрет умудренной жизнью крестьянской женщины, умеющей выхватить из потока событий мимолетные впечатления, закрепить в слове едва уловимые оттенки мыслей и чувств. Хима не может не осуждать своих подруг — одну за слабохарактерность, другую за душевную черствость. Злополучие всех действующих лиц она воспринимает с высоты здорового нравственного сознания как естественный финал жизненной драмы, разыгравшейся на ее глазах в козацкой слободе Пятигорье.

Психологическая достоверность этого сложного образа нигде и ни в чем не нарушена. Но тяготение Марко Вовчка к более широкому охвату жизненных явлений вступает в противоречие с формой повествования от первого лица: сказовая речь начинает мешать эпическому развороту действий, изображению людей и событий с разных точек зрения. Сказовую речь вытесняет и вскоре окончательно вытеснит изложение от самого автора.

— Страдания Павло Чернокрыла и героя сходной по теме и настроению русской повести «Лихой человек» видятся уже не только со стороны. Слепая страсть Павло Чернокрыла к Варке, девушке из чужого села, исступленная любовь Петра и его ревность к прошлому Параши доводят того и другого до страшного преступления — убийства жены. В «Чернокрыле» это только зачин, а все дальнейшее — муки истерзанной совести и покаяние преступника перед «громадой». Заключительные страницы — волнение крестьян, требующих правосудия, и решение пана объявить Чернокрыла сумасшедшим, чтобы избежать судебной волокиты, — полны глубокого социального смысла. Нравственная идея повести определяется ее первоначальным названием: «Від себе не втечеш» («От себя не уйдешь»). В «Лихом человеке» убийство жены — развязка, подготовленная тревожным ожиданием рокового исхода: непримиримый

Петр, этот новоявленный деревенский Отелло, мучительно переживает трагедию обманутого доверия. Совершив злодеяние, он укротил бушующие в нем страсти и умер от тоски, не дойдя до каторги.

Повесть «Лихой человек» была написана почти одновременно с «Павло Чернокрылом», но увидела свет годом раньше — в первой книге «Русского вестника» за 1861 год... Позднее французский переводчик Морис д'Отрив напечатал «Лихого человека» в одном из парижских журналов под заглавием «Роковая любовь» с таким вступительным словом: «Оригинал этой новеллы подписан Марко Вовчком. Это имя — псевдоним, хорошо известный всему русскому обществу. По тонкости деталей французский читатель этого рассказа сможет обнаружить женское перо и в то же время здесь нельзя не увидеть жизненной правды, которая проявляется в изображении характера главного героя».

ЛОЗАННА

С первыми веяниями весны Пассеки выехали в Швейцарию. Недели две они провели в Берне, в обществе сына Герцена, студента-медика, жившего в семье профессора Фогта, а потом перебрались в Женеву. Марковичи, заняв у И. С. Аксакова 60 талеров в счет денег, ожидаемых от Н. Щепкина за «Рассказы из народного русского быта», в середине марта двинулись в Невшатель, расположенный неподалеку от Берна, а оттуда — в Лозанну.

«В Невшателе превосходно озеро; снеговые горы поднимаются на дальнем плане, как облака, а от берегов чернеют тихие лесистые холмы. Весь ландшафт спокойнее, и озеро веселее. Здесь [в Лозанне] тяжелее берега, угрюмее красота. Но мы как-то поскучили Невшателем и на последние два наполеондора перетащились в Лозанну, правда, квартиру нашли дешевле и лучше» (из письма А. В. Марковича к И. С. Аксакову от 21 марта 1860 года).

В Лозанне жили Станкевичи. Пассеку предстояло здесь обследовать тюрьму, устроенную по пенсильванской системе. Впрочем, если его и не было рядом, Мария Александровна могла встретиться с ним в любой день — швейцарские расстояния помехой не служили.

Афанасия удручало безденежье: «Через каждые семь дней на восьмой подают счет в отеле Ришемон (Richemont, № 21), где мы остановились с пятью франками в кармане. Сегодня пятница, а в среду подадут нам тот фатальный счет. Неужели полиция придет сундук с бельем запечатывать?» — жаловался он «благодетелю», умоляя ссудить еще 40 талеров из той суммы, которую Щепкин должен был перевести в Мюнхен на имя Аксакова.

Долгожданное спасение пришло на следующий день — в субботу 24 марта: «Сейчас получили посланные Вами в Невшатель 1171½ франка, ибо, выезжая из Невшателя, мы объявили на почте, что поедем в Лозанну. Благодарю Вас, добрейший Иван Сергеевич, за все Ваши одолжения, беспокойства, распоряжения... Да и Щепкин спасибо не зазевался... Теперь благодаря богу мы уже спокойны».

Но спокойствие было обманчивым. Тревога улеглась, а камень на душе остался. Афанасия Васильевича все выведало из равновесия.

Он сетовал на запоздалую весну: «Я уверен, что в Киеве теперь зелень. Если меня припорошит лавина, то поделом...» Ворчал на Богдана: «Дичает

и глупеет: просит фрак ему сделать, чтоб быть кельнером...» Печалился из-за жены: «Мне кажется, Маша страдает сомнениями в себе самой. Бедная, как мне ее жаль!» Уверял Аксакова, что его нравственная поддержка будет для нее не менее Целительна, чем горный воздух: «Напишите ей дружеское, доброе письмо: этим средством вы прогоните и болезнь ее и хандру...» Строил химерические планы: «Белозерскому разрешен, наконец, журнал, и я надеюсь передать в его распоряжение шестилетний сбор своих пословиц и получить средства для возвращения в Россию».

А пока этих средств не было, он заполнял письма к Аксакову пространными рассуждениями о преимуществах православных обрядов перед католическими и протестантскими, описаниями швейцарской природы и достопримечательностей Лозанны.

Марковичи обошли старый город с его длинными лестницами и узкими террасами, путаницей кривых и крутых переулков, осмотрели средневековую ратушу и готический собор XIII века, посетили прославленный Институт слепых и картинную галерею Арло. Но после Германии и Бельгии все это было не в диковину. А что действительно произвело сильнейшее впечатление — республиканские порядки, которые им посчастливилось наблюдать в действии при обсуждении савойского вопроса в Совете кантона Ваадт.

В марте 1860 года Наполеон III захватил Савойю и Ниццу. Над маленькой Швейцарией нависла угроза вторжения французских войск. Кантон Ваадт и его столицу Лозанну отделяли от Савойской области лишь воды Женевского озера.

В середине апреля Афанасий писал Аксакову: «Вам нужно приехать, уважаемый соотечественник, между прочим для того, чтобы увидеть в деле свободу швейцарскую. Когда швейцарцы танцуют, учатся, веселятся, тогда нельзя видеть их политической жизни; теперь Вы ее увидите. Я вчера был на демократической раде Лозаннской, собравшейся в городском доме по поводу савойских дел... Говорили речи... Вставали на речь *не ученые* — крестьяне, и их красноречие, встреченное хихиканьем, провожено слезами».

Афанасию Васильевичу легче было понять настроения свободолюбивых швейцарцев, чем непокорную натуру собственной жены. Ее физическое присутствие лишь усиливало духовную отчужденность. Она ушла от него в свой внутренний мир, держала под семью запорами тайники своего сердца. Но однажды в письме к Аксакову, человеку отнюдь не близкому, вдруг поверила самое сокровенное — свое житейское и художественное кредо. Для понимания личности и писательской позиции

Марко Вовчка это послание, написанное в переломный период жизни, дает больше, чем десятки ее писем к испытанным друзьям.

«Мы тут прочли, что в Киевской и Черниговской губерниях взяты заговорщики, что между ними много офицеров и чиновников. Я думаю, что брат мой тоже взят, но еще не знаю наверно. Грустно это было, но всю печаль одолевает что-то живое, будто веселое, хорошо услышать было, что есть люди, что любят неблагоразумно, что верят неблагоразумно. Благоразумие мне — как очень важная и корыстолюбивая госпожа, — никак ей не хочется поклониться, а разминуться желаешь с нею».

«Я работала. Кончаю теперь работу свою. Писала я *сдуру*, как говорится, а мыслей не проводила, разве сами провелись. Скажите, как это собраться о чем-нибудь говорить нарочно? Это все равно, что собраться кого встретить поласковее или пожарче поблагодарить — только и будет, что совестно. Я люблю обо всем думать, а если нечто замышлять стану, выйдет уже совсем нехорошо, может, и хорошо, да не по правде, а мне очень правды хочется».

«Я обстановки никогда не ищу для того, чтобы писать, просто и не думаю. Да разве вы думаете, что взобраться на гору и описать сейчас? Вы стали бы писать портрет с хорошего человека, если бы к нему попали? Лучше на самого его наглядеться. Я, право, не ищу ни камина пылающего, ни диких скал для работы своей. Как это я буду готовить то-то и то-то для того, чтобы получше написалося. Одной побыть надо мне, да и то, может, потому, что я люблю побыть одной. А уже если пишется, то пишется и тогда, когда голова болит, в лихорадке, когда дети кругом беготню подняли и под руку толкают, И в ухо кричат, и печка не горит, а дымит».

В Швейцарии еще больше окрепла ее дружба с Пассеком, Я после десятилетней семейной жизни прекратился брачный союз с Афанасием. Но так как по условиям того времени для юридического расторжения брака не было достаточных оснований, она продолжала считаться его законной супругой, а впоследствии — «вдовой надворного советника А. В. Марковича».

ВЫСОКАЯ ВОЛНА

Все лето и часть Осени она провела в разъездах. Охота к перемене мест вообще была свойственна ее непоседливому характеру. Возникали прожектерские планы путешествия в Палестину или в Америку. «Я не ручаюсь, — предупреждала она Станкевичей, — что вы не получите от меня когда-нибудь письма из девственных лесов». Разумеется, это были только мечты. Пришлось ограничиться заурядными способами передвижения и обыкновенными экскурсиями по туристским дорогам Швейцарии, Германии и Франции. Но и это было немало.

Частые поездки по заранее не предусмотренным маршрутам вызывались не одной только любознательностью. Без помощи посредников Мария Александровна не могла бы поддерживать отношения с редакторами журналов, с петербургскими и московскими издателями. Заботы об устройстве литературных и семейных дел заставляли ее искать встреч с влиятельными людьми, назначать свидания друзьям в самых неожиданных местах. Нужно было обеспечить дальнейшее поступление жизненных ресурсов и заручиться солидными протекциями, чтобы определить Афанасия Васильевича на службу.

Правда, он и сам пытался что-то предпринять. Ездил в Мюнхен к Аксакову: вел с ним переговоры, переписывал ему какие-то бумаги, но ничего определенного «благодетель» не обещал. Афанасий пропадал почти целый месяц и вернулся как в воду опущенный.

Оставив на его попечение Богдана, Мария Александровна 27 мая отправилась в Париж. На следующее утро ее встретили на вокзале Станкевичи и отвезли к себе — в отель Бретениль на Рю Дофин. Тотчас же по прибытии она известила Тургенева: «Я приехала сегодня. Скажите, когда вам можно прийти, — я буду ждать».

Иван Сергеевич собирался в Соден на воды. Отложив все дела и взяв на себя роль гида, он гулял с ней по набережным Сены, показывал сокровища Лувра, возил на Елисейские поля и в Булонский лес, знакомил со своими приятелями.

В Париже жил в это время Василий Петрович Боткин, известный либеральный литератор, автор «Писем об Испании», статей о западной литературе, философии и музыке. Только что приехавший с курорта, «загорелый, здоровый, медом облитый», он держался как истый европеец и как будто нарочно старался показать своими безупречными манерами и

утонченными вкусами, что не имеет ничего общего с московскими купцами, разбогатевшими на торговле чаем. Из нескольких братьев Боткиных только один Петр продолжил отцовское дело, а другие, получив свою долю наследства, пошли по разным дорогам. С академиком живописи Михаилом Петровичем Боткиным Марко Вовчок позже встретила в Риме, с Сергеем Петровичем, знаменитым медиком, — в Петербурге, а Василию Петровичу, защитнику «чистого искусства», дала ядовито-ироническую характеристику в письме к Добролюбову: «Я видала Боткина — говорит все о Риме, о Флоренции, чистит перчатки резинкою и спрашивает у всех, как его здоровье, не похудел ли он? Не побледнел ли он? Читает книгу об искусстве, пишет об искусстве, разыскивает и покупает лучшие груши».

В эти дни ей довелось также встретиться с Николаем Федоровичем Крузе, который по приказу царя был отстранен от должности цензора за «послабление печати», и с Николаем Николаевичем Толстым, старшим братом писателя, умершим в том же году от горловой чахотки.

Марии Александровне меньше всего хотелось выдать свое дурное настроение. Если не удавалось отмалчиваться, она с напускным оживлением участвовала в светских разговорах. И хотя от пронизательного взора Тургенева не укрылась ее душевная тревога, не так-то легко было вызвать ее на откровенность и еще труднее — внушить тривиальные истины: жизнь прожить — не поле перейти, перемелется, — мука будет и т. п.

Перед отъездом в Соден Тургенев делился своими наблюдениями с Анненковым и Макаровым, со свойственной ему деликатностью огибая острые углы: «Это прекрасное, умное, честное и поэтическое существо — но зараженное страстью к самоистреблению: престо так себя обрабатывает, что клочья летят!..» [«Между нами»] мне кажется, что ей не совсем легко жить на свете: но у нее характера много, она молчалива и упряма — и сама себя ест с ожесточением: что из этого выйдет — одному господу богу известно! Она едет обратно в Лозанну, но в непродолжительном времени собирается быть в Швальбахе...»

...Еще две недели в Лозанне. Встречи с Пассеком в Берне и Женеве. Настороженность Татьяны Петровны, холодность сына Герцена, попреки и жалобы Афанасия. Возвращение в Гейдельберг и опять Швальбах...

Избрав для повторного лечения водами этот сравнительно недорогой курорт, она наведывалась отсюда в Гейдельберг (привычный железнодорожный маршрут именовался «от Гофмана к Гофману»: муж и сын жили у гейдельбергских Гофманов, а сама она снимала комнату в пансионе «Schöne Aussicht» у Гофмана швальбахского), ездила к Тургеневу

в Соден, побывала в Висбадене, Франкфурте-на-Майне, Эмсе, Майнце, Бонне и других немецких городах.

Тургенев, восхищенный ее украинскими рассказами, прокламировал их и на Западе — читал, переводя «а ливр увэр», в семье Виардо и еще задолго до выхода книги обещал Просперу Мериме, лучшему во Франции знатоку и ценителю русской литературы, преподнести шедевр, затмевающий «Хижину дяди Тома». За несколько дней до встречи с Марией Александровной в Содене Тургенев получил от Мериме письмо с подробным отзывом на «Украинские народные рассказы». Утаивать это письмо от писательницы не было никакого смысла. И с каким бы безразличием она ни относилась к критике, многозначительные слова Мериме не могли ее оставить равнодушной:

«Рассказы Марко Вовчок очень печальны. К тому же они, по-моему, должны побудить крепостных выпустить кишки своим господам. У нас их приняли бы за проповедь социализма, и добропорядочные люди, которые предпочитают не видеть кровоточащие раны, пришли бы в ужас. Право, я думаю, что в другое время и при другом императоре их не позволили бы опубликовать в России. Забавы ради я принялся за перевод *Козачки*. Раз Вы перевели этот рассказ, значит он достоверен, но в таком случае Стенька Разин, Пугачев и другие крупные деятели были правы, когда стремились искоренить злоупотребления самыми скорыми и самыми решительными средствами».

Мериме был не так уж далек от истины. Добравшись до сокровенного смысла «Оповідань», он правильно рассудил, что такие вещи могла породить только ненависть к существующему строю и автор таких произведений не может стоять в стороне от революционных идей.

Так и было в действительности. «Помните, Александр Владимирович, — писала она Станкевичу, — о чем вы говорили мне, что хотели бы знать о социализме, правда ли те, кто, думали вы, знают, не знают — никогда не говорили, но подозревают, что так, и всегда об этом между собою молчат. Вот видите, все моя таки правда».

Ведь и Марко Вовчок была из тех, кто предпочитал больше знать и меньше говорить! В поисках правды она приближалась к заветному рубежу, отделяющему настоящее от будущего. Там, за завесой времени, гремели сокрушительные бури, рисовались воображению образы неустрашимых людей, готовых искупить страдания народа кровью тиранов и подвигами самопожертвования.

Это относится к ее произведениям шестидесятых-семидесятых годов, а сейчас, накануне реформы, внимание читателей и критиков было

приковано к обоим сборникам «Народных рассказов». Вынесенные историей на гребень освободительной волны, они, говоря «языком плаката», стали жупелом для охранительного лагеря и маяком для передовой России.

Недавний доброжелатель Марко Вовчка, просвещенный киевский помещик Ригельман, намекая на ее рассказы, предостерегал профессора Чижова: «Теперь с либеральничаньем надо быть очень осторожну: горючего материала много, а искры, сыплющиеся из литературного паровика, могут произвести пожар».

Приблизительно в то же время учитель Полтавской гимназии Стронин дал томик «Народних оповідань» Михаилу Драгоманову и, увидев, что, читая, тот не может удержаться от слез, сказал своему ученику: «Не стыдитесь, это золотые слезы», — и поцеловал его в лоб.

«Произведения Марко Вовчка, — вспоминал потом Драгоманов, — потрясли меня своей общечеловеческой социальной идеей, не возбудили во мне никакого национализма, а заняли место во моем сознании рядом с теми «либеральными» русскими стихами и отрывками из сочинений Герцена, которые доходили до нас, рядом с романом Бичер-Стоу, который незадолго до этого я прочел в русском переводе».

Нашумевший аболиционистский роман американской писательницы и антикрепостнические рассказы Марко Вовчка воспринимались как явления одного порядка. Учителя воскресных школ с успехом использовали их в своей легальной просветительской деятельности, сочетая ее сплошь и рядом с замаскированной революционной пропагандой. Воскресные школы попали на подозрение и скоро были закрыты. Официозную точку зрения выразил князь Д. Оболенский, участвовавший в преподавании молодым рабочим на Прохоровской фабрике: «Дело было накануне решения крестьянского вопроса, а между тем студенты стали читать вещи, которые могли только разжигать простой народ против хозяев, крепостных против господ своих: «Хижину дяди Тома» и некоторые рассказы Марко Вовчка, очень бывшие в моде».

В период назревания революционного кризиса имя украинской писательницы не сходило со страниц печати. Вокруг «Народных рассказов» скрещивались критические копья. Вопрос стоял только так: «за» или «против». Журнальные бои разгорелись после появления в ноябре 1859 года печально знаменитой статьи редактора «Библиотеки для чтения» А. Дружинина, статьи, вызвавшей возмущение всех сколько-нибудь прогрессивно мыслящих людей.

Любопытно, что этот документ крепостнической критики, где

рассказы Марко Вовчка буквально смешиваются с грязью, написан с позиций «чистого» искусства. Обвиняя обличительную литературу в преднамеренном искажении истины, Дружинин горько сетует, что журналы заполняются не произведениями изящной словесности, а «мерзостно-отвратительными эпизодами», вроде тех, на которые не скупится Марко Вовчок. В резком противопоставлении угнетенных угнетателям — «невинных овечек лютым волкам» он не усматривал ничего иного, кроме фальшивой тенденциозности и нарушения «непреложных законов» искусства.

Сотрудник «Библиотеки для чтения» А. Ф. Писемский, боясь за свою репутацию, поспешил заверить Тургенева, что статью Дружинина прочел только во второй корректуре и не согласен с ней «от первого до последнего слова». Так это или не так, позднее покажет статья самого Писемского, напечатанная в той же «Библиотеке», а пока что слово взял Константин Леонтьев, тогда еще либеральный литератор, поместивший в «Отечественных записках» статью под решительным заглавием — «За Марка Вовчка». Но защитил он ее неуклюже: сделал все, чтобы сгладить обличительный смысл рассказов и перенести акцент на поэтическое воссоздание народного быта. Вот а почему Герцен, не касаясь других, более смелых полемических откликов, счел нужным упомянуть в «Колоколе» именно этот «слабый и бледный ответ».

Речь идет о блестящем политическом памфлете Герцена «Библиотека» — дочь Сенковского», подлинном шедевре русской революционной публицистики. 71-й номер «Колокола» — от 15 мая 1860 года, где он был опубликован, произвел впечатление разорвавшейся бомбы. Этот памфлет стал событием общественной жизни и оставил по себе неизгладимую память.

Со всей мощью своего разящего пера, со всей силой неопровержимой логики Герцен разбивает софизмы крепостников, призывая «Библиотеку для чтения» на лобное место. Прочитав рассказы Марко Вовчка, он понял, «почему величайший русский художник И. Тургенев перевел их». И если Дружинин, защищающий «застарелое преступление», смеет утверждать, что «историю жестоко наказанного пса или похищенной девчонки можно сочинить, не выходя из своей квартиры», то он, Герцен, видит в этих рассказах сколок живой жизни, которая на каждом шагу подтверждает правоту писательницы. В Следующих двух абзацах, изумительных по лаконизму и выразительности, соединяются в один сплав талант художника, публициста и критика:

«В петербургских болотах, в московской пыли не растут такие

дубравные цветы; тут все чисто и здорово, неистощенная земля, непчатое сердце, тут веет полем после весеннего дождя, веет и проклятием русского поля — господским домом; шум листьев, лепет, жужжанье не заглушают ни плач «девчонки», оторванной на веки веков грубым насилием у матери, ни вопль «псаря», стегаемого zu unästhetisch...^[16] Украинец-рассказчик не брезглив, — ведь и природа не брезглива, — он не прячет своего кровного родства с «девчонкой» и не стыдится, что слезы его льются на грязный посконный холст, а не на мягкое «пате» {непрерменно Гамбсовой работы}!

А сказать вам, отчего он не стыдится? Оттого, что в этих девчонках, в этих псарях он почуял — именно сердцем, которое вытравляют столичные доктринеры, — замороженную силу, близкую, понятную, кровную нам. Оттого-то и слезы его не наполняют душу одним безвыходным поедающим горем, а дрожат, как утренняя роса на сломанных и истоптанных цветах; их не воскресят они — но другим возвещают зорю!»

ВСТРЕЧИ И ПРОВОДЫ

Тургенев, польщенный «блистательным отзывом», благодарил Герцена в письме от 21 мая: «Мне было совестно, и не мог я этому поверить, но мне было приятно», а Марко Вовчок дала о себе знать лишь в начале июля, ни словом не упомянув о статье, из чего Герцен заключил, что пакет с «Колоколом» до нее не дошел, и тотчас же выслал другой. Шутливо укоряя писательницу за то, что ей не сидится на месте («вы точно Маццини — нигде вас не найдешь — то в Палермо, то в Берне, то в Мадриде»), он спрашивал, читала ли она тургеневскую «Первую любовь», которая ему понравилась даже больше, чем «Накануне».

Незадолго до этого (в мартовской книге «Современника») Добролюбов выступил с боевой статьей, посвященной роману «Накануне» — «Новая повесть г. Тургенева». Отметив исключительную чуткость писателя к зовам времени, его умение «тотчас отозваться на всякую благородную мысль и честное чувство, только что еще начинающее проникать в сознание лучших людей», критик вместе с тем и предупредил, что ему «не столько важно то, что *хотел* сказать автор, сколько то, что *сказалось* им, хотя бы и не намеренно, просто вследствие правдивого воспроизведения фактов жизни».

Как будет видно из дальнейшего изложения, эта замечательная статья, перепечатанная затем Чернышевским под первоначальным названием «Когда же придет настоящий день?», имеет отношение и к творчеству Марко Вовчка.

«Лишние» люди сходили со сцены и в жизни и в литературе. Их место заступали люди нового склада, жаждущие активной деятельности на благо родины, готовые «гибнуть за добро». В образе Елены Стаховой Добролюбов справедливо усматривает первую попытку создания энергичного, деятельного женского характера, а в образе болгарского революционера Инсарова — одного из тех истинных патриотов, которых «общественная потребность века» должна была неизбежно призвать и в России на борьбу против «внутренних турок». Статья завершается многозначительной аллегорией: сейчас еще темная ночь, но близок, близок день, когда появятся русские Инсаровы!

Из романа «Накануне» Добролюбов сделал куда более решительные выводы, чем хотелось бы самому автору, и это ускорило давно уже назревший разрыв Тургенева с «Современником».

Позже, когда Марко Вовчок познакомится в Неаполе с Добролюбовым,

ей станет ясно, что Тургенев был далеко не объективен в оценках литераторов, входивших в редакцию «Современника». Но сейчас, обсуждая с Тургеневым наболевшие вопросы общественной и литературной жизни, она с воодушевлением говорила ему о романе «Накануне» и только что прочитанной «Первой любви», а он, поведав писательнице замысел «Отцов, и детей», с негодованием отзывался о добролюбовской статье и выражал опасения, что и новый его роман будет использован для превратных толкований, от которых не оберешься неприятностей. Ведь предупреждал же он в свое время Некрасова, что статья о «Накануне» несправедлива и резка, но с его мнением не посчитались, а теперь пусть пеняют на себя...

И хотя одни и те же события преломлялись в их сознаний по-разному, творческий пример гиганта русской литературы не мог не вдохновлять молодую писательницу. И подобно тому, как «Записки охотника» были в творческой эволюции Тургенева необходимым, но пройденным этапом, так и для Марко Вовчка начинали отступать в прошлое «Народные рассказы».

Зовы времени побуждали ее сказать *свое слово* о новых людях из дворянской интеллигенции, сделать следующий шаг: найти русского Инсарова...

Переезжая с места на место, она жадно ловила вести из России. Но вряд ли ей было известно, что девятнадцатилетний Митя Писарев успел уже изложить свои мысли о сочинениях Марко Вовчка, а угасающий от чахотки Добролюбов написал в Швейцарии и отослал Чернышевскому в Петербург программную статью «Черты для характеристики русского народного быта», где горячо отстаивал единство интересов русского и украинского «простолюдинов» и доказывал, анализируя рассказы Марко Вовчка, что в народных массах зреет решимость идти вперед, живет неистребимая «любовь к свободному труду и независимой жизни».

...Проводив Марию Александровну из Содена в Швальбах, Тургенев писал ей 29 июня: «Поездка оставила во мне самое приятное впечатление, и я чувствую, что узы дружества, которые нас связали с прошлого года, еще крепче стянулись».

О следующей встрече в Швальбахе сохранилось свидетельство в его письме к Анненкову от 8 июля: «Я в жизни так не зяб, как третьего дня, ехавши в открытой коляске из Эмса, где я посетил графиню Ламберт, в Швальбах, где поселилась М. А. Маркович. Это очень милая, умная, хорошая женщина, с поэтическим складом души. Она будет на Уайте, и вы должны непременно сойтись с ней... Чур не влюбитесь! Что весьма возможно, несмотря, что она не очень красива. Впрочем, мы с вами

прокопченные сельди, которых ничего уже не берет».

Анненков, сам искавший случая познакомиться с талантливой писательницей, встретил ее не на Уайте, и не в Швальбахе, куда специально заезжал, а в Ахене. И когда этот округлый румяный господин, казалось, не уместившийся в собственной телесной оболочке, важно шествовал с ней об руку по главным улицам Ахена, она с трудом удерживалась от смеха, вспоминая, как метко окрестила Павла Васильевича квартирная хозяйка-немка, переделав русскую фамилию Анненков на Nahnenkopf^[17]. Видный критик либерального направления, один из первых в России пушкинистов, он больше известен теперь как автор интереснейших «Литературных воспоминаний», где по прошествии многих лет писал о Марко Вовчке отнюдь не в таких восторженных выражениях, как Тургеневу из Ахена: «Я не могу нахвалиться ею. Вы ли ей наговорили хорошего обо мне, или женский ум, которого у нее бездна, указал ей, что делать, — только она встретила меня с добродушием и откровенностью. Подчиняющими человека. Жаль, что недостает времени и пространства для развития этого знакомства».

19 июля, наконец, состоялась давно условленная и отменявшаяся по разным причинам встреча с Тургеневым в Майнце, где они сели на пароход и пустились вниз по Рейну. Покрытые виноградниками зеленые склоны, руины средневековых замков на вершинах лесистых холмов, воспетая Генрихом Гейне знаменитая скала Лорелей, кирпичные кирхи, черепичные кровли с чинными аистами, стерегущими свои гнезда, шлепанье неуклюжих плит, вспенивающих воду с грохотом мельничного колеса, извержение черного дыма из жерла высоченной трубы — все это запомнилось лучше, чем содержание бесконечных и совсем не утомительных разговоров, которые не прекращались до самого Кельна...

Расставаясь со своей спутницей, Тургенев написал рекомендательное — письмо известному общественному деятелю, писателю и путешественнику Е. П. Ковалевскому, занимавшему крупный пост управляющего Азиатским департаментом в министерстве иностранных дел. Мария Александровна съездила к нему в Эмс и вручила письмо, в котором Тургенев выражал уверенность, что любезнейший Егор Петрович обрадуется случаю помочь мужу М. А. Маркович получить штатное место в Петербурге.

Ковалевский был отменно любезен, но особой радости не выказал. Правда, он обещал подумать и даже предложил выхлопотать в Литературном фонде — недавно созданном при его участии Обществе содействия нуждающимся литераторам и ученым — денежное пособие.

Мария Александровна ответила на это, что ждет от него не такой помощи.

Вернувшись в Швальбах, она много читала, а еще больше хандрела и хворала, главным образом оттого, что плохо шла работа; снова побывала в Гейдельберге, где виделась со знакомыми поляками, встречалась с Пассеком, проводила время с Анненковым, Макаровым, Ешевским и Софьей Карловной Рутцей, скучала в обществе говорливых профессорских жен Киттарры и Вейнберг.

Тем временем Тургенев зазывал Марию Александровну на остров Уайт, приглашая принять участие в обсуждении проекта программы «Общества для распространения грамотности и первоначального обучения»; спрашивал, как ей работаетея и «продолжается ли работа самогрызенья и сверленья», посетил ли ее в Швальбахе NN, то есть Пассек, «пропекает» ли ее по-прежнему Вейнбергша, не свалилась ли ей на голову «какая-нибудь новая брандахлыстиха вроде Киттарры» и долго ли она будет «возиться с поляками».

В уговорах Тургенева не слишком предаваться «влиянию польского элемента» выразилось его сдержанное отношение к польскому национально-освободительному движению, тогда как Марко Вовчок полностью разделяла позиции Герцена, неоднократно выступавшего на страницах «Колокола» в защиту польской революции.

О предстоящей поездке в Англию она сообщала как о деле решенном, а между тем выезд со дня на день откладывался.

Герцен в ожидании скорой встречи и возможности прочесть ей «с глазу на глаз» сокровенные главы «Былого и дум» уведомлял в середине августа, что в Вентнор на Уайте двинулась «толпа русских» и он будет к ним наезжать из Борнемоуса [Борнемута], приморского курорта, где заблаговременно снял виллу «Орлиное гнездо», в котором и для нее найдется комната. И только 27 августа, узнав, что не увидит ее ни в Лондоне, ни в Борнемоусе, писал, не скрывая разочарования: «Итак, вы не приедете. Я несколько сомневался и прежде».

А Тургенев, снявший для нее номер в вентнорском отеле, не мог удержаться от упреков: «Непостижимость Ваших поступков превышает все соображения самых отважных умов!.. И как же Вы это не едете на остр[ов] Уайт, как будто для этого нужны миллионы? И отчего Вы ничего не делаете? И что же мы будем делать без Вас на Уайте?... Что за безумие: быть больным там, куда приехал лечиться!!»

«Я хотела бы ехать на Уайт, — оправдывалась она в ответном письме, — но денег не присылают. Кто это говорит, что надобны миллионы для этой поездки — на все надо денег. Я уже еще писала к Белозерскому, я жду

денег и тогда поеду. Думаю, через две недели выберусь. Вы знаете, что надо устроить дела здесь».

И так как деньги не поступали, а предложение Тургенева принять на себя все расходы ее не устраивало, она до последнего дня отделялась неопределенными обещаниями. «Вы являетесь мне в виде Сфинкса, около которого беспрестанно сверкают телеграммы столь же непонятные», — писал он 1 сентября, когда уже было ясно, что она не сможет присоединиться к компании литераторов, собравшейся на Уайте, чтобы обменяться мнениями по поводу предстоящей реформы и тургеневского проекта Общества грамотности.

Кроме самого Тургенева, Герцена и Огарева, в дискуссиях участвовали: А. К. Толстой, П. В. Анненков, В. П. Боткин, И. Ф. Крузе, а также полковник Генерального штаба Н. Я. Ростовцев, уволенный вслед за тем от службы «высочайшим приказом» за сношения с лондонскими эмигрантами.

Проект программы Общества грамотности решено было распространить среди известных русских деятелей и привлечь к нему внимание печати. Рассылая текст программы вместе с циркулярным письмом, Тургенев просил каждого адресата изготовить как можно больше копий. Но на этом дело застопорилось: идея всеобщего первоначального обучения встретила «сильнейшую оппозицию» в официальных кругах.

...Мария Александровна, надумав в последний момент перебраться в Париж, куда в скором времени собирались и Пассеки, съездила в Гейдельберг за Богданом, а оттуда на несколько дней в Ахен. Афанасий же должен был дожидаться у Гофманов, пока она не достанет ему денег на дорогу в Петербург.

Тургенев, встретив ее на вокзале, отвез в пансион Ваки на Рю де Шайо, 107 и на другой день, 7 сентября, отправился в Куртавнель, имение Виардо, где после Спасского у него был второй дом. Неунывающий Богдан, пользуясь языком жестов, немедленно установил дружеские отношения с сыном мадам Ваки, а Мария Александровна тотчас же засела за работу — переписывала и рассылала по адресам тургеневский проект Общества грамотности.

«Я работаю и переписываю ваш проект». «Я работаю и переписываю», — подтверждала она в письмах от 13 и 20 сентября, заполненных непринужденными портретными зарисовками соседок по пансиону. «Еще у нас есть девица из Португалии — Иван Сергеевич, она с усами и такая полная, что похожа на гору, а в ушах у нее большие кольца, а на них замок, — а я думала, что там все красавицы. Но лицо у нее хорошее, всегда она

смеется и рассказчица чудесная... Еще есть у нас француженка, нарядная, смелая, — смотрит, будто хочет что отнять. У нее маленькая дочка, хорошенькая и тоже нарядная».

Пройдет несколько лет, и впечатления о соседках по пансиону — молодой вдове-француженке и забавной португалке — лягут в основу очерка «Знакомая девушка» — четвертого в цикле «Отрывки писем из Парижа».

Больше всего ей понравились две девушки-американки, которые учили ее английскому: «Какие прелестные, веселые девушки и добрые и умные. Отчего у нас таких почти не бывает?»

Тургенев ответил: «А отчего таких у нас в России нет — или очень мало — легко понять: все наши барышни вырастают в невежестве и во лжи. Они либо покоряются окружающей их атмосфере — и выходит плохо, либо возмущаются против нее — и выходит тоже нехорошо».

Вряд ли ей пришлось по душе окончание этой сентенции. «Окружающая атмосфера», против которой она всегда возмущалась, давала о себе знать и в Париже. «Мне почему-то кажется, — писал ей Станкевич, — что вас беспокоят или досаждают какие-нибудь толки или упреки людей, по мнению которых вы не то, чем должны быть; или не так, как должны быть».

Но сейчас ей было не до раздумий. Не успела она осмотреться в Париже, не успела втянуться в работу, как снова пришлось мчаться в Гейдельберг.

В письме к Герцену от 27 сентября 1860 года Тургенев подробно, но далеко не беспристрастно рассказывал об этом тревожном периоде жизни Марко Вовчка: «Мне с ней было хлопот немало: надо было ее вывести на свет божий из омута фальшивых отношений, долгов и т. д., в котором она вертелась. Муж ее незлой и честный даже человек — но хуже всякого злодея своим мелким раздражительным, самолюбивым и невыносимо тяжелым эгоизмом. Прожиганием денег (при совершенном отсутствии не только комфорта — но даже платья) он напоминает мне Бакунина (ничем другим, разумеется, ибо при этом он ограничен до нищеты). Я решил, чтобы зло пресечь, поместить М[арию] А[лександровну] в пансион, где она за 175 фр. в месяц имеет все готовое, отправить супруга в Петербург, где его ждет место, приготовленное Ковалевским, привести в известность все долги — и тем самым приостановить их — а отчаянного и скверно воспитанного, но умного мальчишку, сына М[арии] А[лександровны], отдать здесь в institution^[18] — для вышколения. Но супруг, живший доселе деньгами и долгами жены, не иначе соглашается ехать из Гейдельберга, как

простившись с нею и с сыном — *там*: и вот она туда поскакала на 2 дня, что ей будет стоить франков 300. По крайней мере она отвезет ему деньги на отъезд и приведет долги его в Гейдельберге в ясность, то есть возьмет их на себя. (Он, главное, задолжал Гофману, бывшему московскому профессору.)»

Оставляя без комментария эту предвзятую характеристику А. В. Марковича, заметим только, что Ковалевский не сумел или не захотел выполнить свое обещание: в Петербурге Афанасий Васильевич службу не получил.

Прощаясь с женой и сыном, он даже не мог предположить, что никогда больше их не увидит. А она? Навсегда порывая с прошлым, начинала новую главу своей жизни.

ЕЕ ГЛАЗАМИ

Вплоть до нового года Марко Вовчок продолжала работать над украинскими повестями и рассказами для «Основы».

Живя во французском, русском и польском окружении, она с утра до полудня думала и писала по-украински. Стоило ей остаться наедине с открытой тетрадью, как безошибочный внутренний камертон мгновенно перестраивал все ее мысли и ощущения, и она не только видела, но и слышала своих героев, чувствовала на губах горечь полыни, с удивительной отчетливостью улавливала любимые запахи — мяты и чабреца. А потом, не сразу очнувшись от иллюзии, доступной лишь истинным художникам, обедала за общим столом с постояльцами пансиона, через силу заставляя себя улыбаться и отвечать на праздные вопросы.

Вторую половину дня Марко Вовчок проводила с друзьями и знакомыми, не пропуская возможности посещать музеи, театры, концерты, художественные выставки и публичные лекции, народные гулянья и всякого рода зрелища, какие только мог предоставить Париж любознательному, жаждущему впечатлений человеку.

На ипподроме, при огромном стечении публики, устраивались состязания римских квадриг, и сам Наполеон III, неуклюже поворачиваясь всем корпусом (говорили, что он носит под мундиром кольчугу), милостиво кивал жокеям в развевающихся тогах, когда они, замедляя бег коней перед императорской ложей, неистово размахивали позолоченными лавровыми венками. В театре Порт Сен-Мартен с неизменным успехом шли обстановочные драмы Дюма «Нельская башня» и «Госпожа де Монсоро», в Буфф-Паризьен — «Орфей в аду» Оффенбаха, где в роли Юпитера блистал маленький толстый комик Дезире и самые хорошенькие актрисы изображали олимпийских богинь.

Но не эти эффектные представления, и не картины Веласкеса в Лувре, и не витражи собора Сен-Дени, и не букинистов на набережных Сены описывает Марко Вовчок в своих «Отрывках писем из Парижа». Избегая говорить о том, что можно было прочесть в газетах или в любом справочнике, она передает непосредственные живые наблюдения, которые накапливались с первых же дней ее пребывания в столице Франции. И хотя эти очерки были написаны и опубликованы позже, в них запечатлен Париж начала шестидесятых годов, каким Мария Александровна увидела его после Гейдельберга, поселившись на Рю де Клиши, 19, в пансионе г-жи

Борион. Именно тогда у писательницы и сложилось свое восприятие Парижа. Ее Париж — город социальных контрастов, где роскошь и убожество — все напоказ, где нет и не может быть примирения между теми, кто трудится и кто прожигает жизнь.

...Горят огнями широкие блестящие улицы. Сотни карет, толпы людей, гул голосов, грохот колес. За цельными стеклами сверкающих магазинов — богатые товары: золото и драгоценности, бархаты, шелка, кружева. Великолепные кафе с дверями настежь, omnibusы с разноцветными фонарями, дворцы, мосты, сады... «Да одного тут нет — нет тут свежести ни в чем, что живет, растет и цветет. Высоко зеленеют выхоженные деревья, и сильно пахнут взлелеянные цветы, но и зеленеют, и цветут, и пахнут, а свежести нет. Один ландыш из нашего леса точно выведет за собою всю роскошь степей, лугов и кудрявых дубрав, а тут выращенный ландыш выводит за собою пыль и камень, зной, тесноту и жажду».

В стороне от богатых кварталов все выглядит иначе. «Ходя по узким, нечистым, душным улочкам, между рядами высоких грязных домов, чаще всего встречая тряпичников да оборванных детей, слышишь запах прогорелый от кушаньев, что там и сям готовятся на улице; видишь на всем и повсюду и везде отпечаток не того небрежения и беззаботливости, что бывает иногда у достаточного населения, а небрежения и беззаботливости населения, которое нужда точит».

По центральным улицам, прохваченным газовым светом, фланируют самодовольные щеголи и смеющиеся красотки, похожие на раскрашенных кукол. На углу — «изморенная девочка продает завялые розаны — так и протянута к проходящим тоненькая ручка с цветком». Голодные зуавы в чалмах с вожделением устали на витрину съестной лавки. С независимым видом проходят работники в синих и белых блузах. «Хорошие лица у работников, у старых и молодых, такие энергические, хоть часто болезненные, истощенные. В будни видишь — на рассвете идут на работу, а ввечеру встретишь — возвращаются с работы. Днем их фигуры показываются из окон недостроенных домов, или на крышах, или на подмостках, или между грудями камней они режут и пилят. Иногда на мостовой откроется отдушина, и они с фонарями выходят из-под земли. А то из жилого какого здания выглянет усталое лицо — значит, тут какая-нибудь мастерская. Тоже видишь, и часто, как их проносят на носилках в больницу, раненых или безжизненных».

Церковники преуспевают. Иезуиты проскальзывают везде и всюду, словно черные тени. «В церквах знать очень усердно молится, а за ними слуга носит бархатный мешочек с деньгами с милостыней для бедных».

С одной стороны, бесстыдная роскошь, фальшь и лицемерие, с другой — естественная простота нравов, нерастраченные чувства, нерастоптанное человеческое достоинство. Париж синеглазых, красивых, веселых и ловких девушек-работниц, неугомонных гаменов сохраняет свою гордость и свободолюбие.

Гаменам — после прочтения «Отверженных» Гюго — посвящено несколько страниц в очерке «Парижанка». «Попадаются мальчики крошечные, а личики поразительно дерзкие, ожесточенные. Едва от земли поднялся, а стоит, заложив ручонки за спинку, с ног до головы насмешливо оглядывает проходящих, издевается и язвит — и как горько иногда, колко и метко!» О бесстрашии парижских гаменов во время баррикадных боев, об их остроумии и находчивости сохранились предания. А теперь, с грустью замечает писательница, они выродились в обыкновенных бродяжек, слоняющихся ватагами по Парижу. Редко кто из них доживает до юности, а кому и посчастливится дожить, попадают на каторгу и в исправительные дома.

Не воспоминания ли о парижских гаменах побудили ее перевести на русский язык обличительную повесть о лондонских беспризорниках — «Подлинную историю маленького оборвыша» Джеймса Гринвуда, книгу, которую ожидала в России беспримерно Счастливая судьба?

Марко Вовчок улавливает и передает настроения народа, ропот и недовольство настоящим, слушает разговоры старых женщин, видевших на своем веку «столько чудес мужества, преданности, бескорыстия...

— Не на кого и не на что теперь надеяться! — говорят они. — Да, не на кого и не на что! А! Болит бедное сердце мое, как вспомню прежнее! Где наша свобода? О свобода? Да здравствует свобода! «Vive la liberte!»

Превратив Францию в вооруженный лагерь, Наполеон III отправлял колониальные армии в разные концы света. «Проходят военные — отрядами, полками, конные и пешие». Их приветствуют на главных улицах, а в бедных кварталах вослед марширующим солдатам доносится запрещенная «Марсельеза»: «Allons, enfants de la patrie...» Император там не в чести. Там восхищаются Гарибальди...

Нет, писательницу не увлек, не обманул, не ослепил Париж Наполеона III! Со свойственной ей остротой социального видения она отдает все свои симпатии демократическому пролетарскому Парижу.

ПАРИЖСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Тургенев писал петербургским друзьям, что живет «окруженный женским элементом» и встречается преимущественно с русскими, а с симпатичной, милой и умной М. А. Маркович — чуть ли не ежедневно. «Женским элементом» он называл свою взрослую дочь Полину, получившую воспитание во Франции, и ее гувернантку, англичанку Иннес, с которыми поселился в небольшой квартире против Тюильрийского сада. Н. В. Щербань, часто поднимавшийся к нему на четвертый этаж, вспоминает тесную прихожую, узкий коридорчик, маленький, скромно убранный кабинет об одном окне справа, с маленьким диванчиком налево, маленькой библиотекой в глубине, маленьким письменным столом у окна и другим, круглым, у диванчика, над которым висели два маленьких голландских пейзажа. «И посреди этой миниатюрности особенно рельефно выделялась массивная фигура хозяина».

Здесь, на Рю де Риволи, 210, Иван Сергеевич давал по четвергам «весьма скромные *soirees*», приглашая одновременно не более шести-восьми человек. Посетители часто менялись — одни приезжали, другие уезжали.

Кого только не заставляла Мария Александровна на этих литературных четвергах и в «неприемные» дни! Осенью и зимой 1860/61 года у Тургенева бывали в разное время Боткин и Кавелин, Ешевский и Бородин, Эдвард Желиговский и братья Ростовцевы, востоковед-этнограф Ханыков и декабрист-эмигрант Н. И. Тургенев; редактор газеты «*Le Nord*» негласного органа русского правительства за границей, уже упомянутый Н. В. Щербань и государственный деятель, участник подготовки реформы Н. А. Милютин, Лев Николаевич Толстой и профессор-правовед Б. Н. Чичерин...

Только исключительная общительность Тургенева могла собирать в самых неожиданных сочетаниях столь несхожих людей. И уж совсем странно было встретить тут ершистого, озлобленного Николая Успенского рядом с фатоватым князем Н. И. Трубецким, соединявшим в своей персоне умеренно либерального публициста, миллионера, меломана, католика и... славянофила. Этот оригинал, не постеснявшийся пригласить на свадьбу своей дочери убийцу Пушкина Дантеса, служил постоянной мишенью для сатирических выпадов. Константин Аксаков высмеял его в пьесе «Князь Луповицкий», Некрасов — в поэме «Недавнее время», Тургенев — в «Дыме». Помните князя Коко, одного из известных представителей

дворянской оппозиции? Но пока что Тургенев поддерживал с ним добрые отношения и не раз возил Марию Александровну в Фонтенебло на музыкальные вечера, которые Трубецкой устраивал в своем замке Бельфонтен.

Париж научил Марию Александровну понимать музыку. Месса Керубини в Консерватории, Гранд-Опера и особенно «Орфей» Глюка в Театр-Лирик, где Полина Виардо, создавая цельный и трогательный образ Орфея, пленяла своим чудесным контральто и прекрасной игрой... Марко Вовчок с трудом заставляла себя поверить, что совсем недавно видела эту немолодую некрасивую женщину в домашней обстановке, в окружении иностранцев и модных знаменитостей, искавших расположения великой артистки. И хотя Тургенев все же решился представить ей свою соотечественницу, о которой немало говорили в семье Виардо, Мария Александровна скоро поняла, что не будет здесь желанной гостьей; к русским друзьям Тургенева, за исключением одного только Боткина, Полина Виардо относилась недружелюбно.

...В середине ноября Герцен прислал в Париж свою десятилетнюю дочь Ольгу в сопровождении Мальвиды Мейзенбург, немецкой писательницы-эмигрантки, многолетнего друга семьи. Тургенев и Мария Александровна взяли обеих под свою опеку. «Мы не вместе живем — отсоветовал Ив[ан] Сер[геевич] и как-то не вышло», — писала Марко Вовчок Макарову, обещая достать портрет «доктора», то есть Герцена. И дальше — о его дочери, которой суждено было пережить всех современников (О. А. Герцен скончалась в 1953 году, в возрасте 103 лет):

«Она прелестная собою девочка, а живеи и резвей не знаю, где найдется. Она прыгает и через столы и через головы — да, кажется, нет в мире ничего, перед чем бы она не задумалась и не прыгнула. А посмотреть на нее — ручки сложены, улыбается, глазки опущены или к небу подняты — точно водой не замутишь. Я сколько раз ходила с ней гулять — не успеет шагу ступить, уже напроказит».

На рождество Тургенев устроил у себя детский праздник. Были позваны дочери Виардо, Оля Герцен, внук Н. И. Тургенева и, разумеется, Богдан. «Ольга обедала у меня в воскресенье с другими детьми. Я представлял медведя и ходил на четвереньках», — докладывал ее отцу устроитель бала, а Мария Александровна делилась впечатлениями с Афанасием: «Такое было веселье, шум, кутерьма... Богдась вернулся домой счастливый, да так и заснул». Много лет спустя, встретив в Париже старых знакомых, она просила передать Богдану, что «девицы Виардо, с которыми он вместе ездил верхом на писателе Тургеневе, шлют ему привет».

Чтобы потешить Богдасика, недавно перенесшего тяжелый круп, Мария Александровна решила повторить детский праздник, но только на другой манер: пригласила на елку Поля Ваки, сына прежней хозяйки, и девочку-уборщицу с маленькими сестрами, никогда не выдавшими такого великолепия и такого обилия сластей. Затея удалась на славу. Как все происходило, рассказано в очерке «Елка».

Семилетний Богдан, названный по-французски Дъедоне, — «мальчик живей ртути и пылче огня, изъятый от всякого даже невинного криводушия, не знакомый ни с какими уловками и ухищрениями» — радушно встречает гостей и веселится с ними до упаду. Правда, он чуть было не поссорился с Полем, которому не хотелось украшать елку вместе с девочками, но спорить с Дъедоне было бесполезно. «Поль поглядел на него и увидел блестящие глаза, что, кажется, и против солнца не сморгнут, кудрявые, разбившиеся волосы, веселую и добрую улыбку, и все это дышит и пышет смелостью, своеволием и характером».

В 1864 году, когда был напечатан этот парижский очерк, Марко Вовчок изложила Ешевскому свои взгляды на воспитание: «Вы спрашиваете, что Богдась? Он очень вырос, хороший мальчик и очень своеволен, так что с ним подчас трудно. Я ему не мешаю много, хоть еще он не велик, да всякая мысль, одна мысль о стеснении, притеснении, истязании нравственном во имя любви и преданности наводят на меня холодную дрожь».

Чем взрослее становился Богдан, тем труднее было вводить в какие-то рамки эту необузданную натуру. А ей так хотелось сделать сына не просто образованным человеком, но привязать к национальной почве, привить ему любовь к родине, направить в нужное русло его стихийное свободолюбие... Не так-то легко было, живя за границей, пробудить в нем гражданские и патриотические чувства! Как мы увидим дальше, ей это удалось. Оказывали положительное воздействие не столько обдуманые педагогические приемы, сколько личный пример матери и людей из ее окружения.

Заботы о воспитании сына усилили давнее желание не только учиться, но и учить самой. Еще в Немирове она мечтала открыть пансион для девочек и просила Афанасия выхлопотать разрешение; в 1857 году, в Орле, писала для Богдана коротенькие рассказы о подвигах гайдамаков и замышляла украинскую историю для детей; посещала в Париже, а до этого в Германии и Швейцарии, учебные заведения и колонии для малолетних преступников; позже, не без влияния Толстого, обратилась к детской литературе.

Встречи с Львом Николаевичем в феврале 1861 года —

примечательное событие в ее жизни. В то время Толстей с увлечением преподавал в яснополянской школе и собирал материалы для педагогических сборников «Ясная Поляна». Знакомство с постановкой народного образования на Западе не только не обогатило его педагогическим опытом, но глубоко разочаровало. Гнетущее впечатление произвели немецкие школы. Побывав в Киссингене, он записал в дневнике: «Ужасно. Молитва за короля, побои, все наизусть, испуганные, изуродованные дети». В статье «О народном образовании», помещенной в первом выпуске «Ясной Поляны», он с ужасом вспоминал марсельский приют, где четырехлетние малыши по свистку, как солдаты, проходили строем перед воспитателем, по команде опускали и поднимали ручки и дрожащими, странными голосами пели хвалебные гимны богу и своим благодетелям. Впрочем, Толстой и не ожидал, что принятые на Западе методы обучения и воспитания хоть в чем-то совпадут с его педагогическими взглядами. И за границу он отправился главным образом с той целью, чтобы ему «никто не смел... в России указывать по педагогии на чужие края и чтобы быть *an niveau*^[19] всего, что сделано по этой части».

О встречах с Толстым Мария Александровна писала мужу: «Перед своим отъездом из Парижа я видела Толстого, того, что написал «Детство» и «Юность» и «Семенное счастье». Он, должно быть, честный и добрый человек, и хороший. Я его видела не раз и не два». Планы намечались широкие. Толстой предложил ей постоянное сотрудничество в своем будущем журнале и обещал издавать небольшими книжками ее рассказы для народного чтения. Это полностью совпадало с просветительскими интересами Марко Вовчка.

Прошло больше года. Не получив ответа на первое письмо, она еще раз напомнила о себе Толстому 9 мая 1862 года — после того, как прочла в «Ясной Поляне» его статью, воскресившую в памяти Немировский приют графа Потоцкого, мало чем отличавшийся от марсельского сиротского дома. «Ваша книга хорошая, и в ней все правда. Я над ней плакала... Научите меня, что делать, я буду изо всех сил стараться делать получше», — писала она Толстому, целиком присоединяясь к его выступлениям против лицемерной филантропии и средневековых методов воспитания.

На этот раз Толстой быстро откликнулся, подтвердив свое приглашение сотрудничать в «Ясной Поляне»: «Ваш искренний сочувственный голос был мне приятен, от души благодарю вас за то, что вы написали мне... Как ни плохи первые три книжки «Я[сной] П[оляны]», вы видите из них, что мы хотим и вы можете. Присылайте мне, пожалуйста, и позволяйте быть откровенным».

Вскороги журнал прекратил свое существование, да и вряд ли понравились бы Толстому работы Марко Вовчка. В приложении к одной из своих статей в «Ясной Поляне» он критикует список книг для народа, одобренных Комитетом грамотности, и в числе «непригодных» называет «Рассказы из народного русского быта» и украинские — в переводе Тургенева. Активное, протестующее начало творчества Марко-Вовчка, несовместимое с нравственными идеалами Толстого, по-видимому, лучше объясняет причину его молчания, чем собственные его слова: «Я всю весну и лето «прошлое» кашлял и думал, что я вот-вот умру. И в это время я получил ваше письмо, на которое не ответил».

Встречи с Толстым и чтение «Ясной Поляны» оставили в ее душе глубокий след. В «Отрывках писем из Парижа» писательница не раз возвращалась к вопросам народного образования — посвятила специальный очерк учебным заведениям для слепых и глухонемых детей и в очерке о поездке в Компьен с возмущением рассказала об истязании деревенского мальчика в монастырской школе. А еще раньше сообщила А. В. Марковичу о своем намерении по приезде в Россию открыть школу.

...Возобновившееся знакомство с Желиговским вскоре перешло в дружбу. Подобно тому как Герцен приобщал ее к делам лондонского пропагандистского центра, так и Желиговский — к организаторской деятельности польских эмигрантов, подготавливавших восстание. Устанавливались связи с революционными деятелями других славянских стран, с руководителями итальянского освободительного движения. Между Парижем и Лондоном курсировали эмиссары. Герцен и его единомышленники полагали, что, где бы ни вспыхнуло восстание, оно мгновенно будет подхвачено всеми славянскими народами.

«Слова, сказанные Герценом о том, что «Гарибальди ждали в Польше и на «Украине», были сказаны неспроста», — пишет М. П. Бажан в статье «Риссорджименто и литература» и так поясняет эту мысль: «Русский ученый Мечников^[28], украинский революционер Андрей Красовский, польские революционные эмигранты летом 1859 года собирались у Гарибальди, строя дерзкие планы высадки во главе с Гарибальди освободительного десанта на украинскую землю возле знакомой Гарибальди Одессы. И по западным и по восточным областям Украины в 1860–1861 годах распространились призывы Гарибальди к борьбе за освобождение народов».

Польские эмигранты в Париже не были изолированной заговорщической группой. Они чувствовали мощную поддержку. Привлечь известную украинскую писательницу было в их интересах. Отличное

знание польского языка сделало ее своим человеком в кругу друзей и сподвижников Желиговского.

Польский костел в Париже превратился к тому времени в своеобразный политический клуб. Здесь, как и в церкви при русском посольстве, соотечественники назначали друг другу встречи, обсуждали общие дела. Каждая служба в костеле сопровождалась сбором пожертвований на «рух вызволения». Осенью 1860 года на собранные деньги было заказано 6000 мундиров для Войска Польского. 14 декабря — в тридцать пятую годовщину восстания декабристов — в костеле читалось воззвание против царского правительства. Марко Вовчок не раз присутствовала на подобных митингах. Кай знать, только ли с туристскими целями предприняла она поездку в Италию весной 1861 года?

Имя Желиговского, друга Шевченко, часто упоминается в ее переписке шестидесятых годов. Позже она искала о нем биографические сведения, перечитывала его стихи и поэмы, а за несколько месяцев до смерти просила Богдана: «Узнай, между прочим, не надо ли воспоминаний о «непрославленных» «Былому». Мне было бы отрадно вспомнить об Антоне Сове (Желиговском), о Сахновском, осужденном на смерть офицере. Помнишь, он давал тебе уроки. И им подобных».

Инженер-прапорщик Александр Сахновский в 1861 году бежал из варшавской тюрьмы и эмигрировал за границу. В Лондоне он сблизился с Герценом, служил наборщиком в Вольной русской типографии, а потом, переселившись в Париж, принимал участие в транспортировке герценовских изданий. В Париже он и познакомился с Марией Александровной.

Среди тех, кого было бы «отрадно вспомнить», Марко Вовчок могла бы, вероятно, назвать и Артура Бенни. Выходец из Польши, принявший британское подданство, он решил под влиянием Герцена посвятить свою жизнь русскому освободительному движению и несколько лет провел в Петербурге, откуда был выслан за границу по делу, «О лицах, обвиняемых в сношениях с лондонскими пропагандистами».

По словам хорошо знавшего его Лескова, Бенни, «как боевой конь, ждал только призыва, куда бы ему броситься, чтобы умирать за народную, общинную и артельную Россию, в борьбе ее с Россией дворянской и монархической». Он изыскивал новые маршруты для доставки герценовских изданий, хотел наладить перепечатку «Колокола» с матриц, участвовал в составлении прокламаций «Русская правда», пытался образовать русскую дружину в помощь польским повстанцам. Но этому юноше фатально не везло. По странному стечению обстоятельств он был

принят единомышленниками за агента Третьего отделения, и все его попытки восстановить свое доброе имя ни к чему не привели. Осенью 1867 года Бенни оказался в гарибальдийском отряде, был ранен под Ментаной, попал в плен к папским войскам и умер в Риме после ампутации руки. При его кончине и на похоронах присутствовала приятельница Марко Вовчка, русская гарибальдийка Александра Николаевна Якоби (Толиверова), рассказавшая о его последних днях.

Лесков в посвященном Бенни биографическом очерке «Загадочный человек», Герцен и Тургенев в некрологах, а потом Боборыкин в «Воспоминаниях» постарались обелить его память. Оклеветанный революционер, отдавший жизнь за свободу Италии, предстал перед современниками в ореоле мученика и героя.

Тургенев познакомил с ним Марию Александровну в конце 1860 года, когда Артур Бенни приезжал в Париж с рекомендательными письмами Герцена и завязал отношения с революционно настроенными молодыми славянами. Позже она подружилась с младшим братом Артура, студентом-медиком Карлом Бенни, встречалась и переписывалась с их матерью — англичанкой. Тесная связь писательницы с этой семьей объясняет ее горячую заинтересованность в судьбе Артура.

Когда в России поднялась волна арестов, она с тревогой спрашивала Тургенева, цел ли Бенни, на воле ли он и что делает, и настойчиво внушала: «Вы можете верить ему — он честный и надежный, только, говорят, странный, а странность, говорят, его в том, что никогда ничего никому не поверяет из своих мыслей и намерений. Все это я слышала от его матери, а сама его видела, вы знаете, один раз и заметила в нем сдержанность. Да разве это правда, что он никогда никому не говорит ничего? А его письма к вам?»

Отсюда легко заключить, что Марко Вовчок была знакома с содержанием писем Бенни к Тургеневу и знала о нем больше, чем кто-либо другой. Что же касается упомянутой встречи, то она была не последней.

ТЕМА И ВАРИАЦИИ

Марко Вовчок более чем скупой информировала своих корреспондентов о парижских встречах и впечатлениях, ограничиваясь преимущественно нейтральными фактами. Но и то немногое, о чем говорится в письмах, нередко приходится расшифровывать.

Вот, например, несколько строчек из письма к Макарову: «Сюда приехал Боткин и живет в доме у нас. Его пустили потому, что он слепой — все англичанки теперь от нас разъехались, а американка, хотя и видит, что Б[откин] зрячий, но знает, что был он слепой. Я сижу около него за столом, и он все спрашивает: «Что это несут?»

Если бы не встречные письма Тургенева и Герцена, было бы трудно понять, чем вызвано это ироническое замечание. Оказывается, мнительный Боткин, вообразив, что у него размягчение мозга, сумел убедить в этом Тургенева, а тот уговорил Марию Александровну взять его к себе под присмотр («...он, бедный, очень плох; мозг и зрение поражены. Мы хотим поместить его в тот пансион, где находится М. А. Маркович: она такая добрая — и будет ходить за ним»). Герцен же, зная способность Тургенева поддаваться панике, навел справки у врача и ответил не без ехидства: «Девиль взбесился на тебя за то, что ты писал о его болезни — он говорит, что Боткин здоров, что у него глаза не болят. Каков?»

Казалось бы, совсем незначительный эпизод, но как отчетливо раскрываются характеры всех четырех писателей — Боткина и Тургенева, Герцена и Марко Вовчка!

И еще один пример. В очередном письме к Марковичу упоминается лекция Лабуле, которая ей очень понравилась. Интерес к этому радикальному французскому публицисту и политическому деятелю, возникший благодаря Пассеку, продолжался не один год. Профессор сравнительного правоведения Коллеж де Франс Эдуар Лабуле не скрывал своей неприязни к режиму Наполеона III, и потому его лекции пользовались особым успехом. Марко Вовчок с увлечением читала не только политические памфлеты и «Голубые сказки», но и научные труды Лабуле. Его книгу «Либеральная партия» она горячо рекомендовала Ешевскому.

Одно лишь упоминание, но как обогащается духовный облик писательницы!

На вопросы, что, она делает и чем сейчас занимается, она

отдельвалась дежурной фразой: «Я учусь, читаю, работаю». Эти общие слова повторяются и в письме к Ешевской, а ее муж-историк невольно их прокомментировал, одновременно (в конце 1860 г.) написав из Парижа: «Она работает сильно, берет уроки английского и итальянского языков, пропасть читает и пишет. На днях она кончила прелестную повесть «Лихой человек», которую посылает в «Русский вестник». По-моему, это едва ли не лучшее, что она написала. На малорусском языке написано уже 5 рассказов, уже отправленных в новый малороссийский журнал «Основу». Я крепко боюсь, что она уходит себя... Нельзя протянуть долго, когда спишь по два часа в сутки и обедаешь иногда раз в два, три дня...»

Вот что скрывалось за словами: «Я учусь, читаю, работаю»!

А. В. Маркович, застрявший в поисках службы в Петербурге, стал поверенным в ее литературных делах — вступил в соглашение с Тибленом о повторном издании «Народних оповідань»^[29], отдал в «Русское слово» авторский перевод повести «Три доли», вел переговоры с Белозерским, получал и отсылал за границу гонорары. Одновременно А. В. Станкевич выполнял ее поручения в Москве. По инерции она еще пыталась сотрудничать в «Русском вестнике», но затем прекратила с Катковым всякие отношения и забрала оставленные у него рукописи. Станкевич дал ей понять, что считает предосудительной какую бы то ни было связь с этим перекрасившимся в черный цвет либералом: «Я не должен бы вступать ни в какие отношения с Катковым, но нарушил такой долг в угоду вам. Продолжать же с ним переписку еще далее я не могу *и не должен*».

Несмотря на то, что ее литературные труды в этот период щедро оплачивались, денег катастрофически не хватало: тянулись старые долги, соблазняли непредвиденные расходы, много уходило на пожертвования и на помощь нуждающимся.

О своих благотворительных делах она вспоминала в предсмертной записке: «...во всю жизнь я не оставила никого, кто был на моей дороге больной и несчастный, или казался мне таким, без того, чтобы всем сердцем не стремиться облегчить, помочь... Помню, в Париже, как смешно почти всем — да всем-таки — казалось мое бегать в больницу, на другой конец города затем только, что бы отнести пучок фиалок малоизвестной умирающей женщине. Мне и теперь отрадно вспомнить, как оживлялось бедное, уже бескровное лицо при моем появлении».

Тургенев, по его собственным словам, находившийся «в отношении к М[арье] А[лександровне] в положении дяди или дядьки», отмечал как положительную черту ее характера «наивность и добродушие», но не переставал подтрунивать над свойственной ей безалаберностью, считая,

что она бросает на ветер и время и деньги. «Марья Алекс[андровна] все здесь живет и мила по-прежнему: но что тратит эта женщина, сидя на сухом хлебе, в одном платье, без башмаков, — это невероятно. Это даже превосходит Бакунина]. В полтора года она ухлопала 30 000 франков совершенно неизвестно куда!» — писал он П. В. Анненкову в декабре 1860 года, а тот, включив эти строки в свои воспоминания, добавил от себя: «Это была удивительная натура, без нужных средств для поддержания своих привычек, но с замечательным мастерством изобретать средства для добывания денег, что в соединении с серьезностью, какую дают человеку труд, талант и горькие опыты жизни, сообщало особый колорит личности г-жи Маркович и держало при ней многих умных и талантливых приверженцев довольно долгое время».

В одной из записных книжек Марко Вовчка перечислены денежные поступления приблизительно за три года (1860–1862 гг.). Итоговая цифра приближается к той, что указана Тургеневым. Выходит, что ее заработки были вдвое меньше, чем ему казалось. Но все равно этой большой суммы могло бы хватить на несколько лет безбедной жизни. Марко Вовчок всегда была верна себе: и в годы нужды и в годы процветания тратила деньги без счета и на других больше, чем на себя.

Между тем Татьяна Петровна Пассек не переставала жаловаться Герцену на «козни коварной женщины», разлучившей ее с сыном, и, по словам Ешевского, составила вместе с княжной Шаликовой и другими своими приятельницами «комплот для распространения самых непозволительных историй о Марии Александровне». Слухи о «предосудительном» поведении писательницы дошли до Герцена еще в мае 1860 года, когда он ответил своему сыну Александру, выражавшему сочувствие Т. П. Пассек: «Если есть одно религиозное чувство уважения, идущее вслед за поклонением самоотверженной преданности, то это уважение к благородным талантам».

Позже Герцен заявил Тургеневу, что связь писательницы с «маленьким Пассеком» «ее ни на йоту не уменьшает», «как будто все мы не виноваты перед царем и не грешны перед богом», и даже пытался образумить безутешную Татьяну Петровну: «Великое дело вовремя отпускать на волю — детей, рабов и все, что в неволе. Я родительское бешенство не ставлю в добродетель — сидеть и думать, что дитя в гололедицу упадет — а дитя 25 лет, — ведь это нелепость. Оставьте пока волю — перебесится, лучше будет». Правда, потом Герцен стал думать иначе. Конечно, если бы Мария Александровна чистосердечно рассказала ему о своих отношениях с Пассеком, вызывавших столько пересудов, он отнесся бы к этому не так,

как другие, и воздержался бы от резких замечаний, вроде тех, что содержатся в письмах к Тургеневу: «Имей она себе десять интриг, мне дела нет — и, конечно, я не брошу камня. Но общая фальшивость — дело иное... Ведь Ж. Санд не оттого великая писательница, что много пакостей делала».

Скрытный характер и ощущение враждебной атмосферы удерживали Марию Александровну от откровенности именно с тем, кто в трудные минуты мог бы протянуть ей дружескую руку. Она не решилась, а Татьяна Петровна, ездившая в Лондон в августе 1861 года, выставила ее в столь дурном свете, что Герцен прекратил с Марко Вовчком переписку и лишь в конце шестидесятых годов сменил гнев на милость, если можно считать «милостью» полуофициальные отношения.

Эта шумная история отразилась и на дружбе писательницы с Тургеневым, хотя разрыв произошел позже и совсем по другим причинам. А сейчас Иван Сергеевич старался отговорить ее от давно задуманного путешествия в Италию и, разумеется, переубедить не смог.

1 марта 1861 года она выехала с Богданом и Пассеком в Рим, где их уже дождался Ешевский. Тургенев послал ей напутственное письмо: «Может быть, Вы хорошо сделали, что поехали... Будем думать, что хорошо, так как теперь это уже вернуть нельзя. Постарайтесь по крайней мере извлечь всевозможную пользу из Вашего пребывания в Риме: не млейте, сидя по часам обок с Вашими, впрочем, милейшими приятелями; смотрите во все глаза, учитесь, ходите по церквам и галереям. Рим — удивительный город: он до некоторой степени может все заменить: общество, счастье — и даже любовь». И тут же Тургенев сообщал, что Татьяна Петровна вызвала его запиской для переговоров о *важном* деле: «Смутно предчувствую, о чем сия дама будет со мной беседовать — но от меня она немного толку добьется — и, вероятно, почувствует ко мне антипатию».

Но не прошло и двух дней, как под нажимом Татьяны Петровны он отправил в Рим «свирепое письмо», а вслед за ним — еще одно, с «дружеским предостережением»: «Вы сами убедитесь, что Вам нельзя продолжать идти по той же дорожке. А впрочем, у каждого свой ум в голове».

Писательница сдержанно возразила: «Вы слишком скоро обвиняете. Как это вы можете в один день так переменяться? Если бы я писала все то, что я слышала, сколько бы мне пришлось писем вам написать таких с тех пор, как я вас знаю. Очень, очень много писем. Вот теперь вспомнилось мне, что говорили многие: «Он не злой человек, но его все можно заставить

сделать». «Его все можно заставить сделать, хотя он и добрый человек». Или это правда? Я все-таки вас спрашиваю — скажите вы мне, правда ли это».

Тургенев обиделся. После новой серии взаимных упреков последовали уверения в преданности.

«Вы говорите, — писал он из Спасского, — что преданы мне *навсегда*. Это много значит — но я Вам верю, хотя Вы— не без хитрости, как сами знаете. Что я Вам предан — это несомненно; но, кроме этого чувства, во мне есть другое, довольно странное, которое иногда заставляет меня желать Вас иметь возле себя — как в моей маленькой парижской комнате — помните? Когда мне приходят в голову наши тогдашние беседы — я не могу не сознаться, что Вы престранное существо и что Вас разобрать очень трудно».

Марко Вовчок, подтвердив свои дружеские чувства, ответила в том же тоне: «Отчего же вам и не верить, что я вам Предана, когда это правда. Я вам предана всегда и верно. Вы для меня лучше многих, многих, многих людей, но видно, я не за то люблю вас, потому что бывало время, когда вы казались хуже, и я тогда вас все так же любила.

А вы, пожалуйста, будьте лучше».

Эта эпистолярная дуэль продолжалась еще не один месяц. Оба они были искренни, и оба заблуждались. Дружба боится фраз. Как только друзья начинают выяснять отношения и говорить о взаимной преданности, значит дружба не выдержала испытаний.

РИМ — НЕАПОЛЬ — ФЛОРЕНЦИЯ

Итальянское путешествие оказалось во всех отношениях удачным и благотворно отразилось на писательской судьбе Марии Александровны. Отдалившись от Тургенева и потеряв расположение Герцена, она обрела новых друзей — Добролюбова и Чернышевского.

В Италии она провела четыре с половиной месяца — до середины апреля в Риме, потом в Неаполе и Флоренции, затем снова в Риме, на обратном пути — несколько дней в Венеции и Милане, и в середине июля вернулась через Женеву в Париж.

Профессор Ешевский, знаток искусств и римских древностей, сопровождал ее в прогулках по Риму и знакомил с достопримечательностями Вечного города. «Я очень много хожу — гуляю, смотрю, — писала она Тургеневу. — Мне и снятся все — статуи, цветы, картины, развалины, ясное небо. В Колизей ходили с Ешевским, и я взобралась на самый верх, а там на окно — и едва сошла. Мне с[обор] Петра не нравится, как обещали мне, — точно дворец, как подходишь, — а велик очень. Я недавно забрела в чей-то двор и долго стояла там — все двери заперты, ни души нет — фонтан бьет, и цветы цветут».

Вторичное посещение собора Петра во время пасхальной службы навело на раздумья о декоративной пышности католических обрядов, словно подчеркивающих грозную силу Ватикана. Роскошное убранство, блеск, позолота, толстые монахи, страшные старики кардиналы в кроваво-красных мантиях, надменные вельможи, незримой стеной отделенные от простого народа, и сам Пий IX, духовный и светский властитель, в ослепительном облачении, с лицом добродушного хозяина. Все упали на колени, когда папу вынесли на руках, как праздничный пирог. И смешно, и странно, и жутко было все это наблюдать...

Из массы впечатлений она выхватывает лишь отдельные, поразившие ее подробности или бегло перечисляет факты, как в письме к Тургеневу из Неаполя: «Здесь был и Бородин. Я его видела каждый день, и вместе мы ездили на Байский берег и всходили на Везувий и в Геркуланум ходили». Но из архивных источников мы знаем, что там был и поэт Щербина, безуспешно пытавшийся выполнить тайное дипломатическое поручение Татьяны Петровны — «представить Саше весь позор открытых отношений с замужней женщиной», рассорить и разлучить его «с волчицей».

Своеобразным комментарием к итальянскому путешествию Марко

Вовчка могут слойть воспоминания Екатерины Юнге, которая жила в это время с родителями в Италии и ездила по тем же маршрутам. В Риме и Флоренции обреталось тогда немало русских, среди них знакомые Марии Александровны — Ростовцевы и Милютины. И в том и в другом городе селились небольшими колониями русские художники. Михаила Петровича Боткина она не раз упоминает в письмах, но лишь потому, что им интересовался Тургенев, и ничего не говорит о своих встречах во Флоренции с Николаем Ге и его закадычным другом Александром Бакуниным, братом революционера-анархиста.

Она видела в Италии все, что полагалось видеть туристу, все, что так обстоятельно описывает Е. Ф. Юнге, — руины, оставшиеся от седой старины, и оборванных лаццарони, осаждающих экипажи богатых иностранцев, галерею Уффици во Флоренции и то место на набережной Арно, где, по преданию, Данте впервые встретился с Беатриче, картинные красоты Неаполя и знаменитый «собачий грот», куда водили каждого экскурсанта, и многое, многое другое, о чем умалчивает Марко Вовчок, избегая банальных описаний. Но иногда брошенное вскользь замечание дает почувствовать, в какой она очутилась накаленной атмосфере и как воспринимала события, к которым было приковано внимание всего мира.

Италия переживала боевой период. После свержения неаполитанских Бурбонов и провозглашения королем Виктора-Эммануила весь Юг оказался под властью савойской династии. Гарибальди, вынужденный под давлением монархических сил распустить армию краснорубашечников, не только не сложил оружие, но стал готовиться к походу на папский Рим, находившийся под охраной французских войск. В дальнейшем предстояло освободить еще несколько миллионов итальянцев, томившихся под австрийским гнетом в Венецианской области. О подвигах Гарибальди слагались легенды. Народного полководца чествовали как национального героя. И хотя в Риме это было строгойше запрещено, даже продавщицы цветов, как могли, выражали свое сочувствие освободительной борьбе — букеты из красных и белых камелий, обложенные зелеными листьями, напоминали римлянам о трехцветном национальном флаге.

Весенний карнавал 1861 года сопровождался по обыкновению факельным шествием. В отсветах пламени у многих юношей виднелись трехцветные галстуки, но как только в толпу врывались карабинеры, галстуки исчезали. Зато иностранцы, не страшась преследований, открыто носили броши с надписью «Viva Garibaldi».

В один из весенних дней, когда Рим находился на осадном положении, Марко Вовчок заметила в письме к Я. П. Полонскому: «Солдат везде тут

встретишь, ходят толпами. Особенно вчера — вчера были именины Гарибальди — солдаты стояли на всех улицах, и народ не собирался — на площади del popolo было даже как будто меньше, чем в будни, и тише. Что-то похоже на ту тишь здесь, какая бывает перед бурей».

А в Неаполе, где славить Гарибальди не возбранялось, на улицах непрерывно звучали гарибальдийские гимны, повсюду были вывешены его портреты, и в каждой trattoria пили за его здоровье. Марко Вовчок видела в неаполитанском цирке пантомиму, дававшуюся трижды в день несколько месяцев подряд: сражение на лошадях, оглушительная стрельба, изгнание «австрийцев» и в апофеозе появление «Гарибальди» — на белом коне, во главе отряда краснорубашечников, выпускавших из ракетниц зеленые, белые и красные огни. Всему представлению сопутствовали восторженные крики, а в финальной сцене экспансивные зрители забрасывали «Гарибальди» цветами и срывались с мест — поздравить руку актеру.

Писательница послала из Неаполя своему Немировскому приятелю Дорошенко портрет Гарибальди; позже, читая его «Записки», восхищалась его верной подругой Анитой, делившей с ним все невзгоды и радости; в зимней, завьюженной Москве, в день Николая-угодника, вспоминала солнечный Неаполь: «Оглушительный звон в колокола и суэта такая, точно Гарибальди празднуют». Легко себе представить ее радость, когда в 1864 году она узнала, какой тост провозгласил Гарибальди в лондонском доме Герцена: «Теперь выпьем за новую Россию, которая страдает и борется, как мы, и победит, как мы, за новый народ, который, освободившись и одолев Россию царскую, очевидно, призван играть великую роль в судьбах Европы».

ВЕСТИ ИЗ РОССИИ

19 февраля 1861 года были подписаны и 5(18) марта опубликованы «Положения» о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости. Личная свобода при сохранении экономического бесправия оставалась свободой лишь на бумаге. «Старое крепостное право заменено новым. Вообще крепостное право не отменено. Народ царем обманут», — заявил Огарев на страницах «Колокола».

В таком же духе высказывались все революционные демократы и совсем иначе — либералы. В. П. Боткин, услышав от Николая Успенского, что тот не верит ни в царя, ни в освобождение, обругал его «заскорузлым невеждой» и выложил, не стесняясь, все, что думает: «Новые положения, недавно объявленные правительством, — превосходны, и пусть ваш мужик околеет, если не воспользуется этими положениями».

Русское посольство в Париже украсилось флагами. 22 марта Тургенев писал Анненкову: «В прошлое воскресенье мы затеяли благодарственный молебен в здешней церкви, и священник Васильев произнес нам очень умную и трогательную речь, от которой мы всплакнули. «...Дожили мы до этого великого дня», — было в уме и на устах у каждого». В приподнятом настроении Тургенев поспешил в Россию улаживать дела с мужиками. По дороге в Сясское он видел, как горели усадьбы, а в Туле застал мужа своей приятельницы, генерала царской свиты Ламберта, посланного умирять бунтовщиков.

После обнародования манифеста только за четыре месяца было подавлено 647 восстаний. Весной 1861 года в Петербурге и Москве происходили первые уличные демонстрации студентов. В сентябре появилась прокламация Шелгунова и Михайлова «К молодому поколению», отпечатанная в лондонской типографии Герцена. В конце того же года братья Серно-Соловьевичи и их единомышленники, близкие к «Современнику», создали тайную революционную организацию «Земля и воля». Россия жила ожиданием революции.

А Марко Вовчок? Как она отнеслась к реформе? Не сказала ни слова... по крайней мере в письмах. Но спустя несколько лет в романе «Записки причетника» выразила свое отношение к реформе устами старой крестьянки: «Ступа только другая, а толченье то самое!»

...В Петербурге умирал Шевченко. Безнадежно больной поэт с нетерпением спрашивал навещавших его: «Що?., е!.. е воля? є манифест?..

Так нема?.. Нема?.. Коли ж воно буде?!»

До оглашения манифеста он не дожидился нескольких дней. А уж он-то не удержался бы от крепких слов!

26 февраля (10 марта) А. В. Маркович вместе с Таволгой-Мокрицким^[30] пришли рано утром проведать Тараса Григорьевича в Академию художеств и увидели на столе еще не остывшее тело. Сраженный горем Афанасий только и мог вымолвить: «Боже ти мій, яка сила пішла в домовину!»

Мокрицкий, услышав эти слова, в тот же день написал стихи и прочел их на панихиде:

*...Плачте, очи, виливайте
до сльозинки, до росини.
Боже ти мій! Яка сила
Пішла в домовину...*

Похороны поэта вылились в общественную манифестацию.

Вся Университетская набережная от Дворцового до Николаевского моста была запружена народом. «В этот день, — вспоминал писатель С. Терпигорев, — шел сильный снег и хлопья его так и валились, покрывая землю, и экипажи, и лошадей, и людей, которые шли и ехали за печальным шествием».

А в Риме светило солнце и распускались цветы. Марко Вовчок, еще не зная о смерти Шевченко, робко укоряла его за долгое молчание, просила беречься и не пренебрегать советами любящих людей: «Чую, що Ви усе нездужаєте та болієте, а сама вже своїм розумом доходжу, як-то Ви не бережете себе і які сердиті теперь. Оце добрі люди скажуть: «Тарас Григорович! Может, Ви шапку надінете: вітер!» — а Ви зараз і кирею з себе кидаєте. «Тарас Григорович, треба вікно зачинити — холодно...» — а Ви хутенько до дверей — нехай на стежі стоять. А самі Ви тільки одно слово вимовляєте: «одчепіться», та дивитесь тільки у лівий куток. Я все те добре знаю, та не вбоюся, а говорю Вам і прошу Вас дуже: бережіте себе. Чи таких, як Ви, в мене поле засіяне?..»

Письмо «названной дочери», оказавшееся ее прощальным словом, было опубликовано Максимовичем в июньской книжке «Основы» в редакционной статье «Значение Шевченка для Украины».

«Как понравилось мне письмо ваше к Шевченку, в нем я узнал вас такую, какую знал в Немирове», — писал Марии Александровне

Дорошенко после перенесения праха поэта на украинскую землю. «Едва ли кому другому были оказаны такие почести», — рассказывал он писательнице. А Мокрицкому вспомнилось, когда он прочитал ее письмо, как Шевченко, будучи последний раз на Украине, летом 1859 года заезжал к нему в Пирятин и говорил только о ней, о Марусе Маркович; как он пел ее песни, те, что она пела ему в Петербурге, и вдруг оборвал себя на полуслове: «Да нет, — говорит, — далеко куцему до зайца. Так никому не спеть!»

Почтить память Шевченко она считала своим священным долгом. Прощаясь с Тарасом Григорьевичем, Марко Вовчок дала ему слово написать «много-много» сказок. Мария Александровна начала сочинять их в Италии, закончила в Париже и снова вернулась к сказкам в последние годы жизни. Это наиболее значительные после «Народних оповідань» ее произведения на украинском языке.

РАБОТА

Чем дольше писательница жила за границей, тем острее чувствовала кровную связь с родиной. Все ее помыслы были обращены к далекой России, пробуждавшейся от векового сна. Все, что она видела и узнавала на Западе, обогащало ее духовно, но в оригинальном творчестве никак не отразилось, если не считать парижских очерков. Марко Вовчок могла бы сказать о себе то же, что Гоголь в письме из Рима: «Ни одной строки не мог посвятить я чуждому. Непреодолимою цепью прикован я к своему, и наш бедный, неяркий мир наш, наши курные избы, обнаженные пространства предпочел я небесам лучшим, приветливее глядевшим на меня».

Гоголь стал ее наваждением. Она не могла отделаться от мысли, что и он ступал по тем же каменным плитам, бродил по тем же улицам, останавливался перед теми же зданиями, хранившими на себе печать тысячелетий. И как было не подумать, что, может быть, в этой самой или очень похожей комнате Гоголь писал «Шинель» и страдал над «Мертвыми душами»...

Комната, которую испокон веков сдавали приезжим, располагала к работе — «высока и велика, так что мы, кажется, стали меньше, светлая и чистая. У нас на стенах в золотых рамах картины, есть вид Неаполя, около него с обеих сторон рыбы; монахи несут умирающего, охота; Юпитер, Марс и Мадонна. Перед зеркалом стоит Марк Аврелий с одною рукою. У нас бюст какого-то старика и бюст молодой женщины. Ходит прибирать у нас хорошенькая девочка с черными глазами — все улыбается она».

И по какому-то странному, а быть может, и не совсем уж странному, совпадению Марко Вовчок, возбужденная красочным зрелищем весеннего римского карнавала, писала здесь гротескно-сатирическую «пасхальную» повесть — «Тюлевую бабу», напоминающую по сюжету и по интонациям «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».

Соперничество двух помещиц в искусстве изготовления куличей переходит в смехотворную баталию, в которую постепенно втягиваются дворяне всего уезда. И когда Глафира Ивановна, сотворившая чудо из чудес — ни с чем не сравнимую «тюлевую бабу», выигрывает сражение, посрамленная Анна Федоровна, чтобы окончательно не уронить свою репутацию, приносит городничему жалобу на еврея Мошку, якобы продавшего ей сырую муку. Мошку сажают в острог, и война между тем

продолжается. «Глафира Ивановна и Анна Федоровна перестали бывать друг у друга и по-прежнему друг другу жизнь отравляют».

Умению выворачивать наизнанку пустопорожние души «существователей», раскрывать их никчемность и убожество через броские бытовые детали Марко Вовчок училась у Гоголя. Но неверно было бы думать, что это только подражание. К творческому опыту великого предшественника она обратилась, будучи уже признанной писательницей. Отказавшись от фольклорной поэтики «Народных рассказов», Марко Вовчок, прежде чем внести свой вклад в русскую демократическую беллетристику шестидесятых годов, должна была отточить реалистическое мастерство, обогатить свои художественные возможности, выработать эпический стиль. И потому гоголевская школа была в ее литературном развитии необходимым и, пожалуй, даже неизбежным этапом.

Однако не все это поняли. Шелгунов, например, считал, что сатирические повести из дворянского быта логически должны были бы предшествовать «Народным рассказам». Но ведь крепостное право и порожденные им понятия — две стороны одной медали. «Идиотизм помещицкой жизни» так же неотделим от архаических общественных отношений, как паразитическое сознание от паразитического бытия. В цикле повестей, начатых «Червонным королем», Марко Вовчок показала это средствами иронии и гротеска. И то, что она хотела и могла выразить, лучше всего поясняется рассуждением Салтыкова-Щедрина о «болоте», порождающем «чертей»: «Как не смеяться над ними, коль скоро они сами принимают свое болото всерьез и устраивают там целый нелепый мир отношений, в котором бесцельно кружатся и мятутся, совершенно искренне веря, что делают какое-то прочное дело!»

...Частые переезды и постоянная смена впечатлений не сбивали творческого настроения. Скорее наоборот — ей давно так хорошо не работалось, как в эти месяцы. Рано утром, пока Богдась еще спал, а Пассек, живший в соседнем доме, ждал приглашения к завтраку, она успевала выполнить свой каждодневный урок — добавить к написанному накануне три-четыре страницы.

Закончив «Тюлеву бабу», Марко Вовчок написала еще одну повесть — «Глухой городок», где впервые у нее появляется образ человека нового склада — разночинца, бросившего вызов сильному миру сего: учитель Григорий Крашовка похищает шестнадцатилетнюю Настю, воспитанницу городничего, которую собираются выдать насильно за богатого старика. Фольклорный мотив — «умыкание невесты» — был уже использован писательницей в рассказе «Отец Андрей». Но здесь детально

обрисованный бытовым фон и психологически точные, хотя и шаржированные, образы антагонистов влюбленной пары (городничий, его жена и престарелый жених) переводят повествование в реалистическую тональность.

«Глухой городок» посвящен неизвестному лицу — М. М. С. Среди многочисленных знакомых Марии Александровны как будто никого не было с такими инициалами. А нет ли тут тайного смысла? Может быть, эти три буквы означают — «Моему милому Саше»? В Италии закрепился ее союз с Пассеком, а открыто посвятить ему повесть она не могла. Торжество молодых влюбленных, не покорившихся чужой воле, и другие биографические реминисценции делают это предположение вероятным.

В тот период Марко Вовчок часто печаталась в «Русском слове». На протяжении одного года — с июня 1861 по май 1862 — она поместила здесь четыре вещи (кроме «Тюлевой бабы» и «Глухого городка» — «Три доли» и начало рассказа «Пройдисвет»). К тому времени «Русское слово» становится в руках Благосветлова оппозиционным изданием, близким по направлению к «Современнику». Успеху «Русского слова» в демократических кругах немало способствовала боевая публицистика Писарева, привлеченного к постоянному сотрудничеству. И он же, конечно, содействовал продвижению в этот передовой журнал произведений Марко Вовчка.

Встреча в Неаполе с Добролюбовым открыла перед ней двери «Современника».

ОТКЛИКИ И ОТГОЛОСКИ

Воинствующая статья Добролюбова «Черты для характеристики русского простонародья» явилась толчком к продолжению споров о творчестве Марко Вовчка. Журнальная битва завязалась на этот раз вокруг «Рассказов из русского народного быта», в которых критик видел верное отражение действительности и превосходный пример служения искусства «общей пользе».

В период подготовки реформы говорить в печати о крепостном праве снова запретили. Статью удалось напечатать с урезками, но и в смягченном виде она была принята на вооружение передовой молодежью и еще больше озлобила недругов, обвинявших Добролюбова в грубом утилитаризме и посягательстве на свободу творчества. Все, кого не устраивали эстетические принципы, провозглашенные «Современником», пытались дискредитировать и «Народные рассказы».

Первым бросился в атаку Достоевский. В полемической статье «Г-бов и вопрос об искусстве» («Время», 1861, кн. 2) он не только поставил под сомнение высокую оценку таланта Марко Вовчка, но доказывал с нескрываемой издевкой, что тенденциозное начало убивает в ее рассказах всякую художественность и великая идея подается в смешном, чуть ли не в балаганном, виде. И если в рассказе «Маша» Добролюбов находил непосредственное выражение зреющего в народе протеста, то Достоевский — сплошную фальшь и натяжки.

На защиту писательницы снова выступил Константин Леонтьев и опять оказал ей медвежью услугу. Похвалы самобытному таланту чередуются в его пространной статье «По поводу рассказов Марка Вовчка («Отечественные записки», 1861, кн. 3) с настойчивыми советами больше думать о форме и «не раздувать искр». Леонтьев готов был даже признать в ее таланте «новое направление», но — вопреки Добролюбову — только в приемах, в языке, в изложении, а не в исходных идеях. Во всем остальном он не расходится с Достоевским.

Не упустил случая свести счеты с «Современником» и новый редактор «Библиотеки для чтения» Писемский. Поставив своей целью во что бы то ни стало опровергнуть утверждения Добролюбова: «Книжка Марка Вовчка верна российской действительности», он ополчился на «Лихого человека» — более поздний и наименее типичный рассказ, не дающий, во всяком случае, оснований для обобщающих негативных выводов.

Ввязались в полемику и газеты.

О том, что ее произведения стали первопричиной еще одной литературной баталии, писательница узнала от Добролюбова.

Познакомились они в начале мая. Ему было двадцать пять лет. Борода и усы делали его не по возрасту солидным, а в глазах, внимательных, умных глазах, светились лукавые огоньки, и открытое юношеское лицо казалось таким добрым и доверчивым, как будто он нарочно сам себе выбрал фамилию, подходящую к облику и душевному складу. Он старался не говорить о своей болезни, выглядел веселым и жизнерадостным, но в те минуты, когда его душил кашель, с виноватой улыбкой подносил к губам и торопливо прятал забрызганный кровью платок.

Добролюбов выражал свои взгляды четко и определенно, пренебрегая устойчивыми репутациями и не считаясь ни с какими авторитетами. Он горячо доказывал неправоту Тургенева в споре с редакцией «Современника», которая, после того как окончательно определились позиции журнала, не могла поступаться основными идеями ради некоторых, пусть даже и очень талантливых, сотрудников, не желавших признавать, как говорил Добролюбов, новых требований жизни. Либералы, с их половинчатостью, вечными колебаниями, готовностью по всякому поводу идти на уступки, казались ему опаснее ретроградов. С теми по крайней мере легче бороться: они видны насквозь, и каждый знает, что у них за душой... И о чем бы ни заходила речь, Добролюбов с презрением отзывался о либералах, внушая мысль о необходимости и неизбежности размежевания литературных сил накануне событий, решающих исторические судьбы России.

Мария Александровна могла теперь сопоставить разные точки зрения и сознательно принять сторону «Современника». Много лет спустя она сделала признание, в котором еще слышны отголоски полемики шестидесятых годов: «Знакомство с Добролюбовым было... недолгое, но воспоминаний оставило много, и я могла бы много рассказать о нем, хотя виделись мы всего какой-нибудь месяц или два. Он обращал меня, что называется, в свою веру и много говорил — говорил о всем и всех. Предупреждаю, что отзывы его о многих, которые пользуются «симпатиями русской публики», были более чем непочтительны. Особенно горько и язвительно осмеивал он Тургенева. Много говорил о Некрасове, Чернышевском. Одним словом, открыл мне глаза на многое и многих».

Несокрушимая добролюбовская логика все поставила на свои места. В письме к Тургеневу из Неаполя содержится недвусмысленный подтекст: «Здесь я встретила Добролюбова и выдаю его каждый день. Он хороший

какой человек и как не думает о том, что он вот как хорош, и об этом не напоминает никому».

И тут же она отвергает предвзятые суждения о Некрасове. Ей и раньше не очень-то верилось, что он «человек нехороший, пропащий», а сейчас, когда слышит о нем другое, и подавно не верится. Да и может ли быть «пропащим» «тот, кто так говорит, как он»? (читай: тот, кто пишет такие стихи).

В ином свете предстал перед ней и Чернышевский: «Я его никогда не видела, но по всему он должен быть совсем хороший человек».

Круг замкнулся. Критик «Современника» утвердил ее в своей правоте.

НОВЫЕ ЛЮДИ

Мария Александровна опять очутилась в бедственном положении. Ни один журнал не прислал в Неаполь обещанных денег, а прибывшее нежданно-негаданно пособие от Литературного фонда вместо Маркович получил какой-то Милькович, которого так и не удалось разыскать. Пассек тоже поиздержался. Хороши бы они были без гроша в чужом городе, если бы Добролюбов не одолжил 500 франков! И тут же он известил Чернышевского о согласии Марко Вовчка сотрудничать в «Современнике», попросил выслать ей аванс и помочь с изданием новой книги рассказов. Не прошло и двух недель, как Чернышевский договорился с Кожанчиковым и перевел через Некрасова вексель на полторы тысячи франков.

В мае она сообщила Афанасию: «Спасибо Чернышевскому, что пишет и все приводит в порядок. Этого не нужно просить — сам делает, что может. В июле писала Тургеневу: «Мои дела поправились, как говорится, потому что за них взялся Чернышевский».

В августе Добролюбов вернулся в Петербург и завершил переговоры с издателем: «Кожанчиков рассчитал, что неблагоприятно будет печатать более 2000 экземпляров и назначить цену более 1 рубля». За вычетом накладных расходов издание могло принести тысячу рублей, из коих автору полагалось пятьсот. И хотя дело шло о книге популярной писательницы, содержащей такие произведения, как «Лихой человек», «Институтка», «Ледащица», «Червонный король» и «Три доли», издатель не согласился на лучшие условия и не рискнул повысить тираж.

Сборник «Новых повестей и рассказов» Марко Вовчка, демонстративно посвященный Татьяне Петровне Пассек, 27 августа прошел цензуру. Кожанчиков немедленно выплатил первый взнос.

Покончив с этим делом, Добролюбов занялся финансовыми отношениями Марии Александровны с «Основой» и «Русским словом». Все оказалось сложнее, чем она думала. Значительную часть «основского» гонорара поглотили долги Афанасия, а деньги из «Русского слова» хранились почему-то у редактора «Основы». После нескольких напоминаний Белозерскому пришлось раскошелиться, а потом должен был подвести итог и прижимистый Благосветлов.

Да, нелегко было жить на литературные заработки, не имея иных доходов! Добролюбов и Чернышевский знали это по собственному опыту. В отличие от многих они не отделялись пустыми обещаниями-и не

боялись обременительных хлопот. В течение нескольких месяцев, пока Добролюбов стоял на страже ее интересов, Марко Вовчок чувствовала под ногами твердую почву. И как ей ни претили громкие фразы, выразила ему признательность: «Надо мне вас назвать моим благодетелем, Николай Александрович, да вас и можно, вы после не будете на меня смотреть задумчиво или вздыхать при слове: благодарность. Вы в третий раз мне помогли уже». И, обратившись с очередной просьбой, добавила: «Надо вам сказать, что мне не тяжело вас просить об этом и я не выискиваю, чем бы в будущем отплатить добром за добро — да и не выищешь для вас ничего — вы не хотите ни злата, ни фимиама, как говорится. Или вы вправду ловите души людские, как о вас говорят?»

Добролюбов ей казался олицетворением гражданской совести и самоотверженной доброты. Слово у него не расходилось с делом. Его высокие общественные идеалы, благородство и душевная щедрость отвечали сложившимся представлениям о рыцарях чести и долга, которым история поручила творить будущее.

Образ Добролюбова стоял перед ее внутренним взором, когда она писала для «Современника» повесть «Жили да были три сестры», задуманную и начатую в духе прежних гротескно-сатирических повестей из уездного дворянского быта и превратившуюся после встречи в Неаполе в программное произведение русской демократической прозы. Здесь намечены, правда пока еще очень эскизно, образы «новых людей» и дается ответ на вопрос критика: «Когда же придет настоящий день?» — в том смысле, что герой повести Григорий Саханин смело может быть назван «русским Инсаровым».

Откликаясь на зовы времени, Марко Вовчок кое в чем даже предвосхитила концепцию романа Чернышевского «Что делать?». Это была смелая и едва ли не первая попытка показать революционного деятеля, выросшего на отечественной почве.

...Отвратительная среда. Парниковое воспитание барышень. Старшая сестра Варя, обманувшись в любви, грустит в одиночестве: вторая — Оля — выходит замуж за «дикого помещика», который выгнал когда-то из дому первую жену и отрекся от сына, принятого из милости к родственникам. Светлые порывы гаснут. Пассивное отношение к жизни и неспособность противостоять злу — истинная причина злополучия обеих сестер. Но зато младшая — Соня — не родная, а приемная дочь помещицы Вороновой, как и все героини Марко Вовчка, — активная, деятельная натура. Ее привлекательный образ во многом автобиографичен, и читатель сразу догадывается, что это человек иного склада: «Софья Васильевна была

красавица, да не только красавица, а еще чрезвычайно пытливая девочка... Она читала много и жадно, читала все, что попадалось под руку. Любимых писателей еще у ней не было, — она всеми дорожила, и когда, бывало, Варя, чтобы ее подразнить, показывала две книги и спрашивала, которую из двух Соня хочет, — у Сони глаза разбегались: она хотела обе. Ей всего двенадцать лет минуло, а она уже рассуждала о любви и ненависти, о добре и зле и говорила, что на земле прочного счастья нет».

Добролюбов, получив из Парижа первую часть повести, писал Марии Александровне: «Мы нетерпеливо ждем конца «Трех сестер»; особенно третья-то меня интересует, — должно быть, хорошая из нее выйдет девушка». И в другом письме: «По цензуре, мне кажется, «Три сестры» совершенно безопасны и прочтутся не без удовольствия».

В действительности же вторая часть оказалась далеко не «безопасной». Замысел раскрывается только в последних главах, где Григорий Саханин, приехавший проститься с умирающим отцом, увлекает Соню своими пылкими речами о богатстве и бедности, о счастье положить душу за друга своего, отдать жизнь за правду и добро. «Пока будешь беречь себя, до тех пор ничего не добьешься», «Если один пропадет, другому легче будет правды добиться», — повторяет Гриша.

Читатели понимали эзопов язык. Какой политический смысл вкладывался в эти изречения, видно хотя бы из стихов Некрасова:

*Иди в огонь, за честь отчизны,
За убежденья, за любовь...
Иди и гибни безупречно.
Умрешь недаром... Дело прочно,
Когда под ним струится кровь..*

Гриша долго не засиживается на одном месте, пишет и получает какие-то таинственные письма. По мнению приживалки, он «сам себе готовит какой-нибудь капкан, и трудится над этим, и спешит, и радуется». Получив долгожданное известие, он прощается с Соней и уезжает. А затем и она расстается с сестрами, чтобы разделить с Гришей его тревожную жизнь.

Позже писательница добавила многозначительные слова, отсутствующие в журнальной публикации:

«Быстро катился экипаж, оставляя за собою знакомые места.

Сонино измученное лицо было ясно, и в ее заплаканных глазах светилось что-то похожее на тихое счастье — то счастье, когда после

долгих мук неизвестности человек, наконец, выпущен на дорогу, не усыпанную розами, но единственно для него желанную.

— Наконец-то! — проговорила Соня».

Повесть серьезно пострадала от цензуры, целиком вымаравшей две предпоследние главы и значительную часть последней, в которых, по-видимому, изображалась революционная деятельность «новых людей». Ввиду отсутствия рукописи купюры, обозначенные в тексте отточиями, вряд ли удастся восстановить^{31}. Так думают текстологи. Но можно предположить и другое. Не сама ли писательница прибегла для обхода цензуры к фигуре умолчания и умышленно скомкала конец? Здравая логика должна была навести искушенного читателя на мысль о содержании «запретных» глав. Подобным приемом пользовался еще Пушкин в «Евгении Онегине»^{32}.

Как бы то ни было, «Три сестры» оставляют впечатление незавершенности. В письме к Добролюбову от 29 октября 1861 года Марко Вовчок обещала в скором времени прислать *третью часть* «Сестер», а в середине ноября сообщила: «Посылаю вам последнюю часть работы». Не совсем ясно, что же она послала в Петербург: бесследно сгинувшую третью часть или конец второй. Последнее, пожалуй, вернее. Одиннадцатая книга «Современника» с окончанием «Трех сестер» была завизирована цензором только 14 декабря.

И вообще история ее сотрудничества в «Современнике» — уравнение с несколькими неизвестными. Расставаясь с Добролюбовым, она вручила ему одну из своих рукописей, о которой напомнила спустя три месяца: «Начало работы, что я дала вам в Неаполе, пусть будет у вас пока — когда кончу, я тоже отдам вам, если захотите». Видно из контекста, что речь идет не об одном, а о двух произведениях. «Три сестры» были уже отправлены в Петербург с доверительным пожеланием: «Когда будете перечитывать, что лишнее будет — вы зачеркните, поправьте, прибавьте, как знаете». По методу исключений можно догадаться, что Добролюбов получил от нее в Неаполе набросок «Глухого городка». Позже писательница пообещала прислать еще одну повесть.

Теперь мы знаем, что обещание было выполнено. В архиве А. Н. Пыпина, близко стоявшего к «Современнику», найден корректурный оттиск рассказа «Пройдисвет» — об украинском наймите, полюбившем дочку своего хозяина^{33}. Начало этой вещи напечатано в «Русском слове» (1862, кн. 5), а на страницы «Современника» ни «Пройдисвет», ни «Глухой городок» не попали, несмотря на то, что в рекламных заметках Некрасова о

программе «Современника» на 1862 год имя Марко Вовчка упоминается наряду с Успенским, Островским, Григоровичем, Салтыковым-Щедриным и другими писателями, которые пользуются «постоянным сочувствием публики» и чье сотрудничество «вполне обеспечено в будущем году».

Желание Марко Вовчка сотрудничать в «Современнике» в ту пору, когда Тургенев вместе с группой либеральных писателей бесповоротно порвал с Некрасовым, Чернышевским и Добролюбовым, было открытым выражением солидарности с направлением передового журнала.

И не ее вина, что связи с «Современником» оборвались так же резко и внезапно, как и с «Русским словом». В июне 1862 года оба журнала были приостановлены на восемь месяцев. Именно по этой причине не последовало продолжения рассказа «Пройдисвет», который в русском варианте полностью удалось напечатать только в 1864 году, в малораспространенной газете «Русь», а на украинском языке, если не считать отрывка, помещенного в львовском журнале «Вечерниц!», при жизни писательницы он оставался под спудом.

Реакция перешла в наступление. Осенью 1861 года был арестован один из ведущих сотрудников «Современника», известный поэт и публицист, поборник женского равноправия, Михаил Ларионович Михайлов. Тогда же начались повальные аресты среди студентов Петербургского университета и гонения на либеральных профессоров, осмелившихся заявлять протесты.

До Парижа доходили тревожные вести. Распространились слухи об аресте Чернышевского. Марко Вовчок спрашивала в каждом письме: «Что там с вами? Я слышала, что Н[иколая] Г[авриловича] нет в Петербурге и не будет»; «Благополучны ли вы оба? Здесь все ходят слухи разные — тот одним придет помучает, другой — другим. Пожалуйста, почаще пишите, благополучны ли вы?»; «Что с Н. Г. и что с вами?»

Чернышевский пока еще был на свободе, а Добролюбов доживал последние дни. Прикованный к смертному ложу, он правил гранки «Новых повестей и рассказов» Марко Вовчка и, не догадываясь, что это его последнее письмо, ободрял писательницу: «Моя болезнь немножко приостановила работу; но теперь опять надеюсь не задерживать их корректуры. К рождеству книжка выйдет во всяком случае...»

17(29) ноября 1861 года Добролюбова не стало.

Чернышевский и Некрасов произнесли на Волковой кладбище прощальные речи, Михайлов «из своей клетки» в Петропавловской крепости откликнулся скорбным стихотворением, а Марко Вовчок, не зная, как жестоко с ней шутит судьба, еще раз — после смерти Шевченко —

обратилась с посланием к умершему: «Я думаю, что вы больны очень. Пожалуйста, напишите, как вам можно будет. Спрашиваю других о вас, и другие молчат».

Прошло немного времени, и на долгие годы замолк голос Чернышевского. В стенах Петропавловской крепости он написал в 1863 году один из вариантов «Повести к повести». В отрывке, озаглавленном «Предисловие для моих друзей между читательницами и читателями», Николай Гаврилович восторженно отозвался о двух близких ему по направлению молодых писателях: «Я любил радоваться на сильнейшего из всех нынешних поэтов-прозаиков — на Н. Г. Помяловского. Это был человек гоголевской и лермонтовской силы. Его потеря — великая потеря для русской поэзии, страшная громадная потеря. Но остаются люди, гораздо сильнейшие меня талантом. Из них я не считаю неудобным назвать Марка Вовчка. Это талант сильный, прекрасный. По смерти Помяловского он опять остался первым, как был до него».

ОТЧУЖДЕНИЕ

Тургенев по прежнему «неотнятому праву» не снимал с Марии Александровны отеческой опеки. Она с благодарностью принимала его помощь и советы, но не позволяла вмешиваться в свои дела, когда это касалось людей, к которым Тургенев не испытывал симпатии, особенно из круга «Современника» или из среды польских эмигрантов. Легко проследить по письмам, как это его раздражало и как дипломатично отводила она упреки в неискренности.

«Что вы видите насквозь? И отчего мне бояться этого? Когда у меня есть что, о чем я хочу сказать, я говорю, когда есть что, о чем не хочу сказать, не скажу — скажу ли, не скажу ли, не боюсь. Если я не люблю много рассказывать, то не люблю и возиться с тем, чтобы то или другое прятать как клад. Это все, если касается меня, а о других я говорю или молчу по их воле, если только могу».

Это было сказано после возвращения из Италии. А на следующее лето, когда Тургенев находился в Спасском, она откровенно призналась: «Хочется иногда вас видеть и слышать. Вас зовут равнодушным но всему человеком, и я вас так называла иногда сама и ко всему равнодушия не люблю, а с вами лучше, чем с другими».

В начале октября 1861 года Тургенев читал у Боткина, а затем у себя дома, на Рю де Риволи, 210, роман «Отцы и дети», вскоре напечатанный в «Русском вестнике» и вызвавший острую полемику. Мария Александровна была в числе приглашенных. Сохранился ее лаконичный отзыв в письме к Добролюбову: «Тургенев сюда приехал. Я его выдаю часто и читала новую его повесть «Отцы и дети». Лучше всех лиц в ней Базаров, хоть и нигилист».

На Тургенева нападали и справа и слева. Лишь немногие поняли глубокий смысл его новой книги. Отъявленные ретрограды видели в «Отцах и детях» антিনিгилистический памфлет, читатели-демократы — пасквиль на передовую молодежь. Одни были обрадованы, другие возмущены. Обескураженный Тургенев жаловался Марии Александровне, как устал он от «треска и грохота», произведенного «Отцами и детьми», а когда она попросила рассказать об этом подробнее, уклонился от прямого ответа: «Мне вовсе не хочется толковать о моем романе, о том, что говорили в России и т. д. Это все для меня давно прошедшее. В письме моем к Вам я намекал на то, что гнусные генералы меня хвалили — а

молодежь ругала. Но эта волна прокатилась — и что сделано — то сделано».

Осенью 1862 года Тургенев вернулся из Бадена. Тогда или немного позже Мария Александровна завела с ним долгий и трудный разговор об «Отцах и детях», о котором узнал Чернышевский и поведал в «Воспоминаниях об отношении Тургенева к Добролюбову...». Писательница будто бы заявила автору «Отцов и детей», что он выбрал дурной путь отомстить Добролюбову, изобразив его в злостной карикатуре, и даже обвинила Тургенева в трусости: «Пока был жив Добролюбов, он не смел вступать с ним в борьбу перед публикой; а когда Добролюбов умер, чернит его».

Марко Вовчок, конечно, знала, что роман был написан и отдан в печать еще при жизни Добролюбова, а Чернышевский, изложив по прошествии многих лет содержание разговора, услышанного от третьего лица, мог об этом забыть. Но нет дыма без огня. Марко Вовчок разделяла распространенное мнение о прямой связи образа Базарова с Добролюбовым в качестве прототипа. И хотя Тургенев это отрицал, она продолжала настаивать и в конце концов заставила будто бы признаться, что «действительно он желал мстить Добролюбову, когда писал свой роман».

Чернышевский передал то, что слышал. Так это было или не так, проверить невозможно. Но даже легенда о подобном разговоре свидетельствует о взаимном отчуждении Тургенева и Марко Вовчка.

Тон переписки становится все более сдержанным, и пишут они друг другу все реже и реже. На вопросы посторонних лиц, не подозревавших о разладе, даются немногословные ответы.

«Вы спрашиваете о г-же Маркович. Она все еще здесь и, кажется, не нуждается... Впрочем, я ее вижу очень редко», — писал Тургенев Карташевской в марте 1862 года.

«Вы спрашиваете о Тургеневе. Он в Бадене и здоров. Несколько месяцев тому был здесь, и я его видела. Он как-то стал неспокоен и раздражен на все и на всех, против всего и против всех», — писала Марко Вовчок Ешевскому в июле 1864 года.

В начале того же года Тургенев давал показания по делу 32-х («О лицах, обвиняемых в сношениях с лондонскими пропагандистами»). В письме к царю и на допросе в Сенате он говорил о политических расхождениях с эмигрантами, после чего Герцен поместил в «Колоколе» заметку «Сплетни, копоть, нагар и пр.», где саркастически писал о «Седовласой Магдалине (мужского рода)», поспешившей довести до

сведения государя «о постигнувшем ее раскаяний», в силу которого *«она прервала все связи с друзьями юности»*.

В ту пору от Тургенева отвернулись многие из его друзей и поклонников. Мы не знаем, этот ли случай — помимо причин личного характера — послужил поводом к разрыву, но так или иначе идейные разногласия углублялись с каждым годом. Марко Вовчок охладела к Тургеневу, а он, со своей стороны, освободившись от «отеческой опеки», не сделал ничего, чтобы наладить прежние отношения.

5 мая 1864 года Тургенев просил Щербаня узнать у М. А. Маркович, почему она не ответила ему на письмо. О каком письме идет речь, неизвестно, но только через месяц (8 июня) Марко Вовчок удосужилась черкнуть несколько строк: «Извините меня, что долго вам не отвечала — я то больна была, то было некогда». И закончила такими словами: «Прощайте. Будьте здоровы и благополучны».

В августе Пассек видел Ешевского и сообщил, что Мария Александровка «окончательно разошлась с Тургеневым».

Между ними пролегла бездна. Издали они еще продолжали следить друг за другом — он с напускным безразличием, она — с затаенной грустью. Тургенев стал ей чужим человеком, но память прошлого нельзя было вычеркнуть из сердца.

САЛОН САЛИАС

Парижская приятельница Марко Вовчка графиня Салиас де Турнемир была сестрой драматурга Сухово-Кобылина и матерью беллетриста Салиаса. Сама она писала под псевдонимом Евгения Тур, а звали ее Елизаветой Васильевной. Звонкую фамилию и графский титул она получила от захудалого французского аристократа в обмен на восьмидесятитысячное приданое, которое утекло за несколько лет, после чего супруги, к обоюдному удовольствию, расстались. В конце сороковых годов, будучи уже «свободной женщиной», Салиас обратилась к литературной деятельности и так преуспела, что не слишком требовательные критики поспешили объявить ее «русской Жорж Санд». Но чего стоили на самом деле ее романы и повести, показывает отзыв Чернышевского: «Нет ни смысла, ни правдоподобия в характерах, ни вероятности в ходе событий; есть только страшная аффектация, натянутость и экзальтация».

Книги Евгении Тур — зеркало ее души. По словам современника, «она вся была пыл, экстаз, восторженность», строила воздушные замки и видела людей такими, какими они являлись ее воображению. В молодые годы она сотворила себе кумира из Грановского и «до беспамятства» была влюблена в Огарева. В московском доме Салиас перебивали чуть ли не все литературные знаменитости. Позднее она стала называть себя «якобинкой» и выпускала либеральный журнал «Русская речь».

Выпады Салиас против правительства, ее симпатии к полякам, демонстративное сочувствие студенческому движению вызвали настороженность в Петербурге. В ноябре 1861 года Александр II приказал установить над ней наблюдение. И в том же месяце она уехала за границу, где провела около десяти лет, преимущественно в Париже и Версале. Здесь она еще больше полевела: бранила царя, восхищалась свободолюбивой Польшей, порвала с Тургеневым после того, как тот покаялся в Сенате. Но ее радикализм во многом был показным. Испуганная Парижской коммуной, она вернулась на родину правоверной христианкой и сторонницей «твердых монархических начал».

В гости к Салиас приезжали писатели, ученые, дипломаты, политические и общественные деятели, русские, польские, чешские эмигранты. Марко Вовчок заставляла у нее людей разных интересов и убеждений, одних видела часто, с другими не успевала познакомиться. За

те несколько лет, что она общалась с графиней, на ее глазах продефилировали десятки, если не сотни, лиц. Здесь можно было встретить русского посла в Бельгии князя Орлова и анархиста Бакунина, фрондирующего аристократа Долгорукова и грузинского революционера Николадзе, участника студенческих демонстраций Е. Утина и министра народного просвещения Головнина, члена тайного общества «Великорусе» Лугинина и одного из организаторов «Земли и воли», А. Слепцова. Здесь бывали Тургенев и Лесков, Писемский и Достоевский, Герцен и Кавелин и многие, многие другие. И как ни разношерстен был состав посетителей, в период подготовки и после подавления восстания 1863 года салон Салиас служил своего рода опорным пунктом, где назначали свидания и устанавливали связи революционные деятели славянских стран.

Недаром сказал Ешевский, что Марко Вовчок жила «в центре польской агитации в самое горячее ее время». И не случаен был вопрос Тургенева в письме от 31 августа 1862 года: «Небось все по-польски Вы читаете?» Мы не знаем, в чем выразилось ее практическое участие в польском освободительном движении и была ли она близка, как предполагают исследователи, к зарубежной организации «Молодая Польша»^{34}, но можно сказать с уверенностью, что Марко Вовчок доказала свою преданность борющимся полякам «в самое горячее время», когда «вся орава русских либералов отхлынула от Герцена за защиту Польши»^{35} и значительная часть «образованного общества» была охвачена шовинистическим угаром.

В первые дни восстания священник парижской православной церкви И. Васильев жаловался московскому митрополиту: «В Париже теперь грустно жить: ужасная ненависть к нам высказывается в разговорах и журналах. Брань, клевета, ложные известия — все идет в дело мнимой мученицы Польши».

Далеко не все прихожане православной церкви на Рю де ля Круа разделяли официозные взгляды своего духовного пастыря. И многие приходили сюда не молиться, а обсуждать политические новости. Марко Вовчок, пропуская мимо ушей красноречивые проповеди отца Васильева, часами беседовала здесь с графиней Салиас, которая прониклась к ней нежностью, уверившись, что нашла в Марии Александровне родственную натуру. Об этом она сама говорит в одной из записок, приглашая ее к завтраку: «Я бы сердечно желала, чтобы Вы пришли — с Вами лучше; во многом мы одинаково мыслим и чувствуем — легче с таким человеком быть вместе».

Графиня сильно нуждалась. Ее записки заполнены слезными просьбами одолжить до приезда сына 30, 50 или 100 франков. Сын действительно не заставил себя ждать и нанес визит Марии Александровне.

— Позвольте познакомиться — граф Салиас. Я граф, но это ничего, — сказал он, церемонно раскланиваясь.

«Тут он весь с потрохами», — заметила Марко Вовчок, вспоминая о своем знакомстве с будущим популярным автором полубульварных исторических романов.

Графиня Салиас была старше Марии Александровны на восемнадцать лет, но преимущества в возрасте не подчеркивала. Чтобы «всегда быть вместе», в апреле 1862 года Елизавета Васильевна перебралась к «подруге» на авеню Марбеф, в пансион мадам Нури возле Елисейских полей. Сюда нередко заходил Лесков, упомянувший затем в очерках «Русское общество в Париже» (1863) двух русских писательниц, живущих на чужбине своим трудом.

Небольшая комната с окнами во двор в одном из дешевых пансионов стала на первых порах тем, что называют «парижским салоном Салиас». И пока писательницы жили бок о бок, обе были хозяйками «салона». Позже, когда дела у графини поправились благодаря удачному замужеству дочери, Мария Александровна, уже на правах гостыи, ездила к ней в Версаль.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

В выборе общественной среды писательница была не так вольна, как в своей творческой работе. Жизнь нередко сталкивала Марию Александровну с людьми, чуждыми ей по духу и устремлениям. Полагаясь на интуицию, она выдвигала на первый план моральный критерий: хороший человек или плохой.

С этой точки зрения трудно было что-нибудь возразить против Константина Дмитриевича Кавелина, возобновившего с ней знакомство весной 1862 года. Современники отзывались с большим уважением о его публицистическом даровании, красноречии, эрудиции и чисто человеческих достоинствах. Идеализированную характеристику этого виднейшего представителя либерального западничества оставил, в частности, А. Ф. Кони в своих «Воспоминаниях и очерках». Перед реформой Кавелин снискал себе симпатии в демократических кругах проектом освобождения крестьян с землею. Короче говоря, репутация прогрессивного деятеля, каким он и был до поры до времени, могла лишь повысить интерес к столь незаурядной личности.

Однако дошедшие до нас парижские письма рисуют Кавелина не с самой привлекательной стороны. Не будем придирааться к тому, что щепетильной супруге, обеспокоенной его знакомством с женщиной, о которой «ходят дурные слухи», он сообщил, что видел Марко Вовчка только один раз, да и то проскучал в ее обществе, а сам в это время добивался встреч и «взаимности». Однако семейные устои не пошатнулись. Он образумился и взял себя в руки; «Зачем С[танкеви]чи говорили мне об вас и советовали сдружиться!.. Я сдуру поверил им и как обжегся. Вам только смех, а мне горе!.. Это попытка думать об вас, видеть вас, говорить с вами.....Роль попа-исповедника юношей и женщин мне только и прилична и по сердцу. Я в нее давно уже вхожу, и не без некоторого успеха...»

Это лирика. А была еще и деловая проза. Дипломатический ход заключался в том, чтобы с помощью обеих писательниц, поселившихся на авеню Марбеф, завязать отношения с Желиговским и получить доступ в кружки польских эмигрантов. Кавелин не терял надежды на примирение поляков с русскими, вернее, с царским правительством. Вполне возможно, это входило в планы его заграничной командировки, хотя непосредственной целью было изучение западноевропейских университетов.

Как раз в это время Кавелин выпустил «примирительную» брошюру «Дворянство и освобождение крестьян», давшую повод Герцену заявить, что он «хоронит» еще одного из друзей своей юности. Кавелин же, мечтавший о постепенных преобразованиях, которые сблизили бы Россию с Западом, осыпал Герцена упреками: «Из мыслителя, обличителя ты стал политическим агитатором, главою партии, которая, во что бы то ни стало, хочет теперь же, сию минуту водворить у нас новый порядок дел, и если нельзя мирными средствами, то переворотом. Я считаю это ошибкой. Мне больше по сердцу прежняя твоя деятельность».

Встревоженный красноречивым молчанием, предвещавшим «похороны» с колокольным звоном, Кавелин откровенничал с Марией Александровной: «Ответа из Лондона — никакого. Впрочем, я в этом отношении каменный: меня не пробрать никакими письмами, ни статьями. Досадно, больно, горестно, — а я все-таки буду твердить свое, пока убеждение не переменится».

Он пытался перетянуть ее на свою сторону. Но писательница убеждений не меняла, и сбить ее с толку было не так-то легко: ее общественные позиции окончательно определились. Обличение дворянского либерализма становится в дальнейшем чуть ли не главной темой романов и повестей Марко Вовчка. Не вспоминался ли ей Константин Дмитриевич Кавелин, когда она набрасывала сатирические портреты героев благих намерений и рыцарей малых дел?

...В конце 1861 года в лондонском доме Герцена появился бежавший из Сибири Бакунин и тотчас же превратил отведенную ему комнату в генеральный штаб намеченного на ближайшее время победоносного восстания, которое должно было завершиться освобождением всех славян и созданием «славной, вольной славянской федерации». Герцен рассказывает о нем в «Былом и думах» со смешанным чувством иронии и восхищения: «Бакунин сгруппировал около себя целый круг славян. Тут были чехи от литератора Фрича до музыканта, называвшегося Наперстком, сербы, которые просто величались по батюшке — Иоанович, Данилович, Петрович, были валахи, состоявшие в должности славян, с своим вечным еско на конце; наконец, был болгар, лекарь турецкой армии, и поляки всех епархий...»

Бакунин писал воззвания, рассылал инструкции, вербовал сообщников, «спорил, проповедовал, распоряжался, кричал, решал, направлял, организовывал и ободрял целый день, целую ночь, целые сутки». Его страстные речи, львиная голова, всклоченная грива, колоссальная фигура атланта и невероятный аппетит производили

впечатление даже на противников скоропалительных методов решения мировых проблем.

Он приезжал в Париж для переговоров с революционными эмигрантами и у графини Салиас познакомился с Марией Александровной.

«Я вам уже говорила, что видела Бакунина — он был у меня. Вас вспоминал и сказал: поклонитесь ему от меня — это старый друг», — писала она Тургеневу в августе 1862 года. И в следующем письме обратилась с вопросом: «Скажите мне, милый Иван Сергеевич, что за человек Бакунин — вы его хорошо знаете, а мне надо его узнать. Вы мне можете говорить все, что вы думаете, вы это знаете».

Тургенев ответил: «Что за человек Бакунин, спрашиваете вы? Я в Рудине представил довольно верный его портрет: теперь это Рудин, не убитый на баррикаде. Между нами: это — развалина. Будет еще копошиться помаленьку и стараться поднимать славян, но из этого ничего не выйдет. Жаль его: тяжелая ноша — жизнь устарелого и выдохшегося агитатора. Вот мое откровенное мнение о нем — а вы не болтайте».

Но мнением о Бакунине он делился и с другими. Герцен, словно прочитав эти строки, возразил в «Былом и думах»: «Говорят, будто И. Тургенев хотел нарисовать портрет Бакунина в Рудине, но Рудин едва напоминает некоторые черты Бакунина. Тургенев, увлекаясь библейской привычкой бога, создал Рудина по своему образу-и подобию. Рудин — Тургенев 2-й, наслушавшийся философского жаргона молодого Бакунина».

Следствие вытекает из посылки. Тургенев недооценил вулканической энергии и фанатического упорства Бакунина, заслужившего впоследствии печальную славу организатора раскольнической анархистской фракции в I Интернационале и немало повредившего международному рабочему движению.

Марко Вовчок тянулась к революционным деятелям, не очень-то разбираясь в их программных требованиях. В социализме она не различала оттенков. И когда легендарный Бакунин предстал перед ней собственной персоной, в ореоле неукротимого бунтаря и мученика, трудно было не поддаться обаянию этой сильной личности.

Он не раз еще бывал в Париже, но неизвестно, часто ли они виделись и действительно ли Марко Вовчок, как утверждал Драгоманов, принимала участие в составлении украинских «бунтарских» прокламаций для Бакунина и Нечаева. Прокламации распространялись с конца шестидесятых годов. Одна из них — «Письмо к громаде» — была напечатана уже после смерти Герцена в неудачно возобновленном «Колоколе» (1870, № 2). В таком случае писательница встречалась с

Бакуниным или с кем-то из его доверенных лиц в 1869 году, когда дважды приезжала в Париж (в феврале и в августе). Если это так, то она не отдавала себе отчета в содержании бакунистской пропаганды и не знала о политических авантюрах Нечаева. Недостаточную осведомленность в революционных теориях Марко Вовчок компенсировала искренним желанием быть хоть чем-то полезной революционному делу.

Свидетельство Драгоманова, не подкрепленное конкретными фактами, относится к 1888 году. И по странному совпадению в том же году чешский поэт Фрич вспоминал в одной из своих статей, как Марко Вовчок водила его в Париже на тайные совещания по поводу организации революционного украинского издания, наподобие герценовского «Колокола». Мы не можем сомневаться в достоверности этого свидетельства, но и оно осталось нерасшифрованным.

...Иозеф Вацлав Фрич совсем еще зеленым юнцом сражался на баррикадах и был приговорен к смерти вместе с другими руководителями пражского восстания 1848 года. Как несовершеннолетнему, ему заменили казнь длительным заключением, затем амнистировали и снова заточили в тюрьму, потом отправили в ссылку и в 1859 году — в изгнание. За границей он жил в большой нужде, кое-как перебиваясь лекциями и литературной работой. В Париже, Лондоне, Берлине, Женеве — везде он находил единомышленников, прокламировал идеи «славянской взаимности» и призывал братьев славян сокрушить Габсбургскую империю. Долгое время Фрич считал себя учеником Бакунина (они подружились еще в разгар пражских событий), но позже разошелся с ним во взглядах и осудил анархизм.

Рекомендуя Марии Александровне Фрича как своего хорошего приятеля и близкого друга Бакунина, Тургенев предупредил ее: «Надобно с ним говорить по-французски или по-мало-российски. Говорят, Ваш язык очень близок к чешскому».

Действительно, они быстро нашли общий язык — и в прямом и в переносном смысле. Писательница ввела его в свою компанию, он свел ее с соотечественниками, свободолюбивыми чехами и словаками, временно или навсегда покинувшими родину. Бывая на авеню Марбеф, Фрич познакомился с Лесковым, который с большой теплотой писал о нем в своих парижских очерках: «Мы очень сошлись и очень верили друг другу... Поэт Фрич — это настоящий, урожденный революционер, преданный душою и телом делу восстания против Австрии и забывающий себя для этого дела. Я часто ходил к этому славянину».

Ходила к нему и Мария Александровна. Ее отзыв о Фриче (в письме к

Марковичу) по смыслу совпадает с лесковским: «Я уже, кажется, писала тебе, что тут ко мне приходил чех Фрич — поэт и такой человек, которого описывать не на бумаге, а видеть всякому дай боже. Живет он на седьмом этаже с женой и хорошеньким мальчиком, больше всего на свете любит свою Чехию, а вместе с нею и все доброе. Он был приговорен к смерти, сидел в тюрьме, а освободившись, вынужден жить здесь, а в Чехию дороги ему нет. Читал тут лекции — когда-нибудь я о них расскажу и о книге его, которую он мне дал».

Сближали их, несомненно, и общие творческие интересы. Как все деятели чешского Возрождения, Фрич увлекался национальным фольклором и следил за развитием родственных славянских литератур. Украинская литература, переживавшая, подобно чешской, период бурного расцвета, была ему особенно близка своим тяготением к народным началам и героической старине. Сам он, по свидетельству Лескова, писал в 1862 году драму «Мазепа», а еще раньше инсценировал для театра «Тараса Бульбу» Гоголя. Среди его сочинений есть рассказ из украинской народной жизни и баллада «Днепр». И когда Мария Александровна раскрыла перед ним сокровищницу «Кобзаря», он перевел поэму «Еретик», воспевающую подвиги Яна Гуса.

Рассказы Марко Вовчка Фрич считал знаменем времени и всякий раз, когда о них заходила речь, подчеркивал сходство с произведениями чешской народной писательницы Волены Немцовой. И не он один проводил такие параллели. Молодой литератор Ян Неруда, будущий автор незабываемых «Малостранских повестей», в 1863 году рассказал читателям пражской газеты «Глас» о своих встречах в Париже «с знаменитой Марковичевой, малорусской Боженой Немцовой, чьи чудесные рассказы, подписанные псевдонимом Марко Вовчок, уже известны чешской общественности».

Творчество Немцовой, выросшее на освободительных национальных идеях и основанное на глубоком знании фольклора и народного быта, в условиях австрийского гнета воспринималось как вызов деспотизму. Сближение Марко Вовчка с Боженой Немцовой в устах чешских патриотов звучало самой большой похвалой автору «Народних оповідань». И естественно, что они в первую очередь дали Марии Александровне, взявшейся за изучение чешского языка, сборник народных сказок, собранных их любимой Боженой.

«Пани Марии, — вспоминал Фрич на склоне лет, — было приятно, что она встретила с чехами. Мы познакомили ее с Боженой Немцовой, которая ей понравилась. Однако у нее не хватило терпения прочесть книгу

на непривычном для нее наречии, и поэтому она очень охотно и с интересом говорила с нами о ее содержании. В связи с каждой чешской или словацкой сказкой она рассказывала нам десять подобных малорусских или великорусских, литовских или польских. Народные сказки были ее стихией»^[36].

В том же 1862 году Марко Вовчок перевела на украинский несколько чешских песен, услышанных и записанных от Фрича. Позже она переложила на французский язык и напечатала в парижском детском журнале словацкую сказку о двенадцати месяцах, озаглавив ее «Злючка-Колючка и Добрая Роза». Этой сказкой, извлеченной из сборника Б. Немцовой, Марко Вовчок закрепила свои дебюты во французской детской литературе. Что же касается чешских песен, то она послала их в Чернигов для затеянной А. В. Марковичем украинской газеты «Десна». Издавать газету запретили, и рукопись затерялась. Этим и ограничиваются чешские реминисценции в творчестве Марко Вовчка, но дружба с Фричем остается в ее биографии памятным эпизодом.

СКАЗКИ И БЫЛИ

В ту пору она с увлечением писала сказки и рассказы для детей и почти каждую вещь тут же переводила с украинского на русский или с русского на украинский, смотря по тому, на каком языке создавался первоначальный текст. Одна из сказок — «Медведь» была потом напечатана еще и в третьем — французском варианте. За год с небольшим накопилось около десятка готовых рукописей, в том числе и такие шедевры, как «Кармелюк», «Сказка о девяти братьях-разбойниках и о десятой сестрице Гале».

«Я теперь так работаю, что уж и руки не болят, приболевшись». «Сижу одна в своей комнатке — Богдась в шкоде. Кругом по всему столу песни и пословицы — захочешь иногда слово найти, да и забудешь какое — зачитаешься...». «Раньше только по утрам работа моя была, а теперь вот и по вечерам, а порою до поздней ночи пишу». «У меня уже, может, листов 15 есть печатных» (из разных писем).

Апрель 1862 года. А. В. Марковичу: «А сейчас не медля, не теряя времени, пришли мне все, что знаешь, что имеешь о Кармелюке, все, все — и где родился, в каком году, как его звали, все-все начисто. Я теперь пишу повесть Кармелюк (никому не говори) для детей. Другая повесть будет «Бондаривна» или «Лимеривна», а может быть, и «Бондаривна» и

«Лимеривна» — и о них, что найдется, подбери мне тоже, прошу тебя очень. Говорят люди про моего Кармелюка, что-он у меня лучший из лучших, и я очень жалею, что не могу тебе сразу его послать, чтоб прочел. Остановилась я на том, как он, покинув жену, мать и дитя, присягнул зеленому лесу... Мне мила эта работа тем, что она как бы меня переносит в степи, леса и поля украинские».

Октябрь 1863 года. Ему же: «Я уже вчера «Галю» получила^[20] и Богдась как принялся читать, не слышно его было и не видно, все читал допоздна. Уложила спать — наутро вскочил и опять за «Галю», не отрывался, даже кофе не пил, пока не кончил, и похвалил меня, а сам задумался, замечтался Это хорошо. Может, и другие детки прочтут. Ведь это будет книжка для детей — туда войдут «Галя», «Кармелюк», «Медведь», «Невольница».

В сказках для детей, как и в рассказах из крепостного быта, Марко Вовчок ориентировалась на народную поэзию. Творческая разработка фольклорных сюжетов соединяется у нее с живыми откликами на зовы времени и раздумьями над историческими судьбами обездоленного крестьянского люда. Ее вольнолюбивые сказки овеяны героической романтикой. В них доминирует тема освободительной борьбы, прославляется бессмертие подвига, совершаемого во имя народа^[37].

Заметим, что Салтыков-Щедрин, первый рецензент «Сказок Марка Вовчка», решительно противопоставил их никчемным книжонкам, «которые составляют настоящий фонд детской литературы и в которых рассказывается, как Ваня был груб и за это его не пустили гулять после обеда, а Маша была умница и за это получила яблоко». Украинская писательница — и в этом Салтыков-Щедрин видит главное достоинство ее сказок — не уклоняется от суровой действительности. Она «просто-напросто описывает, какая такая бывает трудная жизнь на свете, как люди бодрые и сильные побеждают эту трудную жизнь, и как другие, тоже бодрые и сильные, изнемогают под игом ее. Детям это знать небесполезно, потому что им, конечно, придется по временам встретиться с трудною жизнью; следовательно, не мешает, чтоб она нашла их бодрыми и сильными, а не дряблыми и готовыми продать душу первому, кто обещает им яблоко» («Современник», 1864, № 1).

Песня о девяти братьях-разбойниках известна, например, в записи Пушкина:

*Во славном городе во Киеве,
У славного царя у Владимира,*

Жила была молода вдова...

Девять братьев идут «под разбой», по ошибке убивают «зятя любезного» и берут в плен родную сестру. В украинском варианте той же песни («Жила вдова на Подолі, та не мала щастя і долі...») братья разбойничают из-за бедности. Заданный сюжет и мотивировку писательница развивает в целую по весть, насыщенную реалистическими подробностями и тонкими психологическими деталями. На Подоле и в Куреневке она когда-то записывала народные песни. Колорит киевского предместья, с бахчами, огородами, хатами и густым лесом поодаль, воссоздан по личным впечатлениям. Но самое главное — действие происходит не при «царе Владимире», а после реформы 1861 года, когда безземельные крестьяне устремлялись в поисках заработка в города и почти задаром продавали свой труд. В условной, иносказательной форме Марко Вовчок затрагивает коренные вопросы народной жизни. В сказочную ткань вплетаются образы жадных лавочников, огородников, зажиточных киевских мещан, притесняющих несчастных наймитов. Великая нужда заставляет сыновей бедной вдовы вытерпеть много мытарств, а потом стать лесными разбойниками. Им пришлось, пишет Салтыков-Щедрин в своей рецензии, искать «выхода из гнетущего положения, выхода не обманного, но в то же время и не вполне естественного. Но неестественность эта почему-то кажется совершенно естественною, и читатель не сетует на нее»^{38}.

Мы не знаем, какие сведения получила она от А. В. Марковича об Устиме Кармелюке, знаменитом предводителе крестьянских восстаний на Правобережной Украине в первой трети XIX века, — об этом, по выражению Шевченко, «славном рыцаре», про которого сложено бесчисленное множество песен, сказок и легенд. Но писательница, как видно, и не стремилась к исторической точности. Отступив от трагического финала биографии Кармелюка и назвав удалого молодца Иваном, она создала поэтически обобщенный образ народного мстителя, оставляющего по себе «живительную память». Вложенная в уста Кармелюка лирическая песня «Повернувся я з Сибірі» — вторая после Шевченко запись распространенной народной песни, известной теперь более чем в тридцати вариантах^{39}. Предание наделило украинского Робин Гуда эпическим величием и благородством сказочного разбойника. Он отнимает у панов несправедливо нажитые богатства и одаряет бедных. Его преследуют, ловят, ссылают в Сибирь, но он возвращается и, непобежденный, продолжает

борьбу. Таким предстает он и в героической сказке Марко Вовчка, словно озаренной пламенем крестьянских восстаний, бушевавших в те годы в России.

Салтыков-Щедрин, ничего не говоря о Кармелюке, ставит в пример читателям беззаветную отвагу Остапа, героя «Невольницы», который врывается во главе козацкой дружины в турецкий город и освобождает молодую козачку (сюжет навеян историческими песнями и думами XVI–XVII веков про турецкую и татарскую неволю). Почему же, спрашивается, рецензент не отметил лучшей из лучших сказок? Лишь по той причине, что в последний момент цензор выбросил ее из сборника.

Ни одно произведение Марко Вовчка так упорно не преследовалось цензурой, как «Кармелюк». В разные годы возникала бюрократическая переписка по поводу запрещения или изъятия очередного издания. Занимался этим даже министр внутренних дел Тимашев. В своем представлении Комитету министров он прямо и недвусмысленно заявил, что автор «Кармелюка» «желает представить в повествовательной форме всю несправедливость современного социального устройства» и что подобные рассказы могут вызвать среди читателей из народа «жгучее впечатление, самое тяжелое и враждебное чувство»^{40}.

На протяжении многих десятилетий находила официальную поддержку шовинистическая формула: «Никакого малороссийского языка не было, нет и не может быть». Украинские книги Марко Вовчка с величайшими трудностями пробивали дорогу к читателям. А между тем слава Шевченко и его названной дочери вышла далеко за пределы России. Пример обоих писателей оказывал вдохновляющее воздействие прежде всего на западноукраинских землях, где демократическая национальная литература помогала сопротивляться насильственному онемечиванию. «Дух Тараса Шевченко укрепляет нас в святой борьбе за правду и волю», — писал Марии Александровне редактор львовских периодических изданий на украинском языке Ксенофонт Климкович. И он же призывал литераторов Галиции и Буковины учиться у «классического писателя» Марко Вовчка постигать красоту и музыку родного слова. В журналах Климковича «Вечерниці» и «Мета» печатались не только рассказы, но и парижские очерки Марко Вовчка — первые опыты украинского художественного репортажа. В закордонном Львове позднее было издано и первое трехтомное собрание ее украинских сочинений.

Талантливый буковинский поэт и прозаик Юрий Федькович жаловался на бедность и отсталость западноукраинской литературы: «Нет у нас солнца, как Тарас, нет месяца, как Квитка, и нет зореньки, как наша

Марковичка. Про Тараса и Квитку нечего больше и сказать, а про Марковичку скажу только, что живее и ярче никто уже писать не способен». Но Федькович из скромности умолчал о собственных повестях, которые, по словам Леси Украинки, «своим красивым, чисто народным стилем и трогательной манерой напоминают малорусские повести Марка Вовчка». Высокую оценку Федьковичу дал между прочим и Тургенев, заметивший в письме к Драгоманову, что в этих рассказах «бьет родник живой воды». В ноябре 1862 года в тех же «Вечерницах» была помещена заметка, полученная из Гейдельберга от профессора Цихановского. В ней сообщалось, что знаменитый романист Иван Тургенев, придя в восторг от Федьковича, обещал передать томик его рассказов Марко Вовчку. Никаких высказываний о Федьковиче она не оставила, но благотворное влияние ее украинских произведений в Галиции и Буковине — факт непреложный, значение которого трудно переоценить.

В русской печати дебатировался вопрос «о степени самостоятельности малорусской литературы» и подвергалось сомнению само существование украинского языка. А тем временем на обширных пространствах двух многонациональных империй выростала большая украинская литература, и Марко Вовчок, которой не исполнилось еще тридцати лет, была ее живым классиком,

РАЗВЕДКА

В мае 1862 года на окраинах Петербурга выгорели целые кварталы деревянных домов и в самом центре — Апраксин рынок с прилегающими зданиями. Пожары, спровоцированные, как теперь установлено, агентами жандармерии и полиции, послужили сигналом к репрессиям. Были закрыты воскресные школы и народные читальни, введены суровые временные правила о печати, разгромлен Шахматный клуб, где собирались свободомыслящие литераторы. Писарев, Чернышевский, Н. Серно-Соловьевич были арестованы. Готовились политические процессы. Поблекла передовая журналистика. Упало влияние «Колокола». Катков, перейдя со своим «Русским вестником» на крайне правый фланг, призывал к расправе с нигилистами.

Тревожная обстановка в России немедленно отразилась на неустойчивом благополучии писательницы. «Современник» и «Русское слово» были приостановлены на восемь месяцев. «Основа» дышала на ладан. Обрывались налаженные деловые связи. Негде было печататься. Прекратились денежные поступления.

В ноябре 1862 года Тургенев писал своему московскому приятелю, врачу и переводчику Шекспира, Н. Х. Кетчеру: «Здесь, как ты, может быть, знаешь, живет Марья Алексину ровна Маркович (Марко Вовчок). Положение ее было сносно — то есть она перебивалась кое-как — но теперь она внезапно очутилась в скверном казусе: пятьсот рублей серебра, который она ожидала получить от некоего г. Лобко за проданные ему малороссийские сочиненья, задержаны Белозерским, издателем «Основы», за какой-то долг, сделанный мужем г-жи Маркович (об этом я пишу в Петербург); но Солдатенков купил у нее ее русские сочинения и даже дал задатку 100 руб. сер. — а Соколов (живописец) хотел взять ее повести в редакции «Русского вестника», продать их и прислать деньги. Сделай одолжение, узнай от Солдатенкова, какие его намерения и приступил ли он к изданию; а также взял ли Соколов эти повести и что с ними сделал — и где он находится. М. А. Маркович довольно безалаберная особа — но нельзя же допустить, чтобы ее засадили в Клиши...»^[21]

У Каткова давно лежали две небольшие повести — «Пустяки» и «Скрипка» — выразительные наброски странных человеческих характеров, сложившихся на бесплодной почве провинциального поместного прозябания. Словно желая отвадить писательницу, Катков назначил такую

низкую плату, что она наотрез отказалась сотрудничать в «Русском вестнике». Да и не к лицу ей было теперь печататься в этом журнале!

Писемский, будучи в Париже, восстановил с Марией Александровной добрые отношения и договорился в Москве с Солдатенковым об издании ее нового сборника. Но прошло несколько месяцев, а Солдатенков не подавал признаков жизни. (Позже он отказался от своих обязательств, сославшись на неблагоприятные условия.)

О выходе в свет второго тома «Народних оповідань» с рассказами «Два сини», «Не до пари», «Чари», «Ледащиця», «Три долі» она узнала из объявления в «Северной пчеле». Получив от нее недоуменное письмо, забывчивый Афанасий запросил редакцию «Основы»: кто такой этот пан Лобко, промышляющий чужим хлебом, и кто позволил ему издать книгу без разрешения автора? Но оказалось, что сам же Афанасий распорядился сочинениями жены, не видя другой возможности расквитаться с Белозерским, а тот, воспользовавшись предоставленным ему правом, вступил в соглашение с киевским книгопродавцем и общественным деятелем П. А. Лобко, который занимался распространением украинских книг, изданных в Петербурге.

По первому требованию Белозерский представил подробный счет, где было написано черным по белому, что за М. А. и А. В. Марковичами числилось 450 рублей серебром.

Но висел еще и гейдельбергский долг Афанасия, о котором деликатно напоминал Гофман, и у нее у самой не сходились концы с концами в Париже... Мария Александровна могла только развести руками: «Что напутал там Белозерский, без попа, наверно, не разберешь!» Необходимо было с ним повидаться, пристроить рукописи, наладить литературные связи. В одном из писем Афанасию, сетуя на материальные трудности, она говорит, что готова оставить хозяйке в залог самое дорогое, что у нее есть, — Богдана и уехать в Петербург добывать деньги. Афанасий немедленно прислал на дорогу. Богдася с готовностью взяла к себе мадам Ваки. Чтобы не спускать с него глаз, Пассек обещал ежедневно заниматься с ним русским языком, а Карл Бенни — немецким.

Близилась зима. В Петербурге продолжались аресты и облавы. Со дня на день — Марко Вовчок это знала — могли начаться события в Польше. Парижские друзья уговаривали отложить поездку до весны, но она не хотела медлить. Вполне возможно, что, кроме личной заинтересованности, ее заставляли торопиться конспиративные поручения польских эмигрантов.

Выехала она в середине ноября и в начале февраля (по новому стилю) вернулась в Париж.

Свой день рождения и новый 1863 год Марко Вовчок встретила на Галерной улице, в барской квартире Александра Карловича Пфеля, крупного петербургского чиновника, женатого на ее близкой подруге Софье Карловне Рутцен. Из-за простуды пришлось отказаться от поездки в Москву и провести много дней в постели. И вообще складывалось все неудачно. В редакциях царило уныние. Настроение у всех было подавленное. Белозерский, правда, оставил у себя украинские рукописи, но дал понять, что на «Основу» теперь трудно надеяться. Счета его оказались безупречными. За свою новую книгу она не получила ни гроша.

Из старых друзей почти никого не осталось. Брат Валерьян превратился в сухого чиновника, и говорить с ним было не о чем. Жила еще в Петербурге тетка — Варвара Дмитриевна Писарева, но каждая встреча с ней переворачивала душу. Бедняжка обивала пороги правительственных канцелярий и бегала в Петропавловскую крепость с продуктовыми передачами и связками книг, которые Мите требовались для работы.

Повидаться с Писаревым Марии Александровне не удалось — свидания были разрешены только матери.

Сохранившиеся в бумагах писательницы письма Василия Слепцова свидетельствуют о печальной поре ее жизни. Познакомились они приблизительно в середине декабря, а затем переписывались по разным издательским делам. Дружеские отношения возобновились после ее окончательного возвращения в Россию.

Слепцов — убежденный демократ и социалист, всегда выбирал для себя трудные пути. Человек редкостной красоты и обаяния, любимец женщин, талантливый рассказчик-импровизатор, он тогда уже, в свои двадцать шесть лет, был популярным писателем. Известность принесли ему очерки, рассказы и сцены из народного быта, напечатанные в «Современнике». Незадолго до встречи с Марией Александровной он осмелился поместить в умеренно-либеральной «Северной пчеле» сатирическое описание торжеств по случаю тысячелетия России, состоявшихся в Новгороде в присутствии государя и членов царской фамилии. Кошунственная статья вызвала переполох. Автора привлекли к ответу, и это первое серьезное столкновение с властями превратило задорного Слепцова в того, по определению М. Горького, «осторожного и скромного скептика», который, как никто другой из русских литераторов, умел зашифровать крамольные мысли.

Мария Александровна и сама старалась не наводить на след ищек из III отделения. И все же Слепцов счел нужным предупредить ее: «Когда будете писать, не называйте, пожалуйста, фамилии, потому что наши

письма читаются на почте. Люди ни в чем не виновные могут пострадать от того, что их имена попадают в письма, несмотря на то, что переписка наша очень невинна; да и подпись ваша вещь совершенно лишняя».

Письма Слепцова тщательно зашифрованы, полны иносказаний и намеков. Несколько раз упоминается в них **А.Б.** или **Аб.**, о котором корреспондентка, должно быть, настойчиво спрашивала.

23 февраля 1863 года: «Считаю своим долгом уведомить вас, что общий наш знакомый А. Б., по-видимому, почти излечился от того недуга, который начал развиваться у него еще при вас. **Предмет** уехал в Москву и, кажется, не оставил по себе слишком мучительных воспоминаний. Одним словом, дело это кончилось благополучно, что в своем роде очень нехорошо, потому что припадки задумчивости (болезненной задумчивости) возобновились. Дела его так же не обещают ничего хорошего. Если вы не забыли моей просьбы об **истории болезни**, то ваша помощь могла бы быть полезна, как я уже говорил вам».

16 апреля: «Я передал ваше письмо. Он не едет лечиться. Впрочем, я ничего не могу понять, что он делает. Предупредите брата, чтобы он не упоминал ни одним словом о его болезни».

28 июля: «Аб. был болен, но теперь здоров и готовится к экзамену. Гонения на него ни больше ни меньше, все такие же».

Легко догадаться, что речь идет об Артуре Бенни. Зная факты его трагической биографии, можно понять, о чем пишет Слепцов. В октябре и ноябре 1862 года Бенни вызывался на допросы в III отделение. В марте 1863 года с него взяли подписку о невыезде. Вплоть до ареста в июле того же года он находился под следствием. Тем не менее слухи о его предосудительной деятельности не прекращались. Действительно он готовился к экзаменам, чтобы стать присяжным поверенным, но репрессии помешали ему получить степень кандидата прав. Пережив нервное потрясение, Бенни был на грани психического расстройства. В таком контексте **болезнь** нужно понимать двояко. Говоря об **истории болезни**, Слепцов, вероятно, имеет в виду реабилитирующие Бенни в глазах общественного мнения материалы, которых он добивался от Герцена, а Марко Вовчок хотела, как видно, ему посодействовать, быть может, при посредстве Тургенева. Брат, то есть Карл Бенни, не должен был распространять слухи о неприятностях (болезни) Артура. О **предмете** его любви нам ничего не известно, но позже невестой, а затем женой Бенни, последовавшей за ним за границу, стала М. Н. Коптева, одна из участниц достопамятной Знаменской коммуны, которая существовала под эгидой Слепцова с осени 1863 до лета 1864 года. Но эти события не входят в

хронологические рамки писем.

Слепцов и Бенни, сотрудники «Северной пчелы», распределили рукописи Марко Вовчка по редакциям газет. 3 января в «Северной пчеле» промелькнуло начало повести «Без рода и племени» — о мальчишке-сироте, которого приютившие его после смерти матери «добрые люди» отправляют побираться. Продолжения повести не последовало. По словам Лескова — по той причине, что писательница не прислала обещанной рукописи. Но мог ли редактор ежедневной газеты поместить первый отрывок с указанием «продолжение впредь», не располагая следующими главами? Правдоподобнее объяснение Слепцова: у редактора П. С. Усова иссякли средства, и он решил сэкономить на гонорарах. Как бы то ни было, союз Марко Вовчка с «Северной пчелой» оборвался так же неожиданно, как и возник.

Но зато в «Очерках», газете отчетливо демократического направления, выходившей под редакцией Г. З. Елисеева, Марко Вовчок пришлась ко двору. Публикация «Скрипки», изъятой у Каткова вместе с «Пустышками», сопровождалась лестным редакционным примечанием: «Талантливый автор предлагаемого рассказа обещал нашей газете целый ряд таких рассказов и, кроме того, свои письма из-за границы». Парижские письма печатались в 1864–1865 годах в «С.-Петербургских ведомостях» В. Ф. Корша, взявшего на первый случай рассказ «Пустышки», а в «Очерках» появлялись один за другим украинские рассказы, переведенные самим автором («Чернокрыл», «Не под пару», «Два сына», «Чары»).

8 апреля 1863 года «Очерки» были запрещены. Слепцов помянул их добрым словом: «Газета, в которой печатались ваши рассказы, прекратилась внезапно. Так что и редактор не знал об этом накануне. А это было **единственное** издание, в котором могли вам заплатить за оригинальное произведение по 120 рублей, а за перевод по 60 р. Вследствие всеобщего безденежья теперь никто не в состоянии дать вам больше 70 за оригинальное. Понимаете вы, какая это нищета!» И дальше — о неблагоприятной ситуации: «Притом же время теперь такое — не до беллетристики. Наступает опять пора патриотических стихотворений, а художественные произведения идут плохо».

Мария Александровна приуныла. Но не прошло и месяца — новое письмо Слепцова принесло радостную весть: Белозерский собрал три тысячи рублей — на случай, если она возьмется за украинскую историю и путевые заметки на украинском языке.

Окрыленная надеждами, Марко Вовчок стала готовиться к большой работе над «Историей Украины» для народного и детского чтения. А тем

временем Белозерский, искренне желая помочь ей, вступил в переговоры с книгопродавцем Яковлевым об издании двух сборников сказок — на украинском и русском языке — и сообщил предварительные условия.

Вскоре в Петербурге побывал Пассек. По доверенности автора он заключил соглашение с издателем, предоставив ему право выпустить отдельными книжками еще восемь рассказов на украинском языке, и передал Боборыкину, новому редактору «Библиотеки для чтения», две сказки — «Галю» и «Лимеривну».

Дела налаживались. Поездка в Петербург, поначалу ничего, кроме огорчений, не принеся, оказалась плодотворной. Можно будет спокойно жить и работать, не думая о завтрашнем дне. Ничто уже не мешает расплатиться с кредиторами и вернуться в Россию!

И тут хрупким надеждам писательницы был нанесен жестокий удар...

«Малороссийские издания терпят гонения теперь. Составлена комиссия для обсуждения вопроса о малороссийских книгах. Чем это все кончится — бог знает», — меланхолично писал Слепцов и продолжал глушить новостями: «Основа» давно уже не издается, неужели вы этого не знаете? Кроме того, я считаю нужным предупредить вас, — если В. М. [Белозерский] еще не писал вам об этом — что сочинения научного содержания, напечатанные для народа, даже арифметика, задержаны: следовательно, и все прочее, как, например, популярные сочинения, тоже не выходит».

Польское восстание привело к разгулу реакции. 8 июля 1863 года был подписан тайный циркуляр о фактическом запрещении в России украинской литературы на том основании, что «малороссийское наречие, употребляемое простонародьем, есть тот же русский язык, только испорченный влиянием на него Польши». Прибегнув к такой казуистической мотивировке, министр внутренних дел Валуев приказал запретить печатание украинских книг, за исключением произведений, которые принадлежат «к области изящной литературы».

После 1865 года, когда Яковлеву все же удалось выпустить в свет сборничек из четырех сказок Марко Вовчка, ни одна ее украинская книга почти до самого конца столетия на территории России не издавалась.

ЗАКОЛДОВАННЫЙ КРУГ

Во сне и наяву она грезила об Украине и всем сердцем стремилась на родину. И даже любовь к Пассеку не могла заглушить ностальгии. «Я всегда буду любить тебя, мой дорогой и милый, и оттого не меньше, что замуж если за тебя не пойду. Мне замуж идти помешает А[фанасий] В[асильевич], которому это будет хуже смерти... Время ли быть теперь счастьем, когда столько несчастья кругом везде? Время ли думать о себе? Трудно-трудно ведь оторваться от своего уголка, когда его заведешь... Разве ты думаешь, что можно так вот, смеясь, отбросить все от себя дорогое и родное и выйти из своего дома на бездомовье?»^[41]

Париж не стал, да и не мог стать для нее родным домом. И нельзя было вечно жить в меблированных комнатах на положении полуэмигрантки, в нетерпеливом ожидании честно заработанных денег, которые присылали, как милостыню, после бесконечных напоминаний и унижительных просьб.

А между тем Афанасий, обеспеченный теперь приличным жалованьем и не думавший ни о каких размолвках, хотел соединиться с семьей. В июне 1861 года после восьмимесячных поисков службы он выехал в Чернигов на должность «непременного члена при мировых съездах посредников от Глуховского, Новгород-Северского и Стародубского уездов» и, быстро убедившись, что при решении спорных вопросов между крестьянами и помещиками мнение мирового посредника выслушивается только для проформы, поспешил занять освободившееся место акцизного надзирателя в Новгород-Северске. Отлично понимая, что в этом захолустном городишке Марии Александровне нечего делать, он усиленно зазывал ее в Чернигов.

Но и житье в Чернигове ничего отрадного не сулило, несмотря на то, что Афанасий заблаговременно снял хорошую квартиру около Красного моста и выхлопотал в департаменте неокладных сборов пособие на переезд жены и сына из-за границы. И он и общий их друг Дорошенко, которого вскоре привлекли к дознанию по делу о «распространении малороссийской пропаганды», обещали ей широкое поле деятельности, возлагая несбыточные надежды на издание в Чернигове украинской газеты «Десна». И поскольку произведения на украинском языке снова выдвинулись в творчестве Марко Вовчка на первый план, она всерьез подумывала предпочесть Петербургу Чернигов. И даже после того, как новая полоса гонений на украинское печатное слово заставила отложить в долгий ящик

многие начинания и замыслы, писательница не отказывалась от мысли провести хотя бы год в Чернигове. И приехала бы она «не за печкой сидеть и вареники есть», а ходить, как бывало, по селам и хуторам, слушать живую речь, набираться свежих впечатлений.

Планы оставались планами, а жизнь жизнью. В письмах к Афанасию она назначает и переносит сроки отъезда, объясняя свою медлительность отсутствием средств: «Кто тебе сказал, что я не хочу ехать? Я сказала, что хочу, что нужно, но не могу — денег нет». «Не на что ехать, потому что много тут должна. Тысячу, если не больше, рублей надобно». И она не кривила душой. Те же фразы повторяются в разных вариациях и в письмах к другим адресатам. Но Афанасию от этого было не легче. Окончательно разувверившись, что увидит когда-нибудь жену и сына, он жаловался друзьям: «Сам живу без семьи, да они и не приедут — ни у них, ни у меня денег нет». Измученный одиночеством, под конец жизни он нашел утешение, сблизившись с молодой актрисой, превосходной исполнительницей украинских народных песен М. А. Загорской. И когда Меланья Авдеевна родила ему сына, оборвалась последняя нить, связывавшая его с Марией Александровной. С души у нее спала тяжесть. Такому исходу она могла только порадоваться: «Я ничего никогда не желала, кроме того, чтобы ты нашел себе хоть какое-то счастье и долю».

Долги и безденежье угнетали ее и в последние парижские годы, совпавшие с падением ее популярности в России и невозможностью печататься на украинском языке. В одной из рабочих тетрадок Марко Вовчка есть такая запись: «Иногда думаешь: «Господи! Работаешь, мечешься, а смотришь — все съели, все поносили и опять беда, опять ярмо».

И все же Богдан кое-что преувеличивает и не раскрывает всей правды, описывая в своих воспоминаниях маленькую комнатку на окраине Парижа, где они бедствовали вдвоем с матерью, питаясь преимущественно макаронами и жареными каштанами. В действительности было не так уж страшно, хотя материальное положение почти не улучшилось и в период семейной жизни с Пассеком, когда они снимали небольшой уютный домик в предместье Нейи на берегу Сены. Стоило это не дороже пансиона у Елисейских полей. Но вдали от городской суеты можно было по крайней мере как-то упорядочить свой бюджет и распоряжаться собственным временем.

Возвращение в Россию отодвинулось на неопределенный срок. Болезнь Пассека еще больше отдала перспективу. О душевном состоянии писательницы говорит и другая запись, сделанная в парижской тетради: «О

моя родина! Маленькая точка на земном шаре, ты всегда со мной, вечная, неувядающая в своей красоте, одинаково милая. Вдалеке от тебя, на берегу чужой реки — река эта, говорят, прекрасна, — мое сердце так наполнено тобою всецело, что я холодна к ее чужой прелести. О, ты со мною. Мне даже не надо закрывать глаз, чтобы представить тебя. Я дышу ароматом твоих лесов и полей, слышу рокот твоих вод, чую их свежесть...»

ДОМИК В НЕЙИ

Приезд матери, жившей до этого в Чернигове у младшей дочери Веры, позволил расстаться с пансионом. В апреле 1864 года Мария Александровна сообщила корреспондентам свой новый адрес: Авеню де Нейи, 211 ив сентябре — другой, не менявшийся до последних дней пребывания во Франции: Рю де Лоншан, 70-бис, Нейи.

«Париж тяготит надо мною, как свинец», — писала она Ешевскому. Здесь, за городским садом и заставой Эту аль, дышалось вольнее и была хотя бы видимость свободы. «Я живу около Булонского леса, и есть у меня отдельная совсем комната; маленький садик, через дом за углом дорожка в Булонский лес; омнибус ходит каждые пять минут в Париж за 40 сантимов... Сена два шага от меня, и на ней купальни, и видны острова, деревья, деревеньки далекие; кроме того в смежной улице ванны всякие в доме, души и все на свете».

Омнибус «С» — пароконная желтая карета с красными фонарями — меньше чем за час доставлял до Лувра. Но Мария Александровна предпочитала длинные прогулки пешком по главной улице Нейи и Елисейским полям либо через Булонский лес и тихие извилистые улочки, ведущие к центральным кварталам на правом берегу Сены. Из предместья Нейи вдвое сокращался путь до Версаля, где жила графиня Салиас.

За несколько месяцев до новоселья писательница познакомилась у нее на вечере с симпатичной молодой четой — художником Валерием Ивановичем Якоби, посланным за границу для совершенствования, и его гражданской женой Александрой Николаевной Сусоколовой, вошедшей позднее в литературу под псевдонимом Толиверова. В шестидесятых-семидесятых годах ее знали как Якоби, и так она подписывала свои письма и рассказы. Это была пылкая, романтическая натура, в недалеком будущем — отважная гарибальдийка, устроившая побег из крепости приговоренному к смерти адъютанту Гарибальди Луиджи Кастелоцци. И она же, как мы знаем, старалась облегчить последние минуты Артура Бенни и похоронила его в Риме на протестантском кладбище.

Валерий Якоби был близок в Петербурге к революционным кругам и посвятил свое творчество прославлению героев и жертв революционного подвига. Признание принесла ему картина «Привал арестантов», где на первом плане изображена молодая мать, кормящая грудью младенца. Моделью послужила художнику красавица Александра Николаевна,

бежавшая с ним из Казани от нелюбимого старого мужа (шестнадцати лет ее выдали насильно за богача Тюфяева). В те годы ходила по рукам, как своеобразная политическая прокламация, знаменитая литография «Острижение каторжного в тюрьме» — портрет поэта-революционера Михайлова, сделанный неизвестным художником в Петропавловской крепости. Теперь окончательно установлено, что этим художником был В. И. Якоби^{42}. В Париже на глазах у Марии Александровны создавалось его полотно «Смерть Робеспьера», занесенное в каталоги под более спокойным названием «Умеренные и террористы».

Младший брат Валерия Ивановича, участник польской революции, Павел Якоби после тяжелого ранения под Крушиной приехал в Париж закупать оружие для повстанческой армии; завязал отношения с Бакуниным, а тот, в свою очередь, свел супругов Якоби с графиней Салиас. В начинающей писательнице и ее муже художнике Марко Вовчок нашла единомышленников.

15 декабря 1863 года Александра Николаевна записала в своем дневнике: «Вечером были у Е. Тур, познакомились у нее с Маркович. Очень умная, симпатичная личность». С тех пор не проходило двух-трех дней, чтобы они не повидались. Дневник Якоби заполнялся новыми записями: «Маркович очень мила», «Она удивительная женщина», «Маркович делается все лучше и лучше для меня», «Маркович самая лучшая, добрая, милая из всех» и т. п.

Бывали дни, когда Якоби с их маленьким сыном Володей сидели без обеда. Дошло до того, что Валерию Ивановичу пришлось продать золотую медаль, полученную от Академии художеств за «Привал арестантов». Мария Александровна делилась с ними последним франком или, чтобы выручить друзей, закладывала в ломбард браслеты. В благодарность В. И. Якоби подарил ей картину «Возвращение с рыбной ловли»: Богдан Маркович, жизнерадостный, розовощекий подросток, сидит на ящике с удочкой и соломенной шляпой в руках. Местонахождение этого портрета неизвестно, но сохранился превосходный этюд, сделанный «фотографической машиной» для выбора позы и освещения. Якоби был искусным фотографом и заразил своим увлечением Пассека.

Тесная дружба между семьей художника и писательницы основывалась прежде всего на духовной близости, одинаковом отношении к общественным и политическим событиям.

Вот характерный отрывок из дневника А. Н. Якоби: «Весь день (23 апреля 1864 г.) с 2 до 10 провела у Маркович, она поселилась в деревеньке, вдали от шума и пыли. Вечером мы ходили смотреть острова, дошли до

Булонского леса, видели чей-то маленький замок, вроде того, что описывают в сказках. Ночь была удивительно спокойная. Луна обливала всю природу своим бледным светом, тишина в природе, тишина кругом, я жадно втягивала в себя воздух, деревья целиком отражались в спокойной воде. Валерий был весел, он шел с Пассеком, я, Маркович и Богдась шли впереди. О многом переговорили, вспомнили и о Гейне, о Щедрина, а главное, о Чернышевском. Она получила письмо от Тургенева], и он пишет, что Черн[ышевский] приговорен к 10-летней каторжной работе и прочтению приговора у позорного столба. Это известие много испортило мне мое хорошее расположение духа».

Обсуждали текущие новости («в газетах ничего, кроме грусти... Польша забита. Дания при последнем издыхании»), обменивались книгами, читали вслух: Александра Николаевна — своих любимых поэтов Гейне и Мюссе, Мария Александровна — новые рассказы Тургенева, среди них — «Собаку», в ту пору еще не напечатанную. Можно проследить, как А. Н. Якоби под влиянием старшей подруги начинает серьезно интересоваться революционной публицистикой и критикой. Пользуясь книгами из — ее библиотеки, она с упоением читает Добролюбова, Чернышевского, статьи из «Колокола». Марко Вовчок знакомит ее в рукописи с «Записками дьячка» (первоначальное название «Записок причетника») и дает прочесть нащумевший антиклерикальный роман неизвестного автора «Mandit» («В омнибусе рядом сидел ксендз и все заглядывал в книгу и увидевши «Mandit» отвернулся»).

Любопытно, что в это же время Валерий Якоби пишет маслом жанровую сцену «Смерть дьячка», навеянную, возможно, «Записками причетника» и разговорами о быте и нравах сельского духовенства.

Подруги не расставались на протяжении двух лет, пока Якоби не уехала в Италию. Они бывали вместе на художественных выставках и народных гуляньях, осматривали могилы Марата, Лелевеля и Генриха Гейне на кладбище Пер-Лашез, посещали заведения для слепых и глухонемых детей. Марко Вовчок черпала из этих экскурсий материал для своих парижских писем, печатавшихся в «С.-Петербургских ведомостях», а Якоби исправно заносила в дневник те же наблюдения и оценки, говорящие о полном единодушии обеих женщин^[43]. И эти непритязательные дневниковые записи не только раскрывают творческую историю зарубежных очерков Марко Вовчка, но и показывают, как она была поразительно точна в воспроизведении жизненных фактов.

17 апреля 1864 года Якоби столкнулась у Марии Александровны с Аполлидарией Суловой, молодой женщиной, сыгравшей немаловажную

роль в жизни Достоевского и причисленной позднее III отделением к партии нигилистов. Дневник Сусловой, как и дневник Якоби, — один из интереснейших человеческих документов шестидесятых годов. Та и другая по-своему восприняли эту нечаянную встречу.

А. Якоби: Я была у Маркович, видела там обстриженную, с изможденной физиономией А. Суслову, писательницу. Она мне показалась престранной. Входя домой, Маркович спросила ее, отчего она грустна, она вдруг расплакалась, говорит: «У меня женщина попросила милостыню, я ей отдала все, что у меня было, она меня ужасно расстроила».

А. Сулова: Маркович я не застала дома. Мать ее предложила мне подождать, сказав, что дочь уехала к Тургеневу, и старалась дать мне почувствовать, что вчера Тургенев ждал ее дочь целых два часа и все-таки уехал не дождавшись. Еще она сказала, что придет сегодня жена художника Якоби, хорошенькая и главное хорошая, по ее словам, женщина. Действительно скоро пришла хорошенькая женщина. Я догадалась, что это Якоби. Мы разговорились. Она либеральничала, пускала мне пыль в глаза фразами очень неудачно. Наконец пришла Маркович. «Познакомьтесь», — сказала она нам. Но не сказала наших имен. Мы молча пожали друг другу руки...вообще я заметила в ней какую-то холодность, осторожность, она как-то всматривается в людей... Грусть моя увеличилась, нервы были слишком раздражены. Я не выдержала — слезы навернулись у меня на глазах. «Скажите, что с вами случилось?» — спрашивала m-me Маркович, с участием взяв меня за руку, и отвела меня в спальню... Я все свалила на уличную сцену и скоро отправилась домой».

Подавленная своими неудачами, Сулова глядела на мир сквозь черные очки. Держалась натянуто и отчужденно, в любом слове и жесте Марии Александровны видела самодовольство и проявление душевной черствости. И даже совет опытной писательницы — «нужно смотреть на людей во все глаза» — показался ей циничным. Близость Сусловой к Салиас и кружку эмигрантской молодежи (В. Ф. Лугинин, Е. И. Утин, Н. Я. Николадзе и др.), с которыми была связана и Марко Вовчок, не упрочила их знакомства. Между ними стояла тень Достоевского. Мария Александровна не могла забыть его издевательской статьи о «Народных рассказах» и отлично знала, что для Сусловой, его подруги и поклонницы, все, что говорит и пишет Достоевский, — истины, изреченные оракулом. Не считаясь, однако, с личными чувствами, она благожелательно оценила ее литературные опыты и охотно выполнила поручение, разузнав через Карла Бенни, на каких условиях сможет получить доступ на медицинские лекции в Париже ее сестра Надежда Сулова (в дальнейшем первая в России

женщина-врач и жена профессора Эрисмана).

...В декабре 1863 года приехал во Францию и вскоре подружился с Марией Александровной еще один пенсионер Академии художеств — Карл Федорович Гун. «Писательница вводит молодого художника, — сообщает его биограф А. Эглит, — в кружок русской колонии, состоящей в большинстве своем из учащейся молодежи, по преимуществу студентов-медиков, лиц, высланных административным порядком, добровольно эмигрировавших политических деятелей, представителей различных левых партий, носивших в то время универсальное название «нигилисты».

Через Якоби и Гуна Мария Александровна знакомится с Г. Г. Мясоедовым, В. Г. Перовым, А. П. Боголюбовым, И. И. Шишкиным, будущими организаторами и участниками товарищества передвижников, а также с художниками академического направления — портретистом В. П. Верещагиным, (не смешивать с знаменитым автором батальных полотен) и А. А. Риццони.

Карл Гун, уроженец Латвии и латыш по национальности, известен главным образом как мастер исторической живописи. Любовь к истории сочетается в его творчестве с этнографическими увлечениями. Он тщательно зарисовывает типы крестьян и ремесленников, народные костюмы и предметы быта, пишет жанровые сцены из сельской жизни. И тут он до некоторой степени близок Марко Вовчку. Например, горькая доля девочки-сироты в картине «Отвергнутая» — мотив, созвучный «Народным рассказам» и повести «Без рода и племени». И во Франции внимание Гуна привлекают рабочие, занятые тяжелым трудом, сцены из жизни бедного — люда города и деревни. Многие этюды, как жанровые, так и пейзажные, были выполнены Гуном в Нейи на прогулках с писательницей и приезжавшими к ней гостями.

По-видимому, не кто иной, как Гун сопровождал ее летом 1864 года в Компьен, и эта поездка дала материал для двенадцатого очерка из цикла «Отрывки писем из Парижа» — «Компьень, Pierrefond и окрестности». У Гуна она брала уроки рисования и терпеливо позировала ему на Рю Клозель, 21 — в мастерской на Монмартре, где постоянно собирались русские художники.

«Портрет с малороссийской писательницы г-жи Маркович (Марко Вовчок)» — одна из первых работ, исполненных Гуном в Париже, — упоминается в его рапорте Академии художеств (от 8 июня 1864 г.) и в письме Марии Александровны к Ешевскому: «Из новостей еще то, что с меня пишут портрет масляными красками, где я сижу в бархатном черном платье на бархатном малиновом кресле. Художник, который пишет,

непрерывно настаивал на этом. Представьте меня в бархате и с гордым видом!»

Денежные затруднения заставили Гуна расстаться с этой картиной, которую сам он относил к своим лучшим произведениям. Вполне возможно, что портрет «дамы в черном» с характерной подписью художника и сейчас находится во Франции в какой-нибудь частной коллекции.

Писательница берегла как реликвию акварель Гуна «Домик в Нейи». Сохранился любительский снимок с ее собственноручной надписью: 70-bis rue de Longchamp Neilly. На фоне уютного загородного дома, увитого диким виноградом, в тени деревьев, за круглым столом расположились две женщины и мужчина, к которому доверчиво льнет ребенок. Одна из них — А. Н. Якоби, что подтверждается разительным сходством с ее портретом кисти В. П. Верещагина, вторая, сидящая спиной в три четверти оборота, — Марко Вовчок. Ребенок — трехлетний Володя Якоби, а мужчина в широкополой шляпе, затемняющей лицо, — либо его отец-художник, либо, скорее, Гун, запечатлевший себя в дружеском кругу. «Запечатлевший себя» — не оговорка. Непринужденность поз и сама фактура фотокопии наводят на мысль, что это снимок с пропавшей акварели Гуна, которую с полным основанием можно теперь включить в список его работ^{44}.

ДВЕСТИ ПЕСЕН

Летом 1864 года в Париже давал фортепианные концерты композитор Эдуард Мертке, знакомый Гуна еще по Риге и Петербургу, ставший затем капельмейстером люцернской оперы. Зная, что Марко Вовчок мечтает выпустить сборник украинских народных песен с музыкальным сопровождением, Гун предложил композитору взяться за аранжировку. Мертке достаточно свободно владел русским языком, и это облегчало задачу.

«Точно воскресла прежняя обстановка, — вспоминал впоследствии Богдан, — точно сейчас слышу, как она поет эти песни, а немец с выхоленной черной бородой и в золотых очках подбирает аккорды дешевого пианино, взятого напрокат, что-то записывает, а потом церемонно раскланивается, уходит».

Совместная работа с Мертке продолжалась немногим более двух недель. Без десяти 11 он появлялся у садовой калитки и ровно в четыре закрывал крышку инструмента. Бывали дни, когда удавалось положить на ноты до двадцати песен. В распоряжении писательницы были лишь немногочисленные фольклорные записи, сохранившиеся с давних времен. Феноменальная память позволила ей воспроизвести слова и мелодии *двухсот десяти песен!*

Вдохновить ее на этот труд мог блестящий пример украинского этнографа С. Д. Носа. Он сам рассказывал ей в Киеве, как Ригельман и Метлинский прислали к нему чеха Голи, записавшего с его голоса около двухсот мелодий. Сакраментальная цифра 200 врезалась ей в память. Но в отличие от Носа, не сумевшего осуществить публикации. Марко Вовчок решила, чего бы это ни стоило, довести свой труд до печати. И пока Мертке занимался у себя в Люцерне приведением записей в порядок и гармонизацией напевов, она объявила подписку на издание, убедительно прося всех и каждого помочь со сбором средств: один из швейцарских издателей согласился, если найдутся подписчики, выпустить двести песен в восьми тетрадях, по 25 в каждой. «Можно подписаться на все восемь тетрадей вдруг, или кому трудно на все, на первую или на две, на три первых».

Афанасий Маркович устроил по ее требованию общественную складчину на Украине. Извлеченные из памяти сокровища народной поэзии нужно было сберечь для потомства, ибо, как твердила ему Мария

Александровна: «Со дня на день что-то пропадает, а помрем — пропадет понапрасну и то, что нами собрано».

Деньги поступали не только с Украины, но также из Москвы, Петербурга, Орла и от заграничных друзей писательницы. Сумма собралась небольшая, но все же достаточная, чтобы от слов перейти к делу. Печататься песни должны были в Лейпциге, а цензуру пройти в России. Иначе издание считалось бы нелегальным и не попало бы к подписчикам.

Начались долгие переговоры и хлопоты. Выпустить сборник оказалось труднее, чем собрать на него средства. Ведь песни-то были *украинские*! К счастью, Михаил Матвеевич Лазаревский, один из друзей Шевченко, принял близко к сердцу начинание Марко Вовчка. Действуя в обход столичной цензуры, он до тех пор улещивал московского цензора, пока тот не согласился завизировать сборник. Разрешение было получено 9 апреля 1866 года, и вскоре вышла первая тетрадь: «Двісти українських пісень. Співи и слова зібрав Марко Вовчок. У ноти завів Едуард Мертке. 8 тетрадів по 2 рублі срібних и 50 к. кожна. Власність и виданне Ритер-Бидерманна, Лейпциг и Винтертур».

На этом издание и прекратилось. Первая и единственная тетрадь, выпущенная ничтожным тиражом, представляет величайшую библиографическую редкость^{45}.

ИЗ МРАКА К СВЕТУ

— Человек предполагает, а цензор располагает, — говорила Марко Вовчок. В мае 1864 года она с грустью сообщила Ешевским, что последняя ее работа будет отправлена на цензуру в Синод Священный и вряд ли выйдет в свет. Редактор «Русского слова» Благосветлов иначе и не мог поступить с «Записками дьячка»: все, что касалось духовенства, подлежало духовной цензуре, а повесть, на которую писательница возлагала большие надежды, должна была, как лукаво сказано в «Предисловии и воззвании к читателю», «оставить потомству верное и нелицеприятное изображение быта, нравов и обычаев священнослужительских».

«Записки дьячка» (в дальнейшем «Записки причетника») отпочковались от украинского «Дяка». Первая часть этой обширной повести, вернее сказать романа, действительно застряла в Синоде и только в 1869–1870 годах в несколько измененном виде и с прибавлением новых глав была напечатана в «Отечественных записках». Публикацию, однако, пришлось прервать после того, как надзирающий за журналом цензор Лебедев обнаружил в «Записках причетника» «самые неблагопристойные», переполненные «крайним цинизмом» картины, внушающие отвращение к лицам духовного звания (например, сцена попойки священников и монахинь у сельского попа), и даже предложил арестовать «означенную книжку» журнала.

Позже, в 1874 году, писательнице удалось включить в отдельное издание изъятые из «Отечественных записок» главы и восстановить многие купюры. Этот текст романа считался каноническим до тех пор, пока в отделе рукописей Института русской литературы не был найден манускрипт, содержащий существенные дополнения^{46}.

Итак, говоря словами Салтыкова-Щедрина, Марко Вовчок еще раз разворошила зловонное болото, порождающее чертей. Сельское духовенство — оплот произвола и рассадник мракобесия. Женские монастыри — средоточие всех мыслимых и немыслимых пороков. Если искать художественный эквивалент, то прежде всего вспоминаются убийственно-сатирические полотна Перова «Чаепитие в Мытищах» и «Сельский крестный ход на Пасхе».

Сама же писательница несколько странно и неожиданно объяснила свой замысел Ешевскому: «Меня очень теперь волнует мысль, сколько бы могли делать женщины, священнические дочери и жены, и что они ничего

не делают, а только преуспевают в телесах. С некоторого времени я вдруг стала замечать, что во время моих собственных личных мыслей стали меня осаждать лики архиереев, дьячков, и дьячих, и поповен и что жизнь их беспрестанно мне представлялась то в том, то в другом образе — я стала писать и, когда написала, тогда только уяснилось мне, чего я хочу от них и зачем я их тревожу. И не можете представить, до чего они меня теперь занимают, точно я получила от них важный вопрос — ответила и жду еще важнеего. Вот как».

В русской и украинской классической прозе трудно, пожалуй, найти произведение, острее и беспощаднее обличающее служителей алтаря. И тем не менее приведенные слова писательницы дают ключ к верному пониманию замысла. Роман казался бы беспросветно мрачным, если бы силам зла не противостояло светлое, жизнеутверждающее начало. И это подчеркивается в вводной главе притчей о кузнеце, победившем стоголовое чудовище. Народ-богатырь в конце концов пересилит зло. Таков смысл аллегии. Но есть еще и глубинный подтекст: стоголовое чудовище вызывает в памяти тот самый стих Третьяковского — «Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лай», — который Радищев выставил эпиграфом к «Путешествию из Петербурга в Москву». Надо думать, переключка не случайная!^{47}

Народная фантазия, утверждает автор в изречениях, сопровождающих притчу о кузнеце, дает самовернейшее понятие о народе: «Герои и героини всегда подают собой пример мужества, непреклонной решимости, бодрости в бедах и напастях, терпения, постоянства в чувствах и мыслях и ничем не со-крушимого стремления к задуманной цели».

Вот этими замечательными душевными свойствами и наделены герои романа, восстающие против «стоголового чудовища». Мятежный дьяк Софроний, непокорная поповна Настя и сам рассказчик, правдолюбец Тимош, бросают вызов страшному миру физического и духовного порабощения, олицетворенного в церковной власти. Все трое вырвались из мрака к свету, и никакая сила не заставит их смириться с торжествующим злом.

Разночинная демократическая интеллигенция поставляла России героев революционного слова и действия. Лучшие из лучших откалывались от духовной среды и пополняли ряды борцов. Таким образом Марко Вовчок дает в «Записках причетника» еще одну вариацию чрезвычайно актуальной для того времени темы «новых людей».

И роман производит тем большее впечатление, что позиция рассказчика совпадает со взглядами автора: «В наибезотраднейшие

минуты, в порывах самой томительной горести, мне ни разу не приходила даже мимолетная мысль о возможности покориться обстоятельствам. Напротив, чем невыносимее были мои страдания, тем сильнее разжигался я враждою и неукротимую страстью противоборствовать ненавистным для меня порядкам».

Темные стороны церковного и монастырского быта рисуются глазами наблюдательного мальчика, очевидца событий, случившихся в селении Терны вскоре после реформы — примерно тогда же, когда Марко Вовчок работала в Париже над этим романом. Но «записки» свои Тимош написал много лет спустя. Следовательно, он повествует о прошлом *из будущего!* Эта художественная условность позволяет совмещать разные точки зрения: видит ребенок, а рассказывает о виденном взрослый — человек, умудренный опытом, умеющий не только чувствовать, но и рассуждать. Отсюда такое обилие оттенков, интонаций, разнообразие красок, непринужденность переходов от патетики к юмору, от иронии к гротеску, от разрушительной сатиры к задушевному лиризму, от спокойных описаний к обличительным тирадам и выпадам.

«С самых ранних пор понятие об «обитателях» сложилось у меня крайне мрачное», — говорит Марко Вовчок устами рассказчика. Селение Терны и близлежащий женский монастырь не привязаны к какому-то определенному месту. Они могли находиться где угодно, в любом уголке России. То, что творилось там, творилось везде. Обобщенность картин и образов оттеняется смешанным русско-украинским колоритом, последовательно выдержанным на всем протяжении романа. Но при этом писательница так точна в деталях, что в обители, которую она изобразила, узнали Немировский женский монастырь^[48].

В изолированной от народа среде вырабатывается свой кастовый жаргон. Характеризовать эту чужеродную среду нужно было специфическими речевыми средствами. Здесь проявилось в полной мере искусство стилизации.

Ешевский, ознакомившись с рукописью, с изумлением спросил: «Как это Вам бог помог подделаться так под семинарский язык?» — и в то же время не скрыл досады. Не стоило, по его мнению, тратить столько «тяжелого труда, чтоб овладеть этой тяжелой искусственной формой».

Марко Вовчок ответила коротко и ясно: «Я довольна, что слог вас рассердил — значит, удался и поверите ли — труд с ним незаметный и легкий. Я ведь знала этих людей когда-то и наблюдала — живое впечатление всегда остается у меня и не умирает».

Даже такой величайший знаток русского языка, как Лесков, при том,

что он относился к писательнице без симпатии (он не прощал ей разрыва с мужем), воздал должное ее мастерству. Правда, Лесков полагал, что «Записки причетника» были написаны после возвращения в Россию, и нашел в этом повод заявить, что лучшие произведения рождаются на родной почве. Однако, как мы знаем, нет правил без исключений. Вот что писал Лесков в своих «Русских общественных заметках» (1869): «России нынче нельзя изображать, не живя в России, И тому, между прочим, лучшее доказательство писательница, скрывающаяся под псевдонимом Марко Вовчка. До житья ее в Париже это был если не глубокий, то чуткий и очень симпатичный талант. Все, что она написала за границу, совсем отменилось: дарований как не бывало... Но прошло мало времени, Марко Вовчок окунулась в ходящие ходенем волны нашего житейского моря, и вот перед нами в «Отечественных записках» опять верный и мастерский рассказ («Записки причетника»), Такова сила жизни, захватывающей и увлекающей чуткую душу и диктующей ей и хваленья и пени».

В январе 1876 года к Марии Александровне обратился французский переводчик Огюстен Тест с просьбой прислать полную рукопись «Записок причетника», так как он не считает возможным опубликовать роман, не имеющий конца: французы этого не любят. Писательница могла только возразить, что «первая часть — сама по себе законченный рассказ». Прошло много лет. В 1904 году она получила из Парижа перевод своего романа, напечатанный под заглавием «Popes et popesses» («Попы и попадьи») и пришла в ужас: «Теперь он, Тест, не дождавшись конца, закончил сам по своему вкусу — конечно, ужасно, с Natachami Pavlovnamі и т. п. и с приведением причетника в мирную брачную пристань...» Но, внимательно прочитав, заявила, что в общем-то перевод не дурной, а если «ленивый подлец автор до сих пор не дает продолжения», заставив переводчика приделать конец по своему усмотрению, то, значит, «автору не позволили обстоятельства». В другом письме к Богдану она добавила, что «конец авторский все-таки существует».

Как это понимать? Продолжение было написано или существовал разработанный замысел? Вернее второе. Но так или иначе, продолжение романа должно было получить совсем иное развитие. Ведь она сама говорила Ешевскому: «Это только не главная, первая часть — главное будет у меня во второй». Причетнику готовилась, конечно, не «мирная брачная пристань», а тернистая дорога борьбы, чтобы приблизить будущее, приблизить время, когда «беззакония... прейдут и воссияет, наконец, солнце правды и добра!».

ЗОВЫ ВРЕМЕНИ

*Дорого стоит и туго идет подвиг — так туго,
будто и нет его — остаются только надежды на
лучшее*

Марко Вовчок, Из записной книжки

Неудача с «Записками причетника» смешала все расчеты и планы. На протяжении почти четырех лет (с февраля 1864 по декабрь 1867 года) в России не удалось ничего напечатать, кроме дюжины парижских очерков и сборничка украинских сказок. Громкое имя Марко Вовчка словно кануло в Лету. Критики говорили об оскудении таланта, читатели стали забывать ее книги.

Но писательница продолжала работать. Не желая прилаживаться к новым веяниям и угождать невзыскательным вкусам, она стоически переносила невзгоды. Приглушенный голос шестидесятницы, ни в чем не уступавшей реакции, прорывался в ее новых вещах, которые писались впрок, в надежде на лучшие дни.

В повести «Маруся» отважная девочка совершает патриотический подвиг, помогая посланцу Запорожской Сечи связаться с нужными людьми, готовящими восстание против внутренних и внешних врагов Украины. Действие происходит в шестидесятых годах XVII века, когда народные массы поднимались на борьбу с татарами и поляками, козацкой старшиной и царскими воеводами. «При Богдане Хмельницком Украина как будто приотдохнула, но после его смерти такие смуты опять наступили, такие беды, что, говорят, тогда самые грозные глаза плакали и самые мудрые головы кружились». Вольнолюбивые песни сечевика и его хитроумные разговоры с козаками о переживаемом лихолетье, супостатах и предателях сказали бы современникам еще больше, если бы повесть была издана без задержки. Но случилось с нею то же, что и с «Записками дьячка».

В предисловии к сочинениям Александра Левитова его друг, писатель Ф. Нефедов, вспоминает, как тот показывал ему рисунки к исторической повести «Маруся», полученной от Марко Вовчка для несостоявшегося литературного сборника. Нефедов относит этот эпизод к 1864 году, хотя похоже, что он ошибся на год или два. Как бы то ни было, повесть попала в печать только в 1871 году с указанием «перевод с малорусского».

Украинский текст до нас не дошел, если не считать фрагментов из записных книжек, но именно на Украине в переводе В. Доманицкого «Маруся» получила признание как один из шедевров классической детской литературы, а во Франции в обработке Сталя (Этцеля) выдержала десятки изданий. Об удивительной судьбе этой повести мы еще будем говорить.

Обращаясь к давнему прошлому, Марко Вовчок откликнулась на зовы времени. В трудах украинских историков содержалась бездна поучительных сюжетов, а в эпических думах захватывали воображение величавые образы «козацкого батько» Богдана и его верных соратников. Навеванный думами народный взгляд на историю освободительных войн определяет ее отношение к героической старине и художественное своеобразие не только «Маруси», но и начатых в тот же период «Гайдамаков» и «Саввы Чалого». Писательница избегает исторической конкретизации, выдвигает на первый план не прославленных деятелей, а безвестных героев из народа, настраивает повествование на былинный лад, вкладывая рассказ в уста сказителя.

Исторические события должны были в ее трактовке перекликаться с современностью. От шестидесятых годов XVII века протягиваются нити к шестидесятым годам XIX. В «Гайдамаках» готовится всенародное восстание против врагов родины — угнетателей и грабителей украинских землепашцев. В «Савве Чалом» речь идет о предательстве предводителя гайдамацкой дружины, переметнувшегося к полякам и заплатившего за свое предательство смертью. Обдумывая этот сюжет, подсказанный историческими песнями, Марко Вовчок признавалась Ешевскому: «У меня мало-мало осталось друзей против прежнего, хоть я много слышу еще лестных речей. Самое горькое — это то, что многие потопились не *в море*, а *в калюжах*»^[22].

Обе повести остались незавершенными. Парижская рукопись «Саввы Чалого» испещрена карандашными пометками — следы позднейшей работы. К «Гайдамакам» она вернулась в последние Годы жизни: переписала их заново по-украински, но не успела довести до конца.

«Жизнь человеческая, как говорится, не прямоезжая, ровная, гладкая дорога. Ох, сколько рытвин, пропастей и всяких напастей!» — эти слова из вступительной главки к «Марусе» объясняют трагедию украинской писательницы. У нее не было сил и возможности бесконечно писать без адреса, без всякой перспективы довести свои труды до читателей. Не будь проклятого валуевского циркуляра, она подарила бы Украине еще не одну прекрасную книгу.

РЮ ЖАКОБ, 18

Чтобы добыть средства к жизни, пришлось искать литературную работу в Париже. Весной 1864 года Мария Александровна обратилась по рекомендации Тургенева к издателю Этцелю, готовому оказать любую услугу знаменитому русскому писателю, чьи сочинения он издавал во французских переводах. В назначенный день и час Пьер Жюль Этцель — высокий сухопарый мужчина лет пятидесяти, похожий на Дон-Кихота, принял ее с наивозможной учтивостью в своем рабочем кабинете на Рю Жакоб, 18, где помещалась издательская фирма «Librairie I. Hetzel et C^{ie}».

Украинская писательница, оказавшаяся живой, интересной, симпатичной молодой дамой, произвела на него тем большее впечатление, что Тургенев говорил о ее самородном таланте и большой популярности в России. Марко Вовчок с радостью согласилась перевести для Этцеля несколько своих рассказов с тем, чтобы он опубликовал их в парижских журналах, а затем выпустил отдельной книгой. Удовлетворенная этой первой встречей, она лишь позднее узнала, с каким замечательным человеком ей довелось познакомиться.

Прогрессивный издатель и литератор, известный под псевдонимом П. Ж. Сталь, Этцель выдвинулся в революционные годы как политический деятель и занимал видные посты в республиканском правительстве. После государственного переворота 1851 года он девять лет находился в изгнании, не прекращая борьбы с ненавистным узурпатором «Наполеоном Малым». В частности, Этцелю принадлежит заслуга издания и нелегального распространения во Франции политических стихов Виктора Гюго «Возмездие». Когда была объявлена амнистия, Этцель вернулся на родину и возобновил издательскую деятельность, преследуя не столько коммерческие, сколько культурно-просветительные цели.

В доме Этцеля собирался весь цвет французской литературы. В разные периоды он поддерживал дружеские отношения с Бальзаком, Сент-Бевом, Ламартином, Жорж Санд, Гюго, Мюссе, Мериме, Доде. Его обширная переписка с литераторами, педагогами, художниками, учеными — живая летопись французской культуры чуть ли не за полвека.

Благодаря Тургеневу в круг его друзей вошла и Марко Вовчок.

С многочисленными издательскими начинаниями Этцеля связан расцвет французской литературы для детей и юношества, ее недолгий «золотой век», продолжавшийся с начала шестидесятых до середины

восьмидесятых годов Легко понять и оценить значение его деятельности, если вспомнить, что детские книги писались тогда преимущественно дилетантами и были далеки от подлинного искусства. Этцель считал своей жизненной задачей противопоставить сентиментально-мещанскому чтиву реальные художественные ценности. Для этого нужно было создать как можно больше хороших книг, отвечающих запросам времени. Прежде всего издатель привлек к сотрудничеству талантливому педагога Жана Маса и начинающего романиста Жюль Верна, вскоре прославившего себя на весь мир грандиозной серией «Необыкновенных путешествий». С марта 1864 года они приступили к изданию «Иллюстрированного журнала воспитания и развлечения», который выходил на протяжении сорока с лишним лет и считался образцовым юношеским журналом. Изречение Этцеля «Мы должны учить и воспитывать, развлекаая» было принято как программное требование.

Кроме самих редакторов, в журнале сотрудничали в разное время Эркман и Шатриан, Гектор Мало, Эдуар Лабуле, Жюль Сандо, Андре Лори (псевдоним известного публициста, участника Парижской коммуны Паскаля Груссе), астроном Камиль Фламарион, географ Элизе Реклю, химик Анри Сент-Клер Девиль, художники-иллюстраторы Гюстав Доре, Жан Гранвиль и многие другие знаменитости, обеспечившие «Журналу воспитания и развлечения» международное признание.

Естественно, что в лице Марко Вовчка Этцель хотел видеть сотрудницу только что созданного — детского журнала. Но представленные ею сказки «Галя» и «Невольница» показались ему слишком чужеземными и даже, как он выразился, «диковатыми».

«Поищите среди Ваших произведений то, что будет ближе к нашим нравам, что будет не так далеко от французской действительности», — потребовал издатель, еще раз подтвердив, что сделает все возможное, чтобы Марко Вовчок нашла во Франции своих читателей: «Я хотел бы быть *по-настоящему* полезен Вам. Нужно начинать с полного успеха. Половинный успех будет недостаточен».

«Галя» и «Невольница» были переданы им в какой-то другой журнал, а до издания отдельной книги дело так и не дошло: Мария Александровна все не могла собраться подготовить к печати сборник, хотя Этцель ей не раз об этом напоминал.

Он ввел ее в круг своих ближайших сотрудников, познакомил со многими писателями, чьи книги она потом переводила в России, и с ее будущими французскими переводчиками Тестом и д'Отривом. В сентябре 1865 года имя *Marco Wovzoc* впервые появляется на титульном листе

«Журнала воспитания и развлечения» в списке постоянных сотрудников. И пока издание журнала не прекратилось, каждые две недели на протяжении сорока лет он напоминал французским читателям о существовании украинской писательницы...

Первое ее произведение — сказка «Мелася» (французский вариант «Медведя») — попало на страницы «Журнала воспитания и развлечения» только в марте 1866 года; вторая сказка, уже упоминавшаяся «Злючка-Колючка и Добрая Роза», была напечатана спустя несколько месяцев, а все остальные вещи — в последующие годы, когда она жила в Петербурге. Активное сотрудничество Марко Вовчка в журнале Этцеля приходится на конец шестидесятых и вторую половину семидесятых годов. Тогда же Этцель выпускал некоторые ее рассказы отдельными книжками в серии «Альбомы Сталя», превратил рассказ «Сон» в повесть «Скользкий путь», изданную в соавторстве, и пересказал «Марусю».

А между тем Пассек заметил в одном из писем к брату, что в Париже Марии Александровне платят аккуратно, но немного, и живут они на эти скромные заработки. Отсюда легко заключить, что она выполняла какие-то литературные заказы еще до того, как начала печататься у Этцеля. Возможно, это были переводы с русского. Но в каких изданиях, кроме «Журнала воспитания и развлечения», публиковались на французском языке ее оригинальные или переводные произведения — установить пока что не удалось.

Переписка с Этцелем, возникшая летом 1864 года, прекратилась в 1885 году, незадолго до его кончины. В архиве Марко Вовчка сохранилось 105 писем издателя, освещающих всю историю их деловых и дружеских отношений. Можно проследить по этим письмам, как он заботился о ее материальных интересах, давал практические советы, ободрял и утешал в трудные часы жизни. Обращался он к ней не иначе как «Дорогой друг», «Дорогая Мари», «Мое дорогое большое дитя». На первых порах он договорился с петербургским издателем М. О. Вольфом, что тот издаст в ее переводе «Приключения капитана Гаттераса» Жюль Верна и «Маленького парижанина» Бреа. Но переводы этих книг, выполненные или начатые в Париже, напечатаны были значительно позже: с Вольфом контакт не установился.

При посредничестве Марко Вовчка Этцель заключает соглашение с издателем Звонаревым и делает ее своей представительницей в Петербурге. Он регулярно высылает ей оттиски еще не изданных отдельными книгами романов Жюль Верна и Звонареву — клише иллюстраций. Благодаря такой оперативности новые книги появлялись почти одновременно в Париже и —

в переводах Марко Вовчка — в Петербурге. Выходивший под ее редакцией журнал «Переводы лучших иностранных писателей» заполнялся в значительной мере произведениями французских авторов, полученными от Этцеля. Интенсивное сотрудничество с ним в Петербурге и Париже продолжалось свыше десяти лет. За это время Марко Вовчок подарила русским читателям целую библиотеку переводных книг.

Наибольшую известность принесли ей как переводчице романы Жюль Верна, заявившего издателю перед ее отъездом из Парижа, что он целиком и полностью доверяет «этой умной, интеллигентной, образованной женщине, тонко чувствующей и превосходно знающей французский язык».

Тем самым Жюль Верн авторизовал ее будущие переводы.

Этцель часто повторял, что по своему таланту она вполне могла бы занять заметное место во французской литературе, если бы осталась во Франции, но талант ее вырос в России и должен принадлежать родине. Потому, когда ей представилась возможность вырваться из Парижа, Этцель, как ему было ни грустно, мог только одобрить такое решение: «Я вижу Вас уже за тысячу лье отсюда, живущую в нормальных условиях и занятую воспитанием сына. Я вижу, как возрастает Ваша репутация благодаря произведениям, достойным Вашего пера... Я уверен, что Ваша душа, освобожденная от тревог и волнений, поможет Вам осознать, что тот, кто говорит Вам эти слова, думает о Вас гораздо больше, чем те, кто вынуждали Вас терять лучшие дни Вашей жизни».

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Пассек продолжал трудиться над проектом преобразования тюрем. Архаическая система уголовных наказаний, как и во всех других областях законодательства, привязывала Россию к феодальному прошлому. В статьях, опубликованных в «Библиотеке для чтения» и «Современнике», он требовал прежде всего облегчения участи малолетних правонарушителей, предлагая организовать для них специальные исправительные заведения на гуманных началах.

Мария Александровна, увлеченная этой идеей, носилась с мыслью учредить где-нибудь в России образцовую детскую колонию и поработать в качестве воспитательницы. Своими планами она делилась с Ешевским:

«Жду, что будет дальше, и очень желаю, чтобы пошло все это впрок, — так желаю, что даже больно иногда становится от желания, как от недуга какого. Кроме всего доброго, что вам известно, из этого может выйти, есть еще тут, что, кажется, вам неизвестно и чего вы не подозреваете. — я тоже хочу устроить кое-что».

«После преобразования тюрем уповали на устройство колоний для детей, для мальчиков и раз если бы это принялось, тогда то же можно бы устроить было и для девочек — вот вам разгадка того, о чем вы спрашивали. Я все время, давно уже раздумываю и соображаю, как лучше это устроить, если будет возможность».

Поездка в Петербург ранней осенью 1864 года ободрила Пассека. Добившись с помощью князя Орлова приема у министра внутренних дел Валуева, он получил заверения, что его докладная записка будет рассмотрена. Но, как и следовало ожидать, надежды молодого юриста не оправдались. Царское правительство не спешило с реформами, а потом, после каракозовского выстрела, всякие преобразования были сочтены неуместными.

Ешевский, не обольщаясь иллюзиями, советовал Пассеку обратить внимание на социальную сторону тюремного вопроса и не ограничиваться чисто юридическим исследованием: «Не забудьте, что одна из самых интереснейших глав современной истории России может быть прочитана только в тюрьмах». Он хотел бы видеть в правоведческих трудах Пассека публицистическую остроту и неприкрытую гражданскую направленность. Вполне возможно, что Александр Вадимович пошел бы по этому пути, не оборвись так рано его многообещающая деятельность.

Но еще раньше умер Ешевский. Мария Александровна ни разу не видела его после Рима, и когда он приехал на лечение в Ахен, с радостью писала ему в ожидании скорой встречи: «Странное что-то есть в близком присутствии дорогого нам человека, как-то не так стало мне даже житья с тех пор, как знаю, что вы недалеко, — точно прибавилось какой-то благодати, — мне и грустней стало и вместе чувствуешь, что не все еще так безотраднo». Но не довелось навестить его в Ахене — помешало отсутствие денег: «Если не увижу вас — не то что жалко, а больно станет». «Увидимся ли мы с вами? Иногда мне кажется, это невозможно не увидаться. Так мало таких свиданий, и дают они так много».

С тех пор не прошло и года, как доброжелательный, умный, отзывчивый Степан Васильевич скончался после долгой болезни, не дожив до тридцати шести лет. Талантливый историк, не успевший выполнить и десятой части задуманного, умер в Москве в мае 1865 года.

Чем больше сужался круг близких людей, тем сильнее привязывалась она к Пассеку. О таком идеальном браке могла только мечтать любая эмансипированная женщина. Это был свободный союз двух любящих сердец, основанный на взаимном уважении, доверии и преданности. И даже Татьяна Петровна Пассек, обезоруженная сообщениями из Парижа своего младшего сына Владимира, должна была смириться с неизбежностью и сделать первые шаги к «признанию» Марии Александровны.

Прожив более двух месяцев в Нейи, где ему был оказан радушный прием, Владимир Пассек, засланный в Париж, чтобы еще раз попытаться оторвать «Бритю» (семейное прозвище А. В. Пассека) от «волчицы», вынужден был капитулировать. 18 марта 1865 года он писал матери в Москву: «Я всячески стараюсь с ним и с М. А. войти в самые близкие отношения. Я забочусь об этом, чтобы твои отношения с М. А. были лучше, потому что, как я вижу, Бритя и М. А. друг друга очень любят, Брите же очень горько, что мы и М. А. в таких или, лучше, в никаких отношениях. Да и мне, так как у Брити с ней дело уже поконченное, тоже хотелось бы, чтобы наши общие отношения были другие...»

...Труд Пассека близился к завершению. Почти все материалы для «Проекта о преобразовании тюрем» были собраны. Оставалось только изучить постановку тюремного дела в Англии и Ирландии. 24 июня он известил брата, что деньги из Москвы не пришли и на дорогу дала ему Мария Александровна, получившая небольшую сумму в Париже. Поездка в Англию и Ирландию оказалась для него роковой. В сыром климате вспыхнул застарелый туберкулез. Прасковья Петровна (мать писательницы)

вернулась в Россию, и Марко Вовчок осталась одна с больным Пассеком. В феврале 1866 года Александр Вадимович сообщил своему брату, что здоровье его стало совсем плохо, о возвращении в Петербург нечего и думать и вдобавок ко всему лечение обходится очень дорого: «Имевшееся, при всей экономии, давно исчезло, и вот целую зиму держусь и лечусь единственно благодаря заботам М. А. без всякой подмоги со своей стороны».

...Пассек, чувствуя, что силы уходят, торопился закончить книгу, поручив Марии Александровне добиться издания, если сам он не вернется в Россию. Она писала под его диктовку, переписывала страницу за страницей, вычитывала и правила рукопись.

Состоялся консилиум. Врачи вынесли приговор. Марко Вовчок нарисовала в своей записной книжке гильотину. Под рисунком подпись: «Париж 1866, 9 апреля».

Делая все, чтобы продлить его жизнь, в августе она отправилась с Пассеком в Ниццу.

В конце сентября Пассек умер в Ницце у нее на руках. Оглушенная горем, она заказала оцинкованный гроб и по желанию Татьяны Петровны повезла покойника в Москву. Заложив в ломбарде все, без чего можно было обойтись, 6 октября 1866 года Марко Вовчок выехала из Парижа, а спустя несколько дней, когда до Баден-Бадена дошли печальные вести, Тургенев написал Этцелю: «Мне очень жаль г-жу Маркович, но такой исход был почти неизбежен. Бедный г. Пассек был похож на живой скелет. Какое грустное для нее путешествие!..И вот теперь она, сильная и здоровая, приехала вместе с этими жалкими останками. Не могу понять, зачем нужно перевозить тело, чтобы похоронить его не там, где его настигла смерть. Во всяком случае, г-жа М. делает это не из религиозных побуждений. Ну да что об этом говорить!»

После похорон на кладбище Симонова монастыря Мария Александровна срочно выехала в Петербург и, дождавшись князя Орлова, вверила его заботам рукопись Александра Вадимовича. Протекция влиятельного дипломата (в то время он был русским послом в Бельгии) возымела действие: в 1867 году «Проект о преобразовании тюрем» вышел отдельной книгой, вызвал в печати сочувственные отклики и был забыт, как многие другие проекты.

Хотела она также выпустить и сборник статей Пассека, заручившись согласием его матери: «Я бы привела в тот порядок, как он желал, — я привыкла к этому, потому что столько лет была его секретарем и корректором, и он говорил, что без меня работать бы не мог — значит, был

мною доволен...Все его статьи всегда я приготавливала к печати, и как дорого мне каждое слово его, как я сохраню его, вы сами, верно, знаете». И дальше следуют строки, из которых видно, что сборник затевался совместный: «У меня есть тоже переводы и мои статьи — все это написанное по его желанию. Ему очень хотелось и очень радовало, что мое имя будет тут же».

В чем выразилось ее авторство и каковы были эти статьи, неизвестно, так как материалы из архива Пассека до нас не дошли. Попытка писательницы заинтересовать проектируемым сборником издателя «Вестника Европы» Стасюлевича успеха не имела.

Получив у Яковлева остаток денег за авторские переводы украинских сказок, она снова вернулась в Москву, провела там почти целый месяц и на обратном пути в Париж опять остановилась в Петербурге у Софьи Карловны Пфель.

18 ноября 1866 года был выпущен из заточения Писарев. Освободили его под поручительство матери без права отлучаться из столицы. Как только он покинул стены Петропавловской крепости, где провел 4 года 4 месяца и 18 дней, за ним было тут же установлено «длительное наблюдение».

Раиса Коренева, в прошлом невеста Писарева, отдавшая руку и сердце некоему Гарднеру, 23 ноября сообщила из Москвы Варваре Дмитриевне, поздравив ее с освобождением Мити: «На днях Марья Александровна едет в Петербург».

В конце ноября состоялась ее встреча с Писаревым, неузнаваемо изменившимся за те годы, что они не виделись. Дмитрий Иванович много раз повторял, что будет с величайшим нетерпением ждать ее' возвращения и постарается обеспечить литературной работой.

В начале декабря Мария Александровна была уже в Париже. Следующие два месяца прошли как в кошмарном сне. Мучительные головные боли, бессонница, затяжная простуда, отчаянные письма в Петербург и Москву с просьбами прислать на короткое время двести или триста рублей, чтобы раздать долги и выбраться из Парижа...

В тоске и одиночестве она встретила 10 декабря. Ей исполнилось 33 года. По тогдашним понятиям — «бальзаковский» возраст, рубеж, за которым остается молодость.

Вот размышления и жалобы, подводящие итог самой счастливой и так резко оборвавшейся полосы ее жизни:

В. В. Пассеку (9 декабря 1866 года): «Невыносимо мне без моего Саши. Все осталось в мире по-прежнему, все по-прежнему я вижу, но все

потеряло для меня радость свою. Может, еще много я перечувствую, но уже от радости прежней не встрепенется сердце. Отчего я не могу еще хоть раз обнять его и перенести хоть, как в последнее время, с кровати на диван?... Чужая рука ни одного разу не коснулась его, и до конца он все желал видеть меня».

Т. П. Пассек (10 декабря 1866 г.): «В моей жизни ничто не сбивало меня с принятой дороги, и хотя часом бывало трудно, я все-таки шла по ней и в том, что зовут слабостью, ни я сама, ни другие не упрекнули меня, но я всегда думала и теперь уверена, что тогда только и счастье женщине, когда она так верит, так любит, что покоряется во всем любимому человеку... Есть люди, которые склонны говорить, что он от всего оторвал меня, повредил моему таланту — пусть говорят. Я благословляла его, моего единого и верного друга, за каждое его слово, за каждый взгляд, за каждый совет и желание, благословляю всю жизнь нашу от первого мгновения, когда увидела его, до последнего, когда с ним простилась».

В начале января Мария Александровна, покинув домик в Нейи, поселилась в меблированных комнатах у площади Этуаль, а Богдана поместила у знакомых. Денежные переводы и письма из России приходили на адрес Этцеля. Наконец все было ликвидировано, долги уплачены и можно было собираться в путь.

По дороге в Петербург она заехала с Богданом в Варшаву, встретила там с матерью, прибывшей по ее вызову, и, как было заранее условлено, оставила их на некоторое время у брата А. К. Пфеля — варшавского чиновника. Сама же поспешила в северную столицу налаживать свои расстроенные дела.

Писарев писал ей в Варшаву: «Друг мой Маша! Сегодня я мог уже ждать от тебя письма, но до сих пор его еще нет... Мне очень хочется Вас видеть, так хочется, что даже плохо верится в Ваше возвращение. Тебе странным покажется, что я вдруг написал тебе «Вы». Это у меня такая привычка. Когда я начинаю нежничать с людьми, которым я обыкновенно говорю «ты», тогда у меня непременно является «Вы». Это «Вы» заменяет множество ласкательных эпитетов, на которые я вообще не мастер».

22 февраля 1867 года Марко Вовчок приехала из Варшавы в Петербург. На вокзале ее встретил Писарев,

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

В СТОЛИЦЕ

ДЕРЗКИЕ ЗАМЫСЛЫ

Марко Вовчок не оставляла мысли «работать для Украины», и не вина ее, а беда, что все начинания были обречены на провал.

Еще в Париже у нее завязалась переписка с инициатором «Украинского сборника», студентом Московского университета Феликсом Волховским. Узнав от М. М. Лазаревского, что он заслуживает всяческого доверия, она отдала ему «Записки дьяка». По-видимому, это был украинский «Дяк», так как русскую повесть запретила духовная цензура, и рукопись осталась у Благосветлова. Осенью 1866 года Мария Александровна встретилась с Волховским в Москве, а через несколько месяцев он был арестован как руководитель студенческой «Малороссийской общины». Спустя некоторое время Волховский организовал вместе с Германом Лопатиным революционно-просветительское «Рублевое общество» с целью издания и распространения среди крестьян научно-популярной и художественной литературы. При вторичном аресте у него были изъяты два письма Марко Вовчка и несколько десятков ее книжек, которые он не успел разослать по селам.

Закрытие «Основы» и типографии Кулиша лишило украинских литераторов объединяющего центра. Доходное место в Царстве Польском сделало Белозерского рабом мундира. Свидание с ним в Варшаве оставило горький осадок. Испуганный последними событиями, он держался настороженно и не хотел даже вспоминать о своей прежней деятельности. Вот уж действительно человек потопился **не в море, а в калюже!**

А Кулиш? Все такой же надменный и заносчивый, он служил заурядным чиновником. Жизнь впрягла его с Белозерским в одну телегу. Непризнанный гений, светоч украинского слова, он, Кулиш, должен был терпеть покровительство недалекого бесталанного шурина, которого в душе презирал. Как хотелось ему вырваться из этой упряжки!..

Ганна Барвинок окидывала Марию Александровну осуждающе-леденящими взглядами. «Марко Вовчок, — писала она приятельнице, — проездом на жительство в Петербург была у Васи [В. М. Белозерского]. Я у его. дверей с ней столкнулась. Но я ее не узнала до крайности. Но она сама ко мне обратилась. «Александра Михайловна!» — «Да». Подает руку. «Но я вас не имею удовольствия знать?!» — «Маркович», — отвечает. «Не знаю, не припоминаю». Потом мелькнула мне мысль. «Марко Вовчок?» —

спрашиваю. «Да». Так изменилась... Погана зробилась. Чоловік жде, а вона не хоче їхати до його».

Кулиши еще выльют на ее голову не один ушат помоев, но с ними и с обходительным Василием Михайловичем мы расстанемся на этой странице. Зато Надя Белозерская сохранит и приязнь и отзывчивость. Писательница подарила ей фотографию: «На память Надежде Александровне. Варшава, 6 февр. 1867 г.». Много испытаний вынесет Белозерская с тремя детьми при живом преуспевающем муже. Она скоро вернется в Петербург и вернется в нашу повесть как ближайшая подруга и сотрудница Марко Вовчка...

На кого же теперь опереться и кто поможет осуществлению ее обширных планов? Солидный издатель! Марко Вовчок постарается вместе с ним возродить в Петербурге украинский литературный центр, объединить писателей, связанных общими интересами и желанием работать для Украины. Пусть даже на первых порах придется издавать только русские книги. Важно начать, а потом все образуется. Под эгидой Марко Вовчка будут выходить оригинальные сочинения на двух языках и многочисленные переводы. Договоренность с Этцелем гарантирует полный успех. Она сама станет на ноги и поможет собратьям по перу...

Нет, это не сказка о разбитом кувшине! Она надеется на свои силы, верит в свою счастливую звезду...

Издатель нашелся. Это был Иван Иванович Папин, чиновник-украинец, близкий к петербургской «громаде». Он проникся идеей, поддержал замысел и немедленно приступил к делу. Начал с издания сочинений Марко Вовчка в трех томах. В первый том должны были войти все рассказы из украинского народного быта, во второй — все рассказы из русской жизни, в третий — «новые произведения автора, до сих пор еще нигде не напечатанные».

Но прежде всего, чтобы обеспечить оборотный капитал, Папин выпустил в переводе Марко Вовчка сенсационный роман Андре Лео «Возмутительный брак».

Французская писательница Андре Лео (псевдоним Леони Шансе, составленный из имен двух ее сыновей) защищала в своих романах женское равноправие. В дальнейшем она получила известность как активная участница Парижской коммуны. Мария Александровна познакомилась с ней у Этцеля и заинтересовала ее творчеством Писарева, поместившего в «Отечественных записках» большую статью о романах Андре Лео.

Папин располагал некоторыми средствами, но не имел издательского

опыта. Было решено призвать Каменецкого (после ликвидации украинской типографии он служил в Перми ревизором контрольной палаты).

«Данило Семенович, я пишу к вам не только от себя, но от имени других земляков ваших, — мы просим вас возвратиться в Петербург. Все здесь устроено, и остается только вам написать, что вы желаете приехать сюда, — вас перевезут. Приезжайте, Данило Семенович. Здесь есть теперь работа, и хорошая работа. Я остаюсь на житье в Петербурге, и если вы не прочь, то мы поселимся с вами вместе. У меня уже есть квартира на годы.

Не пишу вам обо всем подробно, потому что надеюсь вас скоро увидеть, — скажу только, что работа есть, работа хорошая и ее много. Между прочим, предпринимается издание одно, очень полезное, под моим именем. Не пугайтесь моей неопытности в деле и вообще моего неумения дела вести; деловая часть лежит на Иване Ивановиче Папине, который вам кланяется и тоже просит приехать сюда».

Указан обратный адрес: **В Петербург. На углу Итальянской и Надеждинской, дом Овсянникова, № квартиры 26.**

Это была огромная барская квартира гражданского генерала Пфеля, чиновника особых поручений в ведомстве императрицы Марии. Писательница и на этот раз остановилась у своей подруги Сонечки и прожила у Пфелей весну и лето 1867 года. В конце июля, когда дела прояснились, она сняла квартиру из нескольких комнат в одном из домов купца Лопатина, на Невском, 98.

Письмо Каменецкому было написано незадолго до новоселья. Действительно, друзья помогли ему перебраться в Петербург, но его сотрудничество с Папиным не состоялось. При первых же трудностях энтузиазм Папина угас. Другой издатель нашелся не скоро. Но это предприятие уже не имело ничего общего с первоначальным замыслом. С объединением украинских литературных сил вокруг издательства, душою которого была бы Марко Вовчок, ничего не получилось. С этого времени она надолго отходит от украинской литературы.

Немалой победой в сложившихся условиях было и то, что Марии Александровне удалось выпустить первый из трех томов сочинений, в котором подводился итог целому десятилетию ее деятельности в украинской литературе. Какое значение она придавала этому изданию, видно из предисловия: «Многие повести, написанные Марко Вовчком на малороссийском языке, переводились и печатались во время отсутствия автора. Перевод, не просмотренный автором, часто оказывался далеко не точным; эти неточности иногда извращали основной смысл рассказа и набрасывали на него такой колорит, который совершенно не соответствовал

намерениям и желаниям автора... Далее, различные обстоятельства места и времени, различные соображения редакции и других лиц, более или менее чуждые действительным интересам литературы и общества, вели за собой сокращения, искажения и тех рассказов, которые до сих пор известны читателям. Все эти причины, заставлявшие автора говорить не совсем то и не совсем так, что и как он хотел сказать, в настоящем издании устранены... Все издание, с первой страницы до последней, тщательно пересмотрено, выправлено и дополнено автором. Мысль автора выразилась теперь во всей своей чистоте и полноте, именно так, как хотел и умел выразить ее сам автор».

В первый том вошли переводы всех опубликованных украинских произведений и повести, написанные по-русски, но примыкающие по содержанию к украинскому циклу. Посчастливилось ввести «Институтку» и даже «Кармелюка», выброшенного цензором из сборника сказок.

После выхода первого тома Папин предпочел устраниваться. Но писательница на этом не успокоилась. В конце концов она добилась своего: выпустила собрание сочинений — и не в трех, а в четырех томах. Только радость была не велика. Издание растянулось почти на восемь лет.

КОНЦЫ И НАЧАЛА

Словно желая компенсировать себя за долгие месяцы вынужденного простоя, она работала с утроенной энергией — писала «Живую душу», переводила с французского и английского, редактировала свои сочинения, держала корректуры, готовила Богдана, основательно забывшего русский язык, к поступлению в гимназию. Оставшись с матерью и Богданом в пустой квартире (Пфели уехали на лето в деревню), она старалась не терять ни часа. Столь упорядоченный образ жизни ей самой казался неправдоподобным. Письмо к Этцелю о петербургском житье-бытье выдержано в пасторальных тонах:

«Я много работаю. Я начала произведение, которое у меня на сердце. Это моя утренняя работа, когда только одна я бодрствую. Потом начинаются уроки с моим сыном: диктант, история, чтение. Я справляюсь с этим как могу. Уроки кончаются, я берусь за переписывание. Я переписываю очень интересную вещь, и это мне не скучно. Потом уроки музыки с сыном. Затем я берусь за перевод, который должна сделать, который меня тоже интересуется и несколько мне не докучает. Это переписывание и этот перевод — прекрасное занятие, когда ты чувствуешь себя немного усталой. Это не требует размышлений. Иногда я сажусь за фортепиано и провожу за ним все свободное время, какое у меня остается».

Такой хотел ее видеть Этцель, и она не разрушала созданный им образ. На самом деле никакой идиллии не было, и этого не удалось утаить: «У меня большие неприятности и огорчения. Было бы долго посвящать вас во все подробности, и рассказ был бы не очень приятен, и я не люблю жаловаться».

Этцель потребовал объяснений. Какие тревоги омрачают существование его дорогой Мари? Он испытывает к ней отцовские чувства и хочет знать все, чтобы помочь хотя бы советом. Она должна быть с ним откровенной и ничего не утаивать...

Спустя несколько месяцев (в сентябре 1867 года) Этцель сопроводил очередное послание многозначительной сентенцией: «Нужно трезво смотреть на вещи, ибо если Вы будете считать кого-то совершенством и в один прекрасный день убедитесь, что это не так, то от этого будет тяжелее. Я говорю это в пользу того, кого Вы называете **Магометом**. Любите его меньше, чтобы любить всегда».

Легко догадаться, кого она называла Магометом. Это был Писарев. За

два с половиной года он создал в крепости почти весь свод своих сочинений, сделавших его властителем дум передовой молодежи. Чутко улавливая запросы жизни, он будоражил умы и сердца тысяч и тысяч читателей, но, находясь в изоляции, знал о своем успехе только понаслышке. И когда Павленков решил выпустить Полное собрание сочинений Писарева, его удивлению не было границ: «Где это видано, чтобы издавалось Полное собрание сочинений живого, а не мертвого русского критика и публициста, которому всего 26 лет и которого г. Антонович считает неумным, Катков — вредным, Николай Соловьев — антихристом и пр.».

Флорентий Федорович Павленков — одна из самых светлых личностей в демократическом движении шестидесятых годов. Его столкновения с цензурой, привлечение к судебной ответственности — после того, как была «заарестована» за «явное нарушение общественной благопристойности» вторая часть сочинений Писарева, — его знаменитая речь на суде, прозвучавшая как обвинение самовластию, арест и последующая деятельность в ссылке — героические страницы из истории борьбы за свободу слова в царской России.

После каракозовского выстрела были отменены все льготы политическим заключенным. Режим в Петропавловской крепости резко ухудшился. Писареву запретили работать. Почти восьмимесячное бездействие в четырех стенах каземата подорвало его душевные силы. Он вышел из тюрьмы надломленным человеком. Вот его собственное признание в письме к Тургеневу от 18 мая 1867 года: «А я все это время, уже около полугода, чувствую себя неспособным работать так, как работалось прежде, в запертой клетке. Вся моя нервная система потрясена переходом к свободе, и я до сих пор не могу оправиться от этого потрясения».

Писарева точно подменили. Его новые статьи не идут ни в какое сравнение с написанными в крепости. Куда девался боевой темперамент, публицистический пафос, наступательный дух?

Сказывалась, конечно, тягостная атмосфера тех месяцев, когда «полицейское бешенство достигло чудовищных размеров» (Герцен), когда цензурные репрессии, обыски и аресты загоняли в подполье вольную мысль.

Ко всему прочему, популярный критик остается без своего постоянного журнала, и это его еще больше травмирует.

После запрещения «Русского слова» Благосветлов приступил к изданию двухтомного сборника «Луч», а затем (с октября 1866 года) —

журнала «Дело», который при тех же ведущих сотрудниках должен был заменить «Русское слово» и отличаться от него лишь названием. Но в мае 1867 года Писарев порвал с Благодетелем.

Размолвки случались и раньше. Еще в декабре 1865 года Писарев жаловался на издателя: «Благодетель, пользуясь моим заключением, на днях обманул меня при окончательном расчете с лишком на 400 рублей». Купеческие замашки Благодетеля, его самоуправство и отсутствие «нравственной деликатности», при том, что это был передовой деятель, создали нетерпимое положение. Влиятельному писателю, чьи произведения определяли лицо журнала, он платил как начинающему автору, оправдываясь тем, что Писарев «очень легко» пишет, а в крепости «расходов мало». Между тем на свои литературные заработки Писарев содержал родителей и двух сестер. Имение в Грунце захирело, и только его гонорары спасали семью от нищеты.

Противоречия сглаживались, пока Писарев всецело зависел от издателя. А теперь даже мелкая бестактность могла переполнить чашу терпения. Благодетель этого не принял в расчет. В объявлениях об издании журнала «Дело» среди имен будущих сотрудников упоминалась и Марко Вовчок, хотя согласия у нее никто не спрашивал. Но у писательницы были к Благодетелю свои претензии. Он относился к ней невнимательно, не отвечал на письма, беспардонно задерживал гонорары и даже не удосужился вернуть «Записки дьячка», стоившие ей года работы.

На правах родственника Писарев потребовал, чтобы Благодетель извинился перед Марией Александровной. Тот ответил ей резким письмом: «...таким образом, дело сводится к обвинению меня за несоблюдение внешней вежливости, а именно — почему я не приехал к вам или не написал вам. Извините меня: у меня слишком много черной работы, чтобы надевать фрак и перчатки».

Это и послужило поводом для ссоры. В письмах к Шелгунову Писарев подчеркивал, что разошелся с Благодетелем «не из принципов и даже не из-за денег, а просто из-за личных неудовольствий». Но аргументы приводились серьезные: «Когда я увидел из его слов, что он считает себя за олицетворение журнала и смотрит на своих главных сотрудников, как на наемных работников, которых в одну минуту можно заменить новым комплектом поденщиков, то я немедленно раскланялся с ним...»

И дальше, в том же письме: «Так как я не имею возможности содержать в Петербурге целое семейство, то моя мать и младшая сестра в начале июня уехали в деревню, а я остался; ищу себе переводной работы и веду студенческую жизнь».

Писарев редактировал и частично переводил вместе с Марией Александровной «Жизнь животных» Брема и «Происхождение человека» Дарвина, получая по 5–7 рублей с печатного листа. Эти ученые труды издавал, привлекая многих переводчиков, известный палеонтолог В. О. Ковалевский. По его заказу Писарев перевел еще книгу Шерра «История цивилизации в Германии» и отредактировал для издателя Луканина «Физиологию» Дрепера.

Но только он успел загрузить себя столь неблагодарной работой, как получил предложение от Некрасова написать несколько статей для задуманного литературного сборника. Узнав о разрыве Писарева с Благосветловым, Некрасов поспешил заручиться сотрудничеством видного публициста, а затем, осенью того же года, привлек его вместе с Марией Александровной к «Отечественным запискам», которые откупил у Краевского.

Открывались отрадныe перспективы. Обновленные «Отечественные записки» при новом составе редакции вполне могли заменить Писареву потерянное «Дело». Нужно было только собраться с силами и обрести прежнюю форму. Еще недавно Влагосветлов твердил каждому встречному, что Писарев «умер уже давно как умственный деятель», а теперь, задетый за живое, безуспешно пытался через третьих лиц склонить его к возвращению в «отчий дом».

Ничтожный повод, из-за которого произошла ссора, переход Писарева в конкурирующий журнал и дальнейшие события не могли не отразиться на отношении к Марко Вовчку постоянных сотрудников «Дела». Личная неприязнь к писательнице проскальзывает даже в оценках ее творчества, как правило, далеко не объективных (статьи Шелгунова, Ткачева, Шашкова и др.). Этим же объясняется и антипатия к ней Павшенкова.

Но Писарев не мыслил своего существования без Марии Александровны, нашедшей в нем преданного друга и единомышленника. Чисто по-женски она оберегала его от посторонних влияний, которые могли бы воздвигнуть между ними стену, стать для него источником новых волнений и неприятностей. Ведь полиция следила за каждым его шагом, и любая оплошность могла его погубить.

«Сближение с вами дало ему полнейшую возможность оставить прежних друзей, — писал ей впоследствии В. И. Жуковский, товарищ Писарева по университету. — Они, конечно, поняли, что он не оставлял их только потому, что не находил выхода. Каким же образом могли бы они простить вам то, что в вас он нашел того лучшего друга, который по уму заменил ему прежних друзей и внес в его жизнь то оживляющее чувство,

которое может внести только любимая и любящая женщина».

И другой клубок противоречий: враждебное отношение родственников, болезненно переживавших отчуждение Дмитрия Ивановича. Ревнивая мать однажды уже разрушила его счастье, разлучив с младшей кузиной, Раисой Кореновой, и, конечно, он не допустил бы вторичного вмешательства в свою жизнь. Варвара Дмитриевна отлично это понимала, и тем не менее любовь сына к троюродной сестре, женщине «с прошлым» и уже не первой молодости, поразила ее в самое сердце. Примешивалась к этому и тревога о материальном благополучии семьи. Но, зная его душевное состояние, Варвара Дмитриевна пошла на подвиг самопожертвования.

Вот строки из ее письма от 15 августа 1867 года (оригинал на французском языке):

«В эту минуту я очень несчастна, более несчастна даже, нежели люди, не имеющие куска хлеба. Я получила от Мити письмо — он пишет, что ему... о, Маша... я знаю, что это безумие, что это письмо не приведет ни к чему, но все же ты ведь добра, умоляю тебя, сделай Мите жизнь легкой и счастливой... этими страданиями уничтожаются его умственные способности. О! мысль опять увидеть его в том состоянии помешательства, в котором я его уже видела один раз, не покидает меня со времени получения его письма. Если ты не можешь сделать ему жизнь приятной, что я говорю — счастливой, если ты не можешь его любить — пожалей его, по крайней мере пожалей меня, я у твоих ног, я тебя умоляю...»

Одновременно пришло печальное известие из Чернигова: Афанасий Васильевич умирал в больнице от скоротечной чахотки и выразил перед смертью желание повидать сына.

Нравственный долг призывал Марию Александровну поехать в Чернигов, но... она не могла пересилить себя. Все, что было связано с Афанасием, отошло в далекое прошлое. Всякие отношения, даже переписка, давно были прерваны. И кроме того, ей это было известно, рядом с ним находилась до последней минуты безутешная Меланья Авдеевна...

Богдан проводил лето у Мардовиных в Орловской губернии. Мария Александровна немедленно обратилась к одному из братьев Лазаревских — Федору Матвеевичу (он был управляющим Орловской удельной конторой) с просьбой помочь переправить Богдана в Чернигов.

Но время было медлительное, и вести спешили медленно.

9 сентября Е. П. Мардовина писала из Орла: «Бог мне свидетель, что если б я имела хоть какую-нибудь возможность, я на другой же день по

получении этого письма сама повезла бы Богдана к отцу, но поистине в настоящее время у меня к этому нет ровно никаких средств».

28 сентября взялся за перо Ф. М. Лазаревский: «Я бы давно исполнил эту просьбу, если бы Катерина Петровна доверила мне Богдася. Она не доверила мне, и я могу только сожалеть, что умирающему отцу она медлит (может быть, теперь уже поздно) доставить последнее утешение».

Увы, было поздно!

Афанасий Васильевич Маркович скончался в ночь с 31 августа на 1 сентября и был похоронен на Болдиной горе, неподалеку от древних курганов. В нескольких шагах от его скромной могилы возвышается теперь памятник Коцюбинскому.

О смерти надзирателя VI акцизного округа известила черниговская газета: «Покойный принадлежал к числу тех честных и бескорыстных деятелей, которые и в обществе и на служебном поприще пользуются общим сочувствием. Смерть его — конец тех тяжелых страданий, которыми сопровождалась последние дни его жизни».

Талантливый этнограф, немало сделавший для украинской культуры, остался в памяти потомства как вдохновитель творчества Марко Вовчка. Слава жены затмила его собственные заслуги.

«ЛОПАТИНСКАЯ КРЕПОСТЬ»

В сентябре 1867 года Писарев поселился в том же доме Лопатина на Невском проспекте, куда незадолго до этого переехала Мария Александровна. Целые дни он проводит в ее обществе, работает с нею за одним столом и только на ночь уходит в свою одинокую комнату, которую снимал у какой-то немки Эммы Ивановны.

Отныне они неразлучны. Вместе читают, вместе переводят, навещают знакомых, принимают гостей. Писарев живет одними интересами со «своей богиней», вникает во все ее дела, сближается с ее друзьями. Он относится с симпатией и к Карлу Бенни, приехавшему вслед за ней из Парижа с намерением завершить медицинское образование и обосноваться в Петербурге. Пока Богдан в Орле, Бенни занимает детскую. За обедом Писарев заводит с ним разговоры на естественнонаучные темы и выражает удовлетворение его осведомленностью. В другой свободной комнате на короткое время поселилась сестра Дмитрия Ивановича Вера. По вечерам заходят на огонек Софья Карловна Пфель и Надежда Александровна Белозерская, недавно покинувшая Варшаву; брат Белозерской, студент морского отделения Медико-хирургической академии Анатолий Ген и его приятели моряки; сестры Ген, Зинаида и Елена (впоследствии жена академика А. Н. Веселовского), и восторженная почитательница Писарева юная нигилистка Калиновская. Из литераторов бывают только Слепцов и Кутейников.

Мария Александровна, как всегда, окружает себя молодежью. Весь день она работает с Писаревым, не разгибая спины, а к вечеру все преображается. Дмитрий Иванович, постепенно осваиваясь с непривычной для него обстановкой открытого дома, входит в роль гостеприимного хозяина, становится оживленным и общительным. И даже при дурном настроении старается скрывать свои чувства: Маша запрещает ему быть «стеклянной коробочкой» — откровенничать с кем попало...

Варвара Дмитриевна, утешенная добрыми вестями, писала ей в конце октября: «Ты говоришь, что работа у него идет хорошо. Ведь это главное, что его тревожило. Ты говоришь, что бережешь его, потому что он становится тебе с каждым днем дороже, тогда я могу быть спокойной, стало быть, он может быть счастлив. Он лучше и честнее всех, кого я теперь вижу, — говоришь ты...»

Они сходились во всем главном, но единодушие не ограждало от

споров. Она лучше других понимала силу и влияние Писарева, восхищалась его умом и талантом. Однако в отличие от Калиновской и ей подобных восторженных «нигилистов» Марко Вовчок никак не могла принять некоторых его доктрин, например, «ниспровержения» Пушкина или нелепой теории эгоизма, которую на каждом шагу опровергало его собственное поведение. Да и как бы мог такой альтруист, как Писарев, согласовать теорию эгоизма со своей жизнью мученика и борца за высокие идеалы, не прибегая к софистическим «умствованиям»? На этой почве у них бывали размолвки. В неопубликованной предсмертной записке Марко Вовчок вспоминает, как он корил ее за бесплодное милосердие:

«...Помню, как раз я вышла от них и Митя ждет меня у ворот, и мы поссорились за то, что он стал доказывать, что не стоит тратить себя (то есть мне тратить себя) на людей, уже почти окончивших с жизнью, — у Е. было размягчение мозга, и почти потеря сознания. Господи, как я вспылила тогда. Я понимала, что это говорится из боязни за меня, за мое здоровье, но сказала, что мне такой безобразной любви не нужно, что это теория бесчеловечная и проч, и проч. Милый ты мой Митя, а как ты с твоей теорией по целым дням и ночам не отходил от меня, когда я была больна, как я всегда встречала твои добрые глаза, как ты был кроток, как забросил все на это время, даже то, что было для тебя всего дороже — работу свою. Как я, безумная, не могла этого не оценить. Я, помню, насмеялась: а твоя теория? А ты кротко отвечал: да ведь ты человек, не утративший человеческого, и я тебя люблю».

В этом столкновении двух сильных натур Писарев проявлял необычную для него мягкость и уступчивость. О его состоянии и чувствах мы знаем из длинейших писем-дневников, которые он ежедневно посылал Марии Александровне в Москву, где она находилась с 1 по 9 декабря в ожидании сына: Богдан со дня на день должен был приехать с провожающим из Орла.

Она тоже писала ежедневно, но ее сдержанные и по обыкновению лаконичные письма резко контрастируют с бурнопламенными излияниями Писарева. Она сообщает о посещениях богадельни у Сухаревской башни, где жил юноша калека Коробов, обратившийся к Писареву с просьбой помочь ему подготовиться в университет: «Была я у Коробова. Он мне очень понравился с первого взгляда. Приятное и умное лицо, и живое. Достала ему все книги, какие ему надобны». Пишет о встречах с дядюшкой Андреем Дмитриевичем Даниловым, которого видела последний раз в Грунце, когда повезли ее «невестой, в Орел на писаревских конях в рогожной повозке». Мельком упоминает Владимира Пассека и

встретившую ее с обычным гостеприимством Ю. П. Ешевскую.

Почти каждое письмо кончается словами, звучавшими не так уж сдержанно в ее скованных устах: «Обнимаю тебя. До свидания. Береги себя. Преданная тебе М. М.» (иногда «Marie»). Прорываются живые эмоции и намеки, понятные им двоим: «Ты говоришь, что у тебя голова тяжела, что ты чувствуешь себя нехорошо. Дорогой и милый работник, что с тобою? Судя по твоему письму, ты тосковать начинаешь. Мужайся. Скоро опять все будет по-прежнему. Быть может, лучше». «Ты приготовь побольше работы. Я даже во сне сегодня видела наш рабочий стол. Какое пробуждение! Перед глазами разные коробочки, золотые рамочки, тощие цветы, шитые по канве гвоздики, а от угла — Митрофаний-угодник! Мороз в 20° и самодовольные лица со всех сторон!». «Ты не огорчайся краткостью моих писем. Мне здесь тяжело и душно, и я пишу тебе только потому, что знаю, ты будешь спокоен, если не получишь письма. Все, что здесь делается, говорится, очень мелко и убого, а думать я теперь думаю только о том, когда домой поеду. До свидания. Помни, что у тебя есть верный и надежный друг».

Письма Писарева — потрясающая исповедь сердца одного из лучших и благороднейших людей шестидесятых годов. Подробно, час за часом, он рассказывает обо всем, что случилось за день, о своих мыслях, чувствах, впечатлениях; о новых демаршах Благосветлова, о визитах к Некрасову, о своей работе над обширной статьей «Дидро и его время», которая осталась незаконченной; о встречах с Кутейниковым и Слепцовым, разговорах с Бенни, о домашних делах и т. д.

Он только что проводил Марию Александровну. Экономная домоправительница проявляет излишнее усердие: «Доходит до того, что она не хочет зажигать себе отдельной свечи или лампы, и ей таким образом представляется альтернатива сидеть впотьмах или сидеть вместе со мною, у **нашего** стола, при свете **нашей** лампы. Я предпочел бы остаться один в нашем святилище и работать под властью святой грусти, причиненной отсутствием божества».

На следующий день: «Ты, может быть, будешь недовольна тем, что я все рассказываю тебе мельчайшие факты, вместо того, чтобы сообщать тебе мои мысли и чувства. Но что же мне, друг мой, делать, когда никакие мысли не приходят мне в голову, и когда чувства все одни и те же: жду тебя, желаю тебя, жду и желаю посредством тебя прочного, хорошего и живого счастья. Я не тоскую и не скучаю, потому что весь живу в ближайшем будущем и твердо верю твоему обещанию». И дальше: «Я сидел у тебя в комнате и поддерживал в камине неугасимый огонь. Прочитал больше

сотни страниц, но чтение ничего не шевельнуло во мне, и даже не дало мне почти ни одного факта, которого бы я не знал. Мне не грустно, но время тянется долго, и то время, когда ты была тут, представляется мне каким-то очень отдаленным прошедшим. В эту минуту мне чрезвычайно живо припомнилось, как я стоял вчера у окна вагона и старался протереть перчаткой лед, и как твое лицо смутно мелькнуло мне в последний раз сквозь замерзшее стекло, и как ты мне сказала, чтоб я шел домой».

Писарев живет надеждами: «Милая, хорошая моя Маша! Написавши это восклицание, я задумался с пером в руках. Не знаю, что я тебе хотел сказать, не умею ясно выразить, о чем я думал. Но основной мотив был все тот же: люби ты меня, а уж я тебя так люблю, и еще так буду любить, что тебе, конечно, не будет холодно и тоскливо жить на свете. Милая, как мы с тобой можем весело работать и умно наслаждаться».

Писарева терзают сомнения: «Я весь целиком отдался тебе, я не могу и не хочу взять себя обратно, я не имею и не хочу иметь существования вне тебя, и в то же время я всегда вижу висящую над моей головой опасность разрыва наших отношений. И эта опасность является передо мною тогда, когда я меньше всего ее ожидаю».

Немаловажный психологический штрих, раскрывающий силу характера женщины, всецело подчинившей его своему влиянию: Писарев наносит визит Шульгину, фиктивному редактору «Дела», чтобы заявить о своем отказе внести изменения в статью о «Преступлении и наказании», запрещенную цензурой (статья была отдана в журнал до разрыва с Благосветловым). Он держится с несвойственной ему осмотрительностью, о чем не без иронии сообщает в очередном письме: «Положительно я совершенствуюсь; я горжусь этим, и в конце концов надеюсь сделаться с помощью Маши непроницаемым, подобно дипломату, и молчаливым, как устрица».

5 декабря он узнает от Некрасова, что уже составлено объявление о преобразовании «Отечественных записок». Некрасов «очень желал, чтобы ты поскорее кончила «Живую душу», которая, по всей вероятности, целиком, без деления на части, пойдет в первую книжку.....А меня подождут пускать, и я, со своей стороны, одобряю эту осторожность»,

ГЛАВА В ГЛАВЕ

Объявление появилось 9 декабря в газете «Голос». Писарев действительно не упомянут. Сказано только, что «предполагается расширить отдел критики и библиографии». Зато в перечне произведений, находящихся в руках редакции, «Живая душа» Марко Вовчка стоит на первом месте.

Но закончить роман удалось не так быстро, как хотелось Некрасову. Большую часть времени поглощала переводная работа. С января по сентябрь 1868 года в приложении к «Отечественным запискам» печаталась «Подлинная история, маленького оборвыша» Джеймса Гринвуда — социально-обличительный роман английского писателя диккенсовской школы. В том же году было оттиснуто в виде отдельной книги... 300 экземпляров.

Позже перевод Марко Вовчка лег в основу многочисленных переделок и пересказов «Маленького оборвыша» для детей. В общей сложности книга Джеймса Гринвуда выдержала в нашей стране около пятидесяти изданий и до сих пор издается в новом пересказе К. Чуковского.

С легкой руки Марко Вовчка английский роман стал классическим произведением русской детской литературы, тогда как в Англии и сам Гринвуд и его «Маленький оборвыш» давным-давно забыты...

В 1868 году Мария Александровна напечатала в «Отечественных записках» еще несколько переводов: повесть Андре Лео «Две дочери Плисона» — под названием «Два женских характера», роман «Блумсберийская красавица» Огастеса Мегью, близкого по направлению к Гринвуду, и отрывки из книги «Газовый свет и дневной свет» Джорджа Сала — представителя той же плеяды английских реалистов.

Кроме того, отдельными изданиями вышли «Дети капитана Гранта» — первый из пятнадцати романов Жюль Верна, переведенных Марко Вовчком, и роман Гектора Мало «Приключения Ромена Кальбри». Одновременно Ковалевский выпустил без указания имен переводчиков «Жизнь животных» Брема.

Нужно было обладать изумительной легкостью пера, чтобы за один год выполнить столько переводов! Но это было только начало. За десять лет Марко Вовчок перевела целую библиотеку французских, английских и немецких книг. В своей переводческой деятельности она придерживалась определенной программы, переводя чаще всего по собственному выбору.

Особенно много и охотно переводила она для детей, в первую очередь тех французских писателей, с которыми была лично знакома. На книгах, переведенных Марко Вовчком, воспитывались поколения юных читателей России. Рецензенты, отмечая ее заслуги, писали, что «за достоинство переводов ручается известность имени переводчицы». И действительно они не уступали лучшим образцам русского художественного перевода шестидесятых-семидесятых годов.

Можно согласиться с оценкой Богдана Марковича: «Как переводчица Марко Вовчок занимает первоклассное место в русской литературе. Благодаря ее прекрасному русскому языку, она умела, свободно отклоняясь от подлинного текста автора, но не изменяя ни его мысли, ни его тона, передавать его в русских художественных образах. В этом отношении с ней мог бы соперничать лишь давно умерший знаменитый переводчик Диккенса и Теккеря Иринарх Введенский, и оба они, несомненно, лучшие русские переводчики девятнадцатого столетия».

Но эта изнурительная работа принесла ей, как мы увидим дальше, не только лавры, но и тернии. Среди переводчиков нарастала конкуренция, а Марко Вовчок, заручившись привилегиями от Этцеля, бесцеремонно вторглась в цех литературных ремесленников. Выдерживать соперничество с известной писательницей было им не под силу, но и смириться они тоже не могли. Назревал новый конфликт...

Вернемся однако к «Живой душе». Рукопись поступала в редакцию «Отечественных записок» частями и напечатана была не целиком в первой книге, как предполагал Некрасов, а в четырех (1, 2, 3 и 5-й за 1868 год).

Роман завершался на глазах у Писарева, за тем же рабочим столом, который снился Марии Александровне в Москве. Писарев читал главу за главой, вольно или невольно помогая усиливать политические акценты, отделять «прирученных титанов» от людей революционного дела. Писарев и был тем новым человеком, чьи живые черты уловлены в образе Загайного, увлекшего Машу, героиню романа, на путь борьбы: «Вот он сам сидит за столом, заваленным бумагами и книгами. Она видела наклоненную голову, блестящую массу темных волос, широкий лоб и черные брови. Все обаятельные образы счастья навсегда затмило это побледневшее, утомленное лицо работника, всем существом своим отдавшегося работе...»

Как и все программные произведения демократической литературы шестидесятых годов, роман зашифрован применительно к цензурным условиям, но так, чтобы искушенный читатель многое мог прочесть между строк. Насколько это было возможно, Марко Вовчок раскрывала в действии

образы новых людей — Маши и Загайного. Автобиографическая основа сюжета, по понятным причинам, в меньшей степени распространяется на последние главы: реальная Маша вышла замуж за **певца украинских песен**, который назван в романе Габовичем.

Работа подошла к концу, когда первые части «Живой души» были уже напечатаны в журнале. Отдельному изданию Марко Вовчок предпослала посвящение — самое пространное из всех, какие она делала в жизни: «Дмитрию Ивановичу Писареву. В знак глубокого уважения. 29 апреля 1868».

Некрасову роман показался неровным, но в целом не обманул ожиданий. В один из апрельских дней он прислал с рассылным записку: «Так как я, может быть, даже с преувеличенной строгостью отнесся к 3-й части Жив. души, то считаю долгом сказать, что 5 ф[орм] 4-й части, которые я вчера прочел, решительно и несомненно хороши».

Осторожный Краевский думал иначе. На правах официального редактора он решил предостеречь Некрасова: «Седьмая форма Живой души не совсем потребна, Николай Алексеевич. Вот смысл отчеркнутых мною фраз, как я их понял. Некоторые из героев романа вследствие того, что один из них Загайный, шедший напролом, попался, приходят к убеждению, что действовать открыто в России **пока** еще нельзя: народ не приготовлен. Получив это убеждение, они решают, что им нужно и полезно захватить сперва в свои руки власть, заняв казенные должности, и одни уже принимают такие должности, а другие готовятся принести эту тяжелую жертву...Если я так понял — могут так понять и другие».

Но так рассуждают в романе преуспевающие либералы, оправдывая свое отступничество громкими фразами о служении народу...в государственных канцеляриях. Один из них, Роман Аркадьевич Квач, ненавидит Загайного именно потому, что тот остался верен «делу» и не признает никаких компромиссов.

Опытные либералы, говорил Писарев, прошли великую школу «балансирования, мистификаторства и самоуверенного переливания из пустого в порожнее». Такими и предстают они в романе Марко Вовчка. Отсюда видно, какие злободневные вопросы общественной жизни затрагивались в этом произведении.

По настоянию Краевского из «Живой души» было выброшено несколько абзацев. Тем не менее цензор нашел в ней ту же «вредную тенденцию», что и в стихах Некрасова «Эй, Иван!» и «Медвежья охота», — «порицание условий нашего общественного строя, обличение их нерациональности». Но цензор еще не сделал своих выводов, а Марко

Вовчок добилась согласия редакции на частичное восстановление изъятого текста в отдельном издании, для которого, по обыкновению, был использован журнальный набор.

Книга была отпечатана, когда из типографии выкрали часть готового тиража. Встревоженный Краевский потребовал от Некрасова, чтобы тот занялся расследованием. Очевидно, похитители знали, что роман Марко Вовчка легко будет сбыть на стороне: журнальная публикация имела успех, о «Живой душе» говорили и спорили.

В прессе появились разноречивые отклики. То, что ретрограды обрушились на «нигилистский» роман, никого, конечно, не удивило. Дезориентировала читателей критика не справа, а слева. П. Ткачев, публицист из журнала «Дело», ничего не усмотрел в этой книге, кроме повторения пройденного, и все его доказательства свелись к тому, что Маша — вовсе не тип «новой женщины», а героиня «пошлейшего из пошлейших мещанских романов». Единственная ее цель — «примазаться» к какому-нибудь мужчине (статья «Подрастающие силы»).

Роман Марко Вовчка послужил поводом для оскорбительной выходки: журнал «Дело» через голову писательницы сводил счеты с Некрасовым и «Отечественными записками». Как тут не вспомнить слова Чернышевского, сказанные много лет спустя, когда споры и события, волновавшие людей шестидесятых годов, отошли в далекое прошлое: «Марко Вовчок забыт публикой. Да и когда писал, не имел той славы, какой был достоин: это потому, что М. А. Маркович сначала жила вдали от литературных кругов, а потом была дружна с Некрасовым... и вражда литературных котерий к Некрасову распространялась и на нее. У некоторых влиятельных в литературе людей были и личные причины ненависти к ней».

Внутренняя борьба разобщила близких по направлению литераторов и могла только радовать их общих врагов. Что же касается «Живой души», то она выдержала испытание временем и вопреки недалёковидным пророчествам осталась в истории русской литературы как одно из сильных, талантливых произведений о «новых людях».

ЭПИЛОГ «ЛОПАТИНСКОЙ КРЕПОСТИ»

Длительное общение с Писаревым, «блестящим адвокатом естествознания и образцовым популяризатором» (так определил Павленков одну из сторон его деятельности), совместная работа над переводами Брема и Дарвина значительно расширяют кругозор писательницы. Становится доступным ее сознанию неисчерпаемо многообразный мир природы, развивающейся по законам эволюции. Интерес к естественнонаучным идеям во многом определяет тематику ее переводных трудов и содержание журнала «Переводы лучших иностранных писателей», который будет издаваться под ее редакцией. Со своей стороны, Марко Вовчок побуждает Писарева серьезно заняться современной французской литературой.

Кроме статьи о романах Андре Лео, он помещает в «Отечественных записках» сокращенный перевод политической сказки Лабуле «Принц-пудель» в сопровождении сильного и смелого предисловия, подробный разбор романа Дроза «Золотые годы молодой француженки» и, наконец, глубоко принципиальную статью «Французский крестьянин в 1789 году» в связи с публикацией в журнале «Дело» первой части романа Эркмана-Шатриана «История одного крестьянина».

По словам критика, авторы «стараются взглянуть на великие исторические события снизу, глазами... массы», «развивают в своих читателях способность уважать народ, надеяться на него, вдумываться в его интересы». В свете статьи Писарева понятна увлеченность Марко Вовчка этим замечательным произведением. Перевод всех четырех частей «Истории одного крестьянина» вызовет переполох в цензурных инстанциях...

Последние статьи Писарева — «Старое барство» (по поводу «Войны и мира» Л. Толстого) и «Французский крестьянин в 1789 году» свидетельствуют о новом взлете его критической мысли. Он преодолевает душевную усталость, чувствует прилив творческих сил, работает легко и быстро. Просветление в личной жизни действует на него благотворно. Он строит радужные планы и даже поддается уговорам потратить летние месяцы на отдых и лечение. Он готов поехать с Марией Александровной за границу — в Париж, Гейдельберг, Швальбах, куда угодно! — быть бы только с нею вдвоем, не разлучаясь ни на один день.

Нужно еще закончить неотложные работы, выполнить срочные обязательства... Некрасов из тактических соображений старается как

можно реже выставлять фамилию Писарева, но ни одна книжка «Отечественных записок» не проходит без его статей.

Писарев — поднадзорный. Он лишен права передвижения. Петербургский обер-полицмейстер Трепов отвечает отказом на его прошение о выдаче заграничного паспорта. Мария Александровна решается тогда прибегнуть к связям А. К. Пфеля в высших сферах, и тот обращается от своего имени к управляющему III отделением Мезенцеву. 15 мая 1868 года приходит обескураживающий ответ: главный начальник III отделения «по увольнению кандидата словесности Писарева за границу согласия не изъявил».

Во время этих хлопот Писарев получает от издателя Павленкова обвинительный акт прокурора по поводу второй части его сочинений с просьбой дать соображения для борьбы с судом... Но Писарев, не особенно заботясь в подборе аргументов, сообщает Павленкову, что не хочет перечитывать свои старые статьи, отвлекаться от работы «бесплодными письменными упражнениями». Он отталкивает от себя все неприятное, все, что может выбить из колеи и нарушить душевное равновесие. Самое же существенное в сложившейся ситуации — ему известно, что Павленков осуждает его за разрыв с Благосветловым и обвиняет в этом Марию Александровну; известно ему также, что сестра его Бера воспылала к Марий Александровне ненавистью с тех пор, как подружилась с Павленковым...

Издатель тактично напомнил критику, как он принимал близко к сердцу судебный процесс над своими сочинениями «в крепостной, долопатинский период», и в тот же день, 26 апреля, написал его сестре Вере, уже не скрывая негодования: «Я считаю и всегда считал это дело настолько же своим, как и его. Он сам должен понять свою неловкость. Не знаю, однако, поймет ли! Теперь он что-то не очень стал понятлив. Новая крепость — дом Лопатина, — кроме слога, ничего в нем не оставила...»

Хлопоты между тем продолжались. 3 июня начальник III отделения ответил согласием на новое прошение Писарева о поездке на морские купанья в Лифляндскую и Курляндскую губернии.

Около 20 июня Писарев с Марией Александровной и Богданом выехали в Ригу.

Незадолго до отъезда он заглянул в «Отечественные записки». Об этом посещении рассказывает в «Литературных воспоминаниях» А. М. Скабичевский:

«Он влетел в редакцию на этот раз такой веселый и оживленный, каким я его давно не видел. «Должно быть, — подумал я невольно, — он

дождался праздника своей любви!» Пришел он с целью проститься перед своим отъездом на лето в Дуббельн на морские купания. Восторженное расположение духа его, «сияние», как он сам выражался о подобных радостных моментах своей жизни, еще больше просияло, когда вошла в редакцию совершенно незнакомая ему девушка с большим поясным фотографическим портретом его и, узнавши подлинник, подошла к нему с робкой просьбой подписаться под портретом, что Писарев тотчас же, конечно, охотно исполнил».

СВИНЦОВЫЙ ГРОБ

Петербуржцы чувствовали себя почти как за границей в городе с готическими зданиями, узкими средневековыми улицами и разноязычным населением. Остановившись в гостинице «Франкфурт-на-Майне», они с любопытством осматривали Ригу.

О прибытии Д. И. Писарева и г-жи М. А. Маркович с сыном оповестила местная газета. Издатель журнала на немецком языке «Ди Либелле» Эрнст Платес нанес им визит, чтобы засвидетельствовать почтение от имени рижских коллег. Вскоре Платес перевел с русского на немецкий и напечатал в своем журнале несколько украинских рассказов, а затем эстонская поэтесса Лидия Койдула перевела с немецкого на эстонский «Козачку». Так началось знакомство с творчеством Марко Вовчка в Прибалтийском крае.

В воскресенье 30 июня перебрались на дачу в Дуббельн (Дубулты). Было ветрено и прохладно, вода еще не успела прогреться, и только в четверг наступило резкое потепление. В этот роковой день, 4 июля 1868 года, случилась беда.

В отличном настроении, веселый, жизнерадостный, Писарев отправился с Богданом купаться. Заплыл довольно далеко, преодолев две или три глубины и отдыхая на каждой промежуточной мели. Богдан, заигравшись на пляже, хватился, когда Писарева уже не было на поверхности. На глубоком месте ему свело ногу судорогой (по другой версии, случился нервный шок), и он пошел ко дну.

Богдан метался, звал на помощь. С криком прибежал на дачу:

— Мама, мама, Митя утонул!

Мария Александровна кинулась на берег. Рыбаки по ее настоянию начали искать утопленника. Нашли не раньше чем через час, когда спасти уже было невозможно.

На другой день она телеграфировала из Дуббельна министру внутренних дел о позволении перевезти тело Писарева в свинцовом гробу в Петербург. Другую телеграмму она послала в «Отечественные записки». Но свыше сил было заставить себя написать родным и друзьям.

Мертвый Писарев лежал в часовне на Взморье. Мария Александровна не выходила оттуда двое суток, а потом, когда оставаться там было уже невозможно, сидела с каменным лицом на пороге часовни, оберегая покойника от покушений дуббельнского полицмейстера предать его земле

на рижском кладбище. Студенты-латыши, узнав, кого охраняет эта женщина, установили возле часовни дежурство.

Трагедию на Рижском взморье каждый в Петербурге толковал по-своему. Благосветлов, например, утверждал в письме к Шелгунову, что Писарев «утопился в душевно-расстроенном состоянии», а Шеллер-Михайлов, беллетрист «Дела», распускал нелепые слухи: «Эта гнусная игра в кошки и мышки, — писал он 9 июля поэту Полонскому, — кончилась тем, что человек утонул на месте, где отмель идет на версту, что этого человека потащили для подання помощи в Ригу. Еще бы она в Петербург повезла бы его для откачивания! И теперь эта баба никому ничего не дает знать, не отвечает на телеграммы и бог знает что делает».

Тревожные вести докатились и до Грунца. Кто-то из знакомых сообщил Варваре Дмитриевне, что Митя при смерти. Не получив ответа от рижского полицмейстера и ни слова от Марии Александровны, 12 июля она обратилась к Пфелю: «...доставьте ей мое письмо и скажите, ради бога, если знаете, что с Митей. Целая семья в отчаянье — отец, бедный, совершенно убит, плачет, как ребенок, Александр Карлович! Вы добрый, и вы сами отец, вы поймете, как тяжела неизвестность...»

Между тем только 16 июля прибыл в Дуббельн посланный Некрасовым Слепцов с разрешением на перевозку тела. Первым делом он препроводил Марию Александровну с Богданом в Ригу — в ту самую гостиницу «Франкфурт-на-Майне», где она провела несколько счастливых дней с Писаревым. Пока на заводе отливали свинцовый гроб, прошло еще больше недели. На смену Слепцову, забравшему с собой Богдана, приехал Павленков. Громадный деревянный ящик чуть ли не в сорок пудов с большими предосторожностями был опущен в трюм парохода «Ревель». Сделали это на рассвете, чтобы не возбуждать толков.

Предстояло выдержать еще одно жестокое испытание.

В Финском заливе поднялась буря. Плохо закрепленный ящик ударял в переборки трюма. Свинцовая крышка гроба сдвинулась при сильном крене. Матросы, спустившиеся в трюм закрепить груз, поняли, что в этом ящике. Мертвец на корабле — дурная примета. Полуживая от морской болезни, Мария Александровна выбралась из каюты, когда суеверные матросы собирались разбить ящик и выбросить мертвеца за борт. Нечеловеческих усилий стоило умолить их не совершать кощунства. Наутро начали роптать пассажиры. Среди бумаг писательницы сохранилась записка: «На палубе волнение — узнали, что находится в ящике, и пристают ко мне. Публика очень недовольна тем, что ночевала с покойником. Притом и ящик течет. Говорят, что и буря потому, что мы едем с покойником».

27 июля «Ревель» ошвартовался у правого берега Невы, ниже Николаевского моста. Встречали отец и сестра Писарева, несколько незнакомых женщин, сотрудники «Дела» и «Отечественных записок». Мария Александровна, не опуская глаз, прошла сквозь строй враждебных, сочувственных, укоризненных, осуждающих взглядов. В полуобморочном состоянии ее отвезли домой — в разрушенную «лопатинскую крепость». Она лежала в бреду, когда 29 июля состоялись похороны.

Место было выбрано на Волковой кладбище рядом с могилами Белинского и Добролюбова.

Вот несколько строк из газетной хроники: «Гроб покойного был весь покрыт живыми цветами и зеленью, и, несмотря на его тяжеловесность, провожавшие не допустили положить его на дроги, а несли на руках, беспрестанно меняясь. В числе несших было несколько женщин и девиц. Толпа провожавших была так велика, что занимала в ширину половину Литейной улицы и Невского проспекта... Все шли с непокрытыми головами» («Голос», 30 июля 1868 г.).

А вот выдержка из агентурной записки: «Первое известие о гибели Писарева дано было в Петербург вдовой надворного советника известной писательницей Марией Александровной Маркович, печатающей свои произведения под псевдонимом Марка Вовчка...известному коммунисту и литератору Василию Слепцову». И дальше, сообщая о демонстрации на Волковой кладбище, полицейский шпик заключает: «Здесь снова проявляется тот кружок людей, за которым необходимо иметь строгое наблюдение. Мы еще не успели разбить тот кружок, несмотря на строгие мероприятия последнего времени».

Писатель Д. К. Гире, автор романа «Старая и юная Россия», читавший над еще не засыпанной могилой «возмутительные» стихи, немедленно был выслан в Вологду, сестра Писарева Вера — в деревню к родителям, издатель Павленков, арестованный 3 сентября, оплатился за объявление «незаконной подписки на устройство памятника покойному литератору Писареву и на учреждение студенческой стипендии его имени» — ссылкой в Вятку.

Марко Вовчок осталась на подозрении, но санкции к ней не были применены.

После всего пережитого она долго болела. Некрасов, потрясенный глубиной ее горя, посвятил ей стихотворение:

*Не рыдай так безумно над ним,
Хорошо умереть молодым!*

*Беспощадная пошлость ни тени
Положить не успела на нем,
Становись перед ним на колени.
Украшай его кудри венком!*

*Перед ним преклониться не стыдно,
Вспомни, сколько пали в борьбе!..
Сколько раз уже было тебе
За великое имя обидно!
А теперь его слава прочна:
Под холодную крышею гроба
На нее не наложит пятна
Ни ошибка, ни случай, ни злоба...*

*.....
Русский гений издавна венчает
Тех, которые мало живут,
О которых народ замечает:
«У счастливого недруги мрут,
У несчастного друг умирает...»*

Рукопись элегии сохранилась в бумагах Марко Вовчка вместе с письмом Некрасова: «Только Вам, Мария Александровна, решаюсь покуда дать это стихотворение. Писарев перенес тюрьму, не дрогнув (нравственно), и, вероятно, так же встретил бы эту могилу, которая здесь подразумевается...»

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

На протяжении двух с лишним лет, пока не появился свой журнал, Марко Вовчок ведет в «Отечественных записках» отдел иностранной литературы. Она внимательно следит за новинками, подбирая произведения английских, французских и немецких писателей, не чуждые демократическому направлению передового русского журнала; переводит и редактирует переводы, пишет компилятивные очерки, обрабатывает заграничные материалы (например, «Парижские письма» Шассена).

Выявлены далеко не все ее работы. Автором этих строк установлена принадлежность Марко Вовчку цикла неподписанных очерков: «Мрачные картины» — о творчестве Гринвуда, Мегью и Сала, с переводами характерных отрывков («Отечественные записки», 1868, № 11, 1869, № 1, 2, 5). Главное достоинство упомянутых писателей она видит в стремлении «смыть с окружающего нас мира фальшивые краски и... называть вещи по именам, не заблуждаясь насчет их действительных качеств».

«Мрачные картины», выдержанные в духе боевой публицистики шестидесятых годов, написаны зашифрованным «эзоповым» языком. Сопоставления сами напрашиваются, выводы читаются между строк. Вот первый попавшийся абзац:

«Сословие благонамеренных читателей очень многочисленно, они очень крикливы, однако при всей своей многочисленности и крикливости, они не в силах подавить меньшинства людей иного закала, тех людей, которые не боятся взглянуть прямо в лицо существующему злу, не бегут прочь при виде общественных язв. Эти здоровые, свежие, крепкие люди сразу узнают в вышеупомянутых авторах честных деятелей и встретят их с уважением и сочувствием».

В том постоянстве, с каким она возвращается к обличительным книгам Гринвуда, Мегью и Сала, нельзя не усмотреть определенной политической тенденции, совпадающей с программными установками «Отечественных записок»? Редакторы журнала всецело ее в этом поддерживали. Сохранилась записка Г. З. Елисеева от 6 мая 1869 года: он уведомляет писательницу, что зайдет к ней на следующий день вместе с Салтыковым посоветоваться относительно Гринвуда.

В том же году в «Отечественных записках» было напечатано несколько глав из книги Гринвуда «Семь язв Лондона»; в 1870 году — роман Мегью «Мощено золотом». И в дальнейшем Марко Вовчок не раз обращалась к

этим суровым реалистам, которых она открыла для России.

При повышенном спросе на новинки иностранной литературы конкурирующие журналы и-переводчики должны были проявлять расторопность. Победу одерживал тот, кто опережал соперников. Когда в Петербурге стало известно о новом романе Виктора Гюго, поднялся ажиотаж. Но преимущество было на стороне «Отечественных записок»: сочинения Гюго выпускал его близкий друг Этцель, благоволивший Марко Вовчку.

В феврале 1869 года она предприняла первую после возвращения в Россию поездку в Париж и получила от Этцеля гранки романа «Человек, который смеется». Гранки были тотчас же переправлены в Петербург, розданы переводчицам, и уже в апреле «Отечественные записки» начали печатать наспех состряпанный перевод. Марко Вовчок едва успевала пройтись по нему пером и кое-как залатать швы. Был обеспечен выигрыш во времени, хотя и в ущерб качеству. В том же месяце Этцель известил ее о выходе в свет первого тома романа.

В июле Некрасов писал Краевскому из Киссингена: «Я рассчитываю, что в № 7 «Отечественных записок» должен кончиться роман Гюго. Велите отдельные оттиски (1200) немедленно пустить в продажу (назначив недорого), а то подоспеют другие переводы. Если Маркович в Петербурге, то надо бы, спросив ее, выставить ее имя. Впрочем, и без спросу можно выставить: перевод Марка Вовчка». Однако она благоразумно уклонилась, не пожелав фигурировать в качестве переводчицы испорченного текста Гюго. На титульном листе указано: «Перевод с французского под редакцией Марка Вовчка».

Активное участие в подготовке многих номеров «Отечественных записок» учит Марию Александровну ориентироваться в обстановке и принимать быстрые решения. Не гнушаясь черновой работы, она приобретает журналистский и редакторский опыт, немало ей пригодившийся. Каким она была умелым редактором, видно из уцелевшей наборной рукописи романа Жюль Верна «Плавающий город», изданного под ее редакцией: рукопись перевода сплошь испещрена поправками Марко Вовчка.

С романами Жюль Верна повторялись те же истории, что и с «Человеком, который смеется», с той лишь разницей, что Марко Вовчок не только опережала соперников, но и создавала лучшие переводы. Этцель был кровно заинтересован в том и другом. Новые романы Жюль Верна почти одновременно выходили в нескольких переводах, как правило, прескверных, и к тому же издатели-торгаши нередко совершали подделки,

приписывая перу Жюль Верна макулатурные сочинения неведомых авторов. В этих условиях все зависело от быстроты и натиска. Как только из Парижа поступали гранки, писательница «посыпалась пеплом»: несколько дней не выходила из дому, чтобы подготовить хотя бы две-три тетрадки для набора.

Переводы Марко Вовчка убивали пиратские издания. В ее лице Жюль Верн нашел превосходного интерпретатора. Не гонясь за буквальной точностью и поступаясь деталями, она великолепно схватывала дух подлинника: легкость и живость жюль-верновского слога и его французский юмор. Перевод иногда переходил в изложение. Сама она так объясняла свой метод: «...с благоволения Верна, его издатель Этцель предоставил М. Вовчку как переводы, **так и переделки, сокращения и вставки**, которых] в переводах имеется немало, — напр., длинноты перечней различных флор, фаун и т. п. переделаны в разговорную форму».

Неверно думать, что интенсивная переводческая деятельность была для писательницы чем-то вроде отхожего промысла. Работа над переводами вошла у нее в привычку и стала органической потребностью. Этому виду литературного труда она отдавала много энергии, сил и вдохновения. Неутомимый пропагандист передовой зарубежной литературы в России, Марко Вовчок внесла ощутимый вклад в международный обмен духовными ценностями.

Лавина переводных книг нарастала год от году. Только благодаря постоянному издателю она могла реализовать соглашение с Этцелем. Этим издателем был полуграмотный человек, купец второй гильдии Семен Васильевич Звонарев, много лет прослуживший в конторе «Современника». Некрасов научил его ценить книгу и уважать писателей, помог ему открыть книжный магазин и благословил на издательские начинания. Одна из первых книг, изданных Звонаревым — сборник стихотворений погибшего на каторге М. Л. Михайлова, — была уничтожена постановлением цензурного комитета. Звонарев и в дальнейшем не раз призывался к ответу за крамольные мысли, содержащиеся в его изданиях.

Несколько лет подряд он выпускал оригинальные сочинения и многочисленные переводы Марко Вовчка — преимущественно новинки французской юношеской литературы. По договору, заключенному Этцелем с «вдовой надворного советника Марией Маркович», ей поручалось представлять интересы французской фирмы в России. Клише гравюр поступали вместе с гранками еще не изданных книг, которые выходили почти одновременно в Париже и Петербурге. Переводные издания

Звонарева привлекали читателей не только новизной, но и прекрасными иллюстрациями.

Парижские новинки сыпались как из рога изобилия — в таком количестве, что Марко Вовчок даже при наличии помощников не успевала всего перевести, а Звонарев — издать. Избытки она уступала другим издателям — М. О. Вольфу и Н. С. Львову, выпускавшему «Журнал переводных сочинений». Такая форма сотрудничества устраивала обе стороны. В апреле 1869 года Этцель писал Марии Александровне, что ее следовало бы увенчать «золотой короной» за успешное распространение книг его фирмы в России.

В эти годы Марко Вовчок подвизается и как французская писательница. Ее рассказы и сказки для детей Этцель публикует в «Журнале воспитания и развлечения» или выпускает отдельными книжками в серии «Альбомы Сталя»^[23]. Некоторые вещи печатались при жизни автора только на французском языке («Сибирский медведь», «Быстроногий олень», «Путешествие на льдине», «Сестричка»). В переписке с Этцелем упоминается 19 рукописных тетрадей Марко Вовчка, находившихся в его распоряжении, но неизвестно, какие там были рассказы и все ли они опубликованы. Из тех, что вышли в свет, до сих пор, например, не разыскана «История Богдана» («L'histoire de Dieu Donne»).

Бывали случаи, когда Марко Вовчок становилась невольным соавтором Этцеля. В мае 1869 года, готовя к печати ее рассказ «Сон» («Le songe»), он так увлекся, что, не ограничившись простым редактированием, многое внес от себя и еще добавил в конце десятка полтора страниц. Рассказ превратился в повесть, названную «Скользкий путь». «Теперь она ни ваша, ни моя, но наша общая, и я вижу только один выход — подписаться под этой вещью нам обоим». И в заключение он дает «соавтору» совет: «Если Вам будут говорить, что то или иное место в повести не походит на Ваши описания, отвечайте друзьям, что это сделано Вами во Франции, до Вашего возвращения в Россию, до Вашего обращения в новую веру, пресловутую новую веру, известную под названием нигилизм».

Повесть Марко Вовчка и Сталя «Скользкий путь», опубликованная в 1871 году в «Журнале воспитания и развлечения», выдержала во Франции несколько изданий и в 1876 году была издана на русском языке в очень плохом переводе, к которому Марко Вовчок, по-видимому, не имела никакого отношения. В редакционном примечании к одному из более поздних русских переводов сказано, должно быть, со слов писательницы, что «Марко Вовчку принадлежит лишь первоначальный рассказ, замысел

повести; конец же ее и многие «нравственные сентенции» в духе требований обычной французской морали прибавлены П. Ж. Сталем».

Впервые в жизни Мария Александровна избавилась от нужды. Журнальные публикации, собрание сочинений, переводы, редактирование, парижские литературные заработки обеспечивают материальную независимость. Она снимает большую, удобную квартиру (на Невском, 100 — в другом доме Лопатина), устраивает приемы, литературные вечера, позволяет себе частые поездки в Париж. Она доказывает на деле, своим неустанным трудом, чего может добиться даже в России эмансипированная, свободная женщина. И все же, ее благополучие строится на песке, ежечасно находится под угрозой. Переводы оплачиваются более чем скудно, литературный труд ценится очень дешево, все гонорары уходят на текущие расходы... Другой бы на ее месте откладывал на черный день, но она нерасчетлива. Свое зыбкое благополучие она может обеспечивать только астрономическим количеством печатных листов. Марко Вовчок никогда еще так много не работала. Даже богатырский организм не мог бы долго выдержать такой расточительной траты сил.

О нетерпимом положении русских литераторов с возмущением говорил Салтыков-Щедрин, человек отнюдь не бедный. Авдотья Панаева вспоминает, как он «явился в редакцию в страшном раздражении и нещадно стал бранить русскую литературу, говоря, что можно поколоть с голоду; если писатель рассчитывает жить литературным трудом, то он не заработает на прокорм своей старой лошади, на которой приехал...».

Напомним еще высказывание одного из ведущих сотрудников «Отечественных записок», Н. К. Михайловского: «Материальное положение русского писателя чрезвычайно шатко... Большинство же литературных работников, если они не имеют наследственного состояния, как, например, Салтыков или Тургенев, под конец жизни терпят всяческие лишения и сплошь и рядом умирают нищими с горчайшими думами о судьбе своих семей, если таковые есть...»

Два крупных литератора — Марко Вовчок и Михайловский — встретились однажды в ломбарде. Известный социолог, критик и публицист закладывал «женины украшения».

...Утренние часы она старалась, как всегда, отдавать собственному творчеству. Но при таком обилии разнообразных дел и забот трудно было выкраивать время и еще труднее — сосредоточиться. Работа над своими книгами если не совсем застопорилась, то, во всяком случае, затормозилась.

После «Живой души» с интервалом почти в полтора года появилась в «Отечественных записках» (1869, № 9—12) первая часть «Записок причетника». Читатели, разумеется, не подозревали, что это парижское произведение. Уезжая на лето в Орловскую губернию, писательница вверила свое детище Салтыкову, разрешив править рукопись как он сочтет нужным. Продолжение («Отрывок второй», разделы I–V) попало на страницы журнала лишь через год. Отсюда легко сделать заключение, что эти убийственно-обличительные главы были написаны в России и, вполне возможно, введенская «девичья обитель» в Орле освежила давнее впечатление о растленных монастырских нравах.

А. В. Никитенко отметил в своем дневнике, что в ноябрьской книге «Отечественных записок» за 1870 год по требованию цензуры перепечатано несколько страниц в повести Марко Вовчка «Записки причетника». Публикация многострадального произведения на этом и оборвалась. Недостающие в журнальном варианте VI–XI разделы увидели свет только в 1874 году, в четвертом томе звонаревского собрания сочинений, где «Записки причетника» снова пострадали от цензуры. Новые разделы романа, к сожалению, не полностью сохранившиеся, — первая из наиболее значительных работ Марко Вовчка после смерти Писарева.

Писательнице запали в память его слова, в которых выразилось и ее жизненное кредо: «Конечная же цель всего нашего мышления и всей деятельности каждого честного человека состоит все-таки в том, чтобы разрешить навсегда неизбежный вопрос о голодных и раздетых людях; вне этого вопроса нет ничего, о чем бы стоило заботиться, размышлять и хлопотать».

К этому сводится весь пафос литературной деятельности Марко Вовчка. И тот же критерий определяет четкую позицию автора в сатирическом обозрении «Путешествие во внутрь страны», напечатанном в апрельской книге «Отечественных записок» за 1871 год под псевдонимом Я. Канонин. Авторство установлено из случайно уцелевшей гонорарной ведомости, а зачем понадобилась маскировка, будет ясно из дальнейшего изложения.

Марко Вовчок — сатирик гоголевской школы и салтыковского направления. Гротескные образы «столпов общества» и с другой стороны — «новые люди». Здесь опять переключка с радищевским «Путешествием». Только едут из Петербурга в Москву не в кибитке, а в вагоне пассажирского поезда. В эпиграф вынесена латинская пословица: «Платон мне друг, но истина дороже». Истина, суровая и беспощадная, движет пером автора! Разговоры скучающих пассажиров. Невольные саморазоблачения.

Напомаженный купчик уверяет, что без обмана не проживешь. Раскормленный бюрократ умиляется образцовыми порядками. Бурбон-помещик видит корень зла в распущенности мужиков, господин в золотых очках — в недостатках образования. Черноглазая девушка, не скрывая презрения к собеседникам, срезает каждого язвительной репликой. Молчаливая украинка смотрит на нее с восхищением: «Какое честное, смелое, прекрасное лицо! Видно, что эти губы не раскрываются для лжи». Девушка засыпает. Украинка тихонько целует ее в лоб и погружается в невеселые думы: «Кто ты такая? Что с тобой будет? У какой пристани очутишься?»

Знаменательная концовка! Закаленная в литературных битвах шестидесятница приветствует молодое поколение борцов, готовых соединить слово с революционным-действием.

Марко Вовчок по-прежнему чутко откликается на зовы времени. «Живая душа», «Записки причетника», романы и повести семидесятых годов, не говоря уж о бесчисленных переводах, подновляют ее поблекшую славу. На новом этапе творчества она, как и прежде, — в авангарде литературного движения. Противоречивые, а порою неприкрыто враждебные отзывы прессы не могут помешать ее книгам находить дорогу к читателю. Она живет и работает среди корифеев русской литературы и по праву считается в это время крупнейшей русской писательницей.

Между тем на украинских землях окончательно утвердилась ее репутация как великого национального прозаика. Дети учатся родному языку на ее «оповіданнях» и сказках. Грамотные крестьяне, учителя, пропагандисты-народники распространяют их в селах и деревнях, устраивают читки, передают из рук в руки. Можно представить, как обрадовало писательницу подслушанное где-то речение: «Марка Вовчка читают даже дочерна».

Узнав от политического эмигранта Драгоманова о своей возрастающей популярности в Галичине и Надднепровщине, она охотно разрешила печатать свои украинские произведения за рубежом. Но как ее «словенили», переводили на чешский, польский, словацкий, болгарский, сербский, хорватский — она узнавала от случая к случаю. Вряд ли ей было известно, как ревностно переводил и пропагандировал «Народні оповідання» в Болгарии Любен Каравелов, как верно служили они в странах Восточной Европы освободительной борьбе против австрийского владычества и оттоманского ига. Не пришлось ей прочесть и поэму Александра Навроцкого, написанную в 1871 году в далекой Армении. Участник Кирилло-Мефодиевского братства, единомышленник Шевченко

славит автора «Народних оповідань», просветляючих сознание забитого, темного люда, вдохновляючих народ на боротьбу. Панегирик Марко Вовчку поэт-демократ завершає словами:

*Спасибі ж, ластівко — голубко:
Ти серце вгору підняла,
Ти наши щирі, сміли думки
Кругом по світу рознесла.*

В КРУГУ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

Известная мемуаристка Е. Н. Водовозова оставила литературный портрет писательницы, относящийся к началу семидесятых годов: «Романами и рассказами преимущественно из быта малорусских крестьян Марко Вовчок приобрела огромную популярность в обществе, особенно среди молодежи того времени. Это была женщина выше среднего роста, полная, не особенно красивая, но, как про нее говорили, лучше всякой красавицы. Тогда она была уже не первой молодости, с чрезвычайно густыми, широкими черными бровями, с несколько расплывшимися, но весьма подвижными чертами лица, с умными темно-синими пронизательными глазами. Одетая она была всегда необыкновенно изящно, по моде, но небрежно».

С редакторами и ближайшими сотрудниками «Отечественных записок» Марию Александровну связывали не только деловые отношения. Некрасов приглашает ее к себе на интимные обеды и часто встречается в доме своей сестры Анны Алексеевны Буткевич. Она желанная гостья и в семье Елисеева. Среди друзей — секретарь редакции Слепцов и сменивший его в 1872 году поэт Плещеев, критик Скабичевский, публицист и переводчик Кутейников. В широкий круг знакомых входят столичные литераторы, издатели, ученые и общественные деятели: Н. К. Михайловский, В. В. Чуйко, В. И. Танеев (философ и социолог, брат композитора), А. Ф. Кони, Н. И. Костомаров, П. Л. Чебышев, В. И. Покровский, М. К. Цебрикова, Е. Н. Сысоева, В. И. Водовозов, Н. С. Львов и многие, многие другие.

По понедельникам после часа писательницу всегда можно застать в доме Краевского на Литейной. В приемные дни в редакциилюдно и шумно. Авторы приносят рукописи, сотрудники обмениваются новостями, возникают споры. С Марией Александровной советуются, прибегают к ее помощи, ведут конфиденциальные разговоры за тяжелой портьерой, отделяющей приемную от кабинета Некрасова, где решаются все редакционные Дела..

Она неизменно присутствует и на торжественном ежемесячном обеде в день выхода журнала. Из окон столовой виден тот самый печально знаменитый «Парадный подъезд» министерства государственных имуществ, где ни свет ни заря собираются изможденные крестьянские ходоки и жалобщики. Кроме триумвирата редакторов, именуемых

«арендаторами» (Некрасов, Салтыков-Щедрин, Елисеев), официального редактора Краевского и всех сотрудников, на обеде бывают и цензоры, которых Некрасов считает нужным «прикармливать».

Бдительно надзирающий за «Отечественными записками» Николай Егорович Лебедев и влиятельный бюрократ Василий Матвеевич Лазаревский, член совета министерства внутренних дел, член совета главного управления по делам печати и прочая и прочая, в пестрой компании литераторов держатся скромно и незаметно.

С Лазаревским писательница постоянно встречается у Некрасова. Поэта соединяет с сановником пристрастие к охоте и картам. Пока Лазаревский полезен «Отечественным запискам», Некрасов ему «друг-приятель» и решительно расходится с ним, когда надобность в Лазаревском отпадает. Из нескольких братьев, украинских помещиков, он один делает государственную карьеру и, пока это не затрагивает его интересов, готов даже играть в либерализм.

Со всеми деловыми вопросами Мария Александровна обращается к Григорию Захаровичу Елисееву. Видный публицист-демократ, безотказно печатавший ее в газете «Очерки», охотно сотрудничает с ней и в «Отечественных записках» — дает всевозможные поручения, торопит с очередными материалами, информирует, когда она в отъезде, о последних новостях в редакции.

В письме от 25 января 1869 года Елисеев приглашает писательницу выступить на литературном вечере с участием Некрасова, рекомендуя прочесть «Тюлеву бабу».

Как и в былые годы, публичные выступления Марко Вовчка проходят с большим успехом. Она читает свои рассказы и на многолюдных «журфиксах» у Елисеева в присутствии 40–50 гостей, преимущественно литераторов, и на менее парадных приемах у профессора Института путей сообщения, строителя железных дорог А. Н. Еракова. Литературные вечера устраивает сестра Некрасова, заменившая детям Еракова рано умершую мать. Старшая из дочерей, Вера, одаренная пианистка и переводчица, — подруга Марии Александровны. Ей посвящена сказка «Королевна — Я».

О литературных вечерах на квартире Еракова в 1-й роте Измайловского полка (ныне 1-я Красноармейская улица) вспоминает его внучка Л. Давыдова: «Двери открываются... Вот Плещеев с прекрасным, ясным лицом, садится и, облокотясь, меланхолично подпирает голову рукой; всеми любимый, всегда радостно встречаемый И. Ф. Горбунов; больной, желчный Салтыков входит и в сгущающихся сумерках петербургского дня нервно требует: «Свету, свету!» Бледнолицая, с

большими черными глазами Марко Вовчок [мемуаристы произвольно меняют цвет ее глаз! — **Авт.**]... Шум шагов. Наконец входит Н. А. Некрасов. Сгорбленная фигура, кругом шеи платок, едва слышный голос...»

Горбунов с неподражаемым мастерством исполняет свои юмористические сценки из быта московских мещан; Марко Вовчок в неизменном черном бархатном платье с красным бантом, преодолевая смущение, читает по выбору слушателей то украинский, то русский рассказ; Плещеев, уступая настойчивым требованиям, скандирует свое юношеское стихотворение — гимн петрашевцев — «Вперед без страха и сомненья». Сестры Ераковы, как всегда, декламируют Некрасова. Без его стихов, самых новых или запрещенных, не проходит ни одно чтение.

За этой квартирой следила полиция. Несколько лет спустя начальник III отделения «всеподданнейше» докладывал царю о писательнице Марко Вовчок, заподозренной в дурном влиянии на математика П. Л. Чебышева, якобы набравшегося вольномыслия на ее литературных вечерах: «В бытность Маркович в С.- Петербурге действительно при ее участии у профессора-инженера Кракова устраивались литературные вечера, но участвовал ли в них профессор Чебышев, сведений не имеется».

...Обновленные «Отечественные записки» завоевывают прочный успех. За короткое время тираж возрастает в три-четыре раза с двух до шести и восьми тысяч экземпляров. Вокруг передового журнала спланиваются лучшие силы прогрессивной русской литературы. Но Некрасову этого мало. Он хочет воздействовать и на массового читателя. Триумвират редакторов пытается основать ежедневную газету. Выходить она будет под эгидой Некрасова, но редакторство возьмет на себя кто-нибудь из своих людей. Выбор падает на Марко Вовчка. Она достаточно опытна, на нее можно положиться, и, кроме того, всеми ее действиями будут руководить Елисеев и Салтыков — фактические редакторы и издатели.

Заручившись поддержкой Лазаревского, Некрасов диктует Марии Александровне прошение и программу газеты «Стрела». В цензурном ведомстве отлично понимают, что газетный филиал «Отечественных записок» усилит демократическую печать, но программа составлена так осторожно, что не может вызвать возражений. Последнее слово за министром внутренних дел Тимашевым. Присоединяясь к мнению меньшинства членов совета главного управления по делам печати, он накладывает на протоколе заседания резолюцию: «Вижу много неудобств в разрешении редакторства женщине, а потому признаю нужным просьбу

отклонить. 12 ноября 1869 года».

Под тем же предлогом в январе 1870 года отклоняется и прошение Звонарева об издании литературного и политического журнала «Иностранное обозрение» под редакцией М. А. Маркович (Марко Вовчок). На этот раз не было никаких дебатов: «Совет, не находя удобным разрешения издания г. Звонареву, издательская деятельность которого не может быть названа благонадежною и, согласно недавней резолюции г. министра о неудобстве допущения к редакторству женщин, полагает: означенное ходатайство отклонить».

Но Марко Вовчок не успокаивается. Она энергично хлопочет о разрешении издавать журнал более узкого профиля, не затрагивающий вопросов политики. Некрасов оказывает давление на Лазаревского, заверяя его, что Маркович будет не «подставным лицом», а фактическим редактором вполне безобидного издания.

23 мая начальник главного управления по делам печати Похвиснев запрашивает начальника III отделения, не встречается ли препятствий к изданию С. В. Звонаревым и М. А. Маркович иллюстрированного журнала «Переводы лучших иностранных писателей».

Мария Александровна, ободренная Некрасовым, 24 мая заключает со Звонаревым договор. Издатель обязуется выплачивать ей за редакторство 2000 рублей серебром в год и отдельно по 25 рублей за печатный лист переводов, которые переходят в его полную собственность.

3 июня Похвиснев утверждает программу: «1. Переводные романы, повести и рассказы. 2. Путешествия. Кроме того, отдельно к журналу приложениями. 3. Сочинения для детского чтения. Журнал будет выходить ежемесячно, книжками от 15 до 20 листов».

Одновременно заготавливается справка для доклада начальнику III отделения: «Маркович Мария Александровна, вдова надворного советника, между молодыми литераторами известна под шутовским названием «Волчок»... В литературе придерживается прогрессивно-демократического взгляда и не прочь стоять за женскую эмансипацию; в частной же жизни с аристократическими замашками и не лишена чванства; знакомство ведет с литераторами, преимущественно с молодыми, начинающими».

Уже в августе печатаются рекламные объявления о предстоящем выходе с 1 января 1871 года иллюстрированного ежемесячника под редакцией Марко Вовчка — «Переводы лучших иностранных писателей».

Тем временем была сделана еще одна попытка исхлопотать под ее именем газету. После того как Ф. М. Толстой, один из сановников цензурного ведомства, отсоветовал Салтыкову предпринимать новые

демарши, Елисеев сообщил писательнице: «Что касается газеты предполагаемой, то после слов Толстого Салтыкову не знаю, что и делать. Надобно о сем глубоко подумать».

Редакция «Отечественных записок» использует парижские связи Марко Вовчка. Весной 1869 года Некрасов знакомится в Париже с Этцелем и передает ему посылку от Марии Александровны. «Я открыл все принесенное и был счастлив... — пишет ей Этцель. — Я вспоминаю поездку в Петербург, вижу перед глазами Невский. Я мысленно представляю себе места, по которым Вы ходите» (поездка Этцеля состоялась в конце 1868 или в начале 1869 года). И дальше он пишет, что с радостью окажет Некрасову любую услугу: «Человек, который добр к Вам, становится и моим другом. Я внимательно читаю в газетах все, что касается России. Страна, в которой живете Вы, является отчасти и моей страной». В дальнейшем адрес Этцеля — Рю Жакоб, 18 — помогает редакции «Отечественных записок» поддерживать контакты с русскими политическими эмигрантами.

В феврале 1870 года Герман Лопатин устроил побег за границу известному философу, критику и публицисту, революционному народнику Петру Лавровичу Лаврову, сосланному в Вологодскую губернию. С 1868 по 1872 год Лавров напечатал в «Отечественных записках» около 30 статей. Находясь под «особенно строгим наблюдением» III отделения, он негласно редактировал «Заграничный вестник», в котором (1864, кн. 6) изложил, не называя источника, «Манифест Коммунистической партии» Маркса и Энгельса.

Арест и ссылка в 1866 году не прервали бурной деятельности П. Л. Лаврова. За границей он вступил в I Интернационал, участвовал в Парижской коммуне, познакомился и затем сблизился с Марксом и Энгельсом. Человек широкой эрудиции, он писал необыкновенно много и на разные темы, печатаясь в русской легальной прессе анонимно или под псевдонимами (известно 56 псевдонимов Лаврова). В свое время он был популярен и как поэт — автор многих политических стихов и в том числе революционной песни «Отречемся от старого мира».

Редакция поручает Марии Александровне установить с Лавровым связь и организовать доставку его рукописей. Уже в начале апреля 1870 года Елисеев просит ее разыскать в Париже Поля Сидорова, приславшего «умную корреспонденцию» и вручить ему пакет, посланный на адрес Этцеля. С тех пор она выполняет роль посредницы между Лавровым, именующим себя в переписке «m-lle Claire» (Клара), и журналом Некрасова, называемым «фабрикой».

Среди бумаг Лаврова сохранился помесичный перечень опубликованных статей с исчислением печатных листов и причитающихся гонораров в рублях, английских фунтах и франках. На этом же листке записано: «Его превосходительству Вас. Матв. Лазаревскому — Russie Petersbourg в С.-Петербург. На углу Литейной и Итальянской». Очевидно, тогда же, при встрече с писательницей в Париже, Лавров записал ее обычный парижский адрес — отель «Лувр». Любопытно, что на той же странице записной книжки указан и адрес Карла Маркса. (Заметим кстати, что в домашней библиотеке Марко Вовчка бережно хранилось первое русское издание «Капитала».)

Легко догадаться, что в этот приезд она знакомит Лаврова с Этцелем, договаривается с вехом Некрасова о пересылке денег, журналов и писем из России на Рю Жакоб и корреспонденции от «государственного преступника» на нейтральный адрес Лазаревского.

Между тем надвигаются грозные события. Франко-прусская война. Седанская катастрофа. Падение Второй империи. Провозглашение республики. Парижская коммуна.

Письма Этцеля полны тревоги.

12 июля 1870 года: «Дорогой друг! Пруссакки находятся в трех лье от Парижа... Если бы Россия захотела, можно было бы остановить пруссаков...Вы красноречивы, Вы владеете пером, у Вас талантливые друзья, — пусть они от имени всего человечества зажгут общественное мнение!»

16 июля: «Если Франция падет, то виной всему вероломная империя и ее правители...Все русские должны знать, что враги Франции являются также и врагами России!»

19 августа (par ballon — воздушной почтой): «Дорогой друг! Не волнуйтесь за меня и за всех нас. Мы чувствуем себя очень хорошо...Плохо с продовольствием, нет свежего мяса...Удивительное зрелище: осажденный город весело живет под грохот пушек. Вместо того чтобы идти в лес, парижане ходят к крепостным стенам, вместо того чтобы спать в постели, спят на земле и в палатках. Но никто не жалуется».

Одновременно Лавров пишет Марии Александровне о своих ежедневных походах на Рю Жакоб в надежде на долгожданные деньги и письма для «m-lle Claire», критикует объявленную в «Отечественных записках» «несколько бедную» программу журнала Марко Вовчка и дает куда более четкую, чем Этцель, оценку политической ситуации: «Пруссакки, говорят, уже недалеко. А республиканцы все не решаются свергнуть сначала неспособное правительство, чтобы было за что драться».

В те же дни Лавров сообщает своей петербургской знакомой Е. А. Штакеншнейдер о работе над статьей «Французская демократия и падение Второй империи», статьей, представляющей для России большой интерес, и просит передать это «кому следует, не болтая посторонним». Но письма Лаврова остаются без ответа. Он в недоумении. Дошла ли его статья об осаде Парижа? Писать ли ему в «Отечественные записки» о дальнейшем развитии событий, приведших к Парижской коммуне? Нужно бить в набат, звонить во все колокола: «В первый раз на политической сцене не честолюбцы, не болтуны, а люди труда. Люди настоящего народа!» Весь мир должен знать: «Борьба Парижа в настоящую минуту — борьба историческая, и он действительно находится теперь в первом ряду человечества!»

А петербуржцы молчат... Письма Лаврова полны жалоб на невнимательность «романистки» (Марко Вовчка) и редакции, которая могла бы поддержать его в эти трудные дни. 15 апреля 1871 года он делает еще одну попытку связаться с Марией Александровной: «Я собрал материал для истории Парижской коммуны по документам и личным сведениям за первый месяц ее существования. Напишите, можно ли послать эту историю, или у вас фабрика все труса празднует». Только в августе Лаврову дали знать, что задержка была непредвиденной и чтобы в дальнейшем он не искал в Петербурге посредников.

Конспиративную связь с Лавровым временно пришлось прекратить. Возникла опасность разоблачения. Некрасов и Марко Вовчок переоценили лояльность Лазаревского. Получая из Парижа и Брюсселя толстые пакеты в двойных конвертах (второй конверт — М. А. Маркович), он заподозрил крамолу и потребовал от Некрасова объяснений. Тот вынужден был признаться, что это корреспонденции от Лаврова. Лазаревский насмерть перепугался. Он, видный деятель, человек безупречной репутации, отец семейства, становится невольным соучастником сговора с государственным преступником!

Донос не был отправлен только благодаря незаурядному дипломатическому искусству Некрасова: он сумел убедить Лазаревского, что тот ставит под угрозу прежде всего собственное благополучие, и пригрозил ему разрывом. Этот драматический Эпизод, чуть было не приведший к тяжелым последствиям, восстанавливается во всех подробностях по дневниковым записям Лазаревского, где каждое упоминание Марко Вовчка сопровождается уничижительными эпитетами.

Марий Александровна нажила себе еще одного непримиримого врага.

Как раз в это время в «Отечественных записках» печаталось одно из

острейших ее произведений — «Путешествие во внутрь страны». Ссора писательницы с высокопоставленным цензором и с трудом замятый скандал заставили Некрасова выпустить ее под другим псевдонимом и поостеречься колоть глаза цензуру одиозным именем «Марко Вовчок».

Следующее произведение Марко Вовчка — повесть «Теплое гнездышко» — появляется в «Отечественных записках» только в середине 1873 года, а написанные тогда же рассказы и сатирическая повесть «Совершенная курица», которую Чернышевский причислял к шедеврам русской литературы, выходят отдельной книгой без предварительной публикации в периодических изданиях.

СВОЙ ЖУРНАЛ

Журнал «Переводы лучших иностранных писателей» существовал недолго — неполных полтора года. След от него остался не столько в литературе, сколько в истории женского движения. Неукоснительно выдерживая принцип — привлекать к сотрудничеству женщин, и только женщин, Марко Вовчок не приняла даже переводов Плещеева, хотя относилась к поэту с большой симпатией. Стоило появиться объявлению о предстоящем выходе журнала, как ее начали осаждать просительницы.

«Я живу по-старому, — писала она в ноябре 1870 года, — с тою только разницей, что теперь каждый понедельник у меня толпа женщин. Все ищут работы. Многие приезжали и приезжают из провинции. Все хотят работы. Нет, это не прихоть уже, а потребность. Приезжают не одни молоденькие, а всякие: и пожилые, и зрелые, и даже старые. Это поголовное восстание».

Марко Вовчок приобщается к женскому движению, разделяя взгляды и стремления таких передовых деятельниц, как А. Н. Энгельгардт, Н. В. Стасова, М. В. Трубникова, М. К. Цебрикова. В первых рядах находится и ее ближайшая подруга Н. А. Белозерская, много писавшая по, «женскому вопросу». Вдвоем они переводят книгу «Подчиненность женщины» английского философа Джона Стюарта Милля.

Но будоражит умы не Милль, а Чернышевский. Роман «Что делать?» становится учебником жизни. Поборники раскрепощения женщины пропагандируют артельный труд. Возникают женские артели — ремесленные, художественные, переводческие; товарищества взаимной помощи, издательский кружок, благотворительное «Общество дешевых квартир» и т. д. В конце шестидесятых годов организуются первые в России общеобразовательные Высшие женские курсы.

Правительство стоит на страже. Жандармы удваивают бдительность.

Выход первой книги журнала совпадает по времени с «Высочайшим повелением» от 14 января 1871 года — «воспретить прием женщин, даже по найму, на канцелярские и другие должности». Сфера применения квалифицированного женского труда ограничивается правом занимать места акушерок, сестер милосердия, воспитательниц в женских гимназиях, телеграфисток и счетных работников (в женских заведениях).

В этих условиях издание первого и единственного журнала, основанного исключительно на женском труде, было вызовом официальным установлениям. Уже тем самым журнал Марко Вовчка

служил высоким целям.

Она призывала женщин к труду, но помочь могла не многим. Уже к декабрю журнал был обеспечен переводами на весь следующий год. Отказываться в работе было несколько не легче, чем справляться с обязанностями редактора. «Я завалена корректурами, как сугробами», — жаловалась писательница.

Она взвалила на себя тяжкое бремя. Только сама Марко Вовчок, ее помощница Белозерская, Екатерина Сысоева, Мария Цебрикова и Елена Лихачева были профессиональными литераторами. Все остальные — около тридцати сотрудниц — впервые выступали в печати.

Среди переводчиц — женское окружение сотрудников «Отечественных записок», родные и знакомые Марко Вовчка: Анна Буткевич, Вера Еракова, Мария Михайловская, Елена Скабичевская, Екатерина Данилова (гражданская жена А. Н. Плещеева), Прасковья Дмитриева (мать писательницы), Юлия Корнильева и Юлия Ешевская (ее старые подруги), Зинаида Ген (сестра Н. А. Белозерской) и даже Екатерина Керстен (родственница А. В. Марковича). Получают переводы и незнакомые интеллигентные девушки, необеспеченные вдовы, жены бедных чиновников, вроде Анны Зайдер, матери четырех детей. Все они в литературе случайные гости.

Куда проще и спокойнее было бы опереться на опытных переводчиц! Но Марко Вовчок выбирает путь наибольшего сопротивления. Она претворяет в жизнь искания героинь своих повестей и романов, призывает женщин к общественно полезному труду.

Любопытно признание П. П. Дмитриевой, престарелой матери писательницы: «Пример твоей трудолюбивой жизни привел меня к сознанию, что и я могу трудиться в свою очередь».

Необычный состав сотрудников и само содержание «Переводов лучших иностранных писателей» резко отличают журнал Марко Вовчка от однотипных периодических изданий («Собрание переводных романов, повестей и рассказов» Е. Ахматовой, «Журнал переводных сочинений» Н. Львова и др.). Летом 1870 года, когда журнал только затевался, А. Н. Плещеев счел своим долгом предостеречь Марию Александровну от подражания дурным образцам: «Переводные романы, которыми угощают массу Ахматова и Львов, до такой степени плохи и так дурно переводятся, что новое издание подобного рода, с строгим выбором и толковыми переводами будет не только не лишнее, но даже полезное. Сколько есть таких читателей, и в особенности читательниц, которые только по романам и имеют возможность развиваться, за недостатком у них научной

подготовки».

Марко Вовчок не пренебрегла этими справедливыми пожеланиями. Однако главный упор был перенесен с беллетристики на научно-популярные труды. Вместе с Надеждой Белозерской она перевела для журнала две большие книги: «Историю человеческой культуры» Ф. Кольба и «Картины из истории римских нравов» Л. Фридлендера. Из номера в номер печатались также «Знаменитые исследователи и путешественники» Жюль Верна — первая книга из его многотомной истории географических открытий.

Марко Вовчок не обходит в своем журнале жгучих социальных проблем. Более чем злободневно звучали публицистические очерки Джеймса Гринвуда «Семь язв Лондона» и неподписанная статья «Быт рабочих Англии и Северной Америки». Гринвуд представлен еще и романом «Похождения Робина Девиджера».

Детский отдел заполнялся преимущественно материалами Этцеля: «Путешествия по Южной Африке, или приключения трех русских и трех англичан» Жюль Верна, «Приключения молодого натуралиста» Люсьена Биара, многочисленные рассказы Эркмана-Шатриана, аллегорические и дидактические сказки Жана Массе и П. Ж. Сталя (Этцеля). Здесь же, в детском отделе, публикуется парижская повесть Марко Вовчка «Маруся» (указано: «перевод с малороссийского»).

Направление журнала настораживает цензуру. Не мытьем, так катаньем Марко Вовчок добилась своего: «Переводы лучших иностранных писателей» превратились в негласный филиал «Отечественных записок»!

В конце 1871 года цензор Смирнов написал свое заключение: «В этом издании является смещение самых невинных статей с самыми тенденциозными, лишь бы принадлежали известному таланту. Цензура устраняла излишнюю и вредную тенденциозность, и перевод далеко отличается от подлинника».

Тем не менее, спустя четыре месяца вопрос о журнале Марко Вовчка выносится на обсуждение совета главного управления по делам печати. Выводы убийственные: «В отделе журнала «Для детского чтения», несмотря на делаемые цензурой исключения, остаются иногда следы предвзятого направления редакции, очевидно стремящейся проводить в детские умы идеи грубого материализма». Такие рассказы, сказано в протоколе, подготавливают «удобную почву для восприятия со временем учения Дарвина, для полного отождествления человека с животным».

Детский отдел журнала настораживал и благонамеренных читателей. Вместо обычных нравоучительных историй — какие-то сомнительные

сказки и богопротивные аллегории. Журнал не оправдывал ожиданий и любителей «изящной словесности»: вместо развлекательной беллетристики — обличительные очерки и научные сочинения.

Тираж резко сократился и упал еще больше, когда против Марко Вовчка началась организованная кампания. В мае 1872 года вышел пятый и последний (по общему счету семнадцатый) номер «Переводов лучших иностранных писателей». Внезапное прекращение издания мотивировалось финансовыми трудностями: число подписчиков не увеличилось, издатель терпит убытки...

ЗАПАДНЯ

Связи Марко Вовчка с Этцелем, ее журнал и многочисленные звонаревские издания затрагивали профессиональные интересы других переводческих кружков. Инициативу в борьбе против Марко Вовчка взяла на себя Людмила Шелгунова, известная шестидесятница, работавшая в тот период на издателя Вольфа. (Сейчас ее помнят как автора воспоминаний «Из далекого прошлого».) Она тоже переводила новинки детской литературы и нередко — те же самые книги, например, «От Земли до Луны» и «Приключения капитана Гаттераса» Жюль Верна.

Сигналом к атаке послужила статья Шелгунова, мужа переводчицы.

Видный публицист и революционный деятель Николай Васильевич Шелгунов, отбывавший ссылку в Вологодской губернии, относился к Марко Вовчку с той же предвзятостью, что и другие сотрудники «Дела». Речь идет о нашумевшей статье «Глухая пора», напечатанной в апреле 1870 года. Прослеживая весь творческий путь писательницы от «Народных рассказов» до «Записок причетника», критик, отказывая ей во всякой самостоятельности, упрекает в наивном подражании Тургеневу и Гоголю, в незнании крепостной деревни и даже... в помещичьем взгляде на жизнь.

Вскоре после этой статьи Л. П. Шелгунова вместе с Е. И. Конради заявили, будто Марко Вовчок эксплуатирует молодых переводчиц, не доплачивая им гонорары, которые получает у Звонарева. На этот раз наступление сорвалось благодаря энергичному вмешательству Е. П. Елисейевой, жены одного из редакторов «Отечественных записок». Опросив поименно всех переводчиц, названных в качестве жертв «эксплуататорши», она установила, что это навет, и публично обвинила Шелгунову и Конради в клевете.

Другой удар, теперь уже без промаха, последовал со стороны женского издательского кружка Н. В. Стасовой и М. В. Трубниковой. Мария Александровна совершила непростительную оплошность.

В некоторых случаях, когда не хватало времени, она, как и многие ее коллеги, обращалась к помощникам, указывая обычно на титульном листе: «Перевод под редакцией Марко Вовчка». По-видимому, так она собиралась Чюступить и с переводом второго тома «Полного собрания сказок Андерсена», заказанного издателем Плотниковым. И тут она попала в западню. Заваленная грудой дел, Мария Александровна не уследила за этим случайным заказом, а ее помощница поспешила передать рукопись

издателю в качестве переводной работы Марко Вовчка.

Книга, помеченная 1872 годом, еще не поступила в продажу, когда в «С.-Петербургских ведомостях» 11 декабря 1871 года появилась статья некоего И. Каверина — «Что-то очень некрасивое». Под этим псевдонимом выступил крупнейший искусствовед, вдохновитель передвижников и «Могучей кучки» В. В. Стасов. Сличив издание Плотникова с прежним переводом тех же сказок, изданных в 1868 году М. В. Трубниковой и Н. В. Стасовой (сестрой критика), он убедительно доказал, что новый перевод есть не что иное, как переделка старого. Марко Вовчок обвинялась в плагиате!

В устных и печатных заявлениях Стасов ратовал за пересмотр нелепого закона об авторском праве, по которому переводчик мог свободно использовать до двух третей старого перевода, выполненного другим лицом. Несомненно, Стасовым руководили идейные побуждения, но несомненно и то, что за его спиной стояли люди, сводившие с Марией Александровной личные счеты.

Ей ничего не оставалось, как апеллировать к букве закона. Ведь на ее стороне была только юридическая правота. Противники же требовали морального осуждения.

Писательница сама предложила устроить третейский суд с тем, чтобы установить: действительно ли переводчик имеет право пользоваться чужим переводом, воспользовалась ли она чужим переводом и чей перевод лучше? («С.-Петербургские ведомости» от 8 января 1872 г.)

Газеты, потакая вкусам обывателей, подробно освещали переговоры сторон и все этапы процесса. По разным причинам третейский суд оттянулся на конец года, и в последний момент защитники «подсудимой» — Салтыков-Щедрин, В. И. Танеев и Г. З. Елисеев — отказались участвовать в судилище, ставящем своей целью опорочить прогрессивную писательницу. Такого же мнения придерживался и Лавров. «Что это вздумалось Стасовой и Трубниковой тягаться с М. Вовчком, кажется из-за пустяков?» — спрашивал он Е. Штакенштейдер в письме из Парижа.

Дело кончилось публикацией заявления авторитетной комиссии из 18 юристов и литераторов, подтвердившей первоначальный вывод И. Каверина (Стасова). Комиссия заседала на квартире Е. Н. Ахматовой, издательницы «Собрания переводных романов», больше других заинтересованной в дискредитации Марко Вовчка.

Мария Александровна, ставшая жертвой собственного легкомыслия, потеряла не только свой престиж и свой журнал. Она потеряла многих по-настоящему близких друзей, в том числе Елисеевых... Она потеряла свое

положение в «Отечественных записках», перестала посещать редакционные понедельники. За последующие пять лет пребывания в Петербурге она напечатала в журнале Некрасова только два оригинальных произведения и ни одного перевода.

История со сказками Андерсена внесла перелом в ее жизнь. Она меньше бывает на виду, избегает встречаться с писателями. Чувствуется душевная усталость. Возникает желание избавиться от литературной поденщины и покончить с «кличкой» Марко Вовчок...

Но внешне ничто не изменилось. Под ее именем выходят все новые и новые переводы, печатаются повести и романы, завершается собрание сочинений. Мария Александровна неколебима в своих убеждениях: она остается единомышленницей Некрасова и Салтыкова-Щедрина. Но прежде чем говорить о новом этапе творчества Марко Вовчка, остановимся на некоторых малоизвестных эпизодах ее жизни и общественной деятельности семидесятых годов^{49}.

НОВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Среди сотрудников «Отечественных записок» и петербургских знакомых Марии Александровны было немало уроженцев Тверской губернии, которая выделялась в те годы радикально настроенным земством и просветительскими начинаниями либеральных помещиков. «Тверское земство, — писал в своих мемуарах монархист К. Головин, — было у правительства на самом дурном счету. На него смотрели чуть ли не как на центральное гнездо революции».

В Твери или в родовых поместьях, расположенных в соседних уездах, жили, деля время между столицей и провинцией, писательницы Е. И. Лихачева и Е. Н. Сысоева, издатель «Журнала переводных сочинений» Н. С. Львов и его сестра, переводчица Т. С. Львова, крупнейший статистик В. И. Покровский, близкий друг Салтыкова юрист А. М. Унковский.

По пути в Москву и Орел Мария Александровна все чаще делает остановки в Твери, участвует в литературных чтениях. На квартире Сысоевой, знакомится с местной интеллигенцией, проникается интересами радикальной молодежи. Летом 1870 года она несколько недель гостит у Сысоевой в Мясищеве, а в 1871 году проводит в Тверской губернии почти полгода.

Как раз к этому времени увенчались успехом длительные хлопоты видного общественного деятеля Василия Николаевича Линда о разрешении основать в Торжке земскую губернскую школу для подготовки народных учителей преимущественно из крестьянской молодежи. Это была первая в России учительская семинария, организованная по общественной инициативе и за счет земства.

Писательница охотно приняла приглашение присутствовать 23 сентября в качестве почетной гостьи на торжественном открытии Новоторжской учительской школы. Какое значение придавали этой школе, видно из статьи — по всей вероятности, В. Н. Линда — «О народном образовании в Тверской губернии», подписанной псевдонимом Д. Панглосс («Отечественные записки», 1873, кн. 4).

Учительская семинария не единственное детище Линда. Почти во всех уездах Тверской губернии с его помощью были созданы ремесленные училища по основным отраслям местного кустарного промысла. Прогрессивная инициатива Линда нашла много откликов и подражаний в разных губерниях. Этот разносторонний и весьма образованный человек в

своей многообразной общественной деятельности по тактическим соображениям предпочитал оставаться в тени. И директором учительской семинарии становится не Линд и не Петр Яковлевич Мороз, талантливый бескорыстный педагог, а либеральный помещик Николай Сергеевич Львов, взявший на себя также преподавание истории и географии.

После официального открытия учительской семинарии, с молебным и казенными речами, те же ораторы держались куда свободнее на званом обеде у Львова, в его имении Митино, расположенном в нескольких верстах от Торжка. Мария Александровна была среди гостей и жадно впитывала в себя новые впечатления. Ей очень понравился тост Линда, лаконично выразившего свое кредо: «Есть только две цели, достойные внимания серьезного общественного деятеля: улучшение материального положения народа и его умственное развитие».

Развязался язык у косноязычного Львова, который через слово говорил «то бишь» и потому был наделен прозвищем «Тобишка». Похваляясь не виданным ни в одной губернии подбором молодых учителей, «отважных ратоборцев народного образования, возложивших на себя священную миссию быть двигателями прогресса», прекраснодушный Николай Сергеевич вряд ли подозревал, что многие из них связаны с революционными кружками.

Не пройдет и двух лет, как начальник Тверского жандармского управления полковник Яхонтов в очередном донесении III отделению упомянет среди наиболее «вредных» учителей хороших знакомых Марии Александровны — П. Я. Мороза, Леонида Попова, Анну Глазухину, которой она посвятит свою повесть «Лето в деревне», Александру Ободовскую, Аграфену Миролюбову. Все они будут фигурировать на политических процессах — Долгушина и «193-х».

В имении Львовых Митино писательница проводит летние месяцы 1872 и 1873 годов. В ее распоряжение предоставляется отдельный домик в обширном запущенном парке, над обрывистым берегом Тверцы. Вместе с матерью здесь бывает на каникулах Богдан, в то время уже студент физико-математического факультета Петербургского университета. Всей группой или поочередно к ним наезжают члены «колонии» — общие друзья сына и матери, их неизменные гости на петербургской квартире, в доме генерала Буткевича на углу Надеждинской и Малой Итальянской: брат Н. А. Белозерской, студент-медик Анатолий Ген, его товарищ по Медико-хирургической академии Павел Нилов, недавно кончившие Морское училище Мнша Жученко и Ваня Лебедев. Оба они не без влияния Марии Александровны подали в отставку и поступили в Технологический

институт. Лебедев, вернувшись через несколько лет на флот, становится к началу русско-японской войны командиром крейсера «Дмитрий Донской». Его геройское поведение и гибель в морском бою подробно описываются в романе А. С. Новикова-Прибоя «Цусима».

В этой же компании сестра преподавателя П. Я. Мороза Ульяна, уже упомянутая Анна Глазухина, Аграфена Миролюбова.

Молодые друзья писательницы и ее сына по два-три раза на неделе бывают у них в гостях, а Миша Жученко на правах «родственника» занимает свободную комнату не только в петербургской квартире, но и в митинском домике. Мария Александровна живо интересуется делами каждого из них, в трудные минуты помогает деньгами, а бывая в Париже, не забывает привозить подарки. В одном из писем она спрашивает Богдана: «Я, знаешь, что думаю. Купить вам всем панталоны. Это не поэтично, но практично. Как ты полагаешь? Если Ваше величество одобряет — нужны размеры. Тоже выпроси похитрее, какие цвета кто предпочитает».

Миша Жученко, не имеющий средств к жизни, приобщается при ее содействии к переводческому труду. Под его именем выходят переводы трех французских книг: «Беседы по химии» Когура и Риша, популярная астрономия Фламариона «История неба» и повесть П. Ж. Сталя «История осла». Разумеется, значительную часть работы берет на себя сама писательница, а Жученко, со своей стороны, безотказно выполняет любые поручения, ведает в ее отсутствие хозяйством, кормит «колонию», держит корректуры и т. д. Этот верный и испытанный друг со временем станет, несмотря на разницу в возрасте (он моложе на 17 лет), мужем Марии Александровны и ее неразлучным спутником до конца дней.

В эти годы у писательницы много общих интересов с Татьяной Сергеевной Львовой. Их связывают не только переводческие дела, но и совместная деятельность в Торжке. Прикрываясь именем богатой помещицы, В. Н. Линд заводит в городе типографию, открывает книжный магазин и библиотеку-читальню. Мария Александровна передает туда десятки экземпляров своих сказок, изданных для народа дешевыми книжечками Комитетом грамотности, обсуждает с Линдом и Морозом организацию «Общества распространения полезных книг», вместе с Татьяной Сергеевной посещает в Торжке библиотеку, проводит литературные чтения, общается с учителями и учащейся молодежью.

Т. С. Львова знакомит ее со своими родственниками — Лениными и Бакуниными. С одним из братьев Бакуниных, Александром, Марко Вовчку уже приходилось встречаться во Флоренции. Ее знакомство с эмигрантом Мишелем, которого братья и сестры не видели много лет, вызывает к ней

повышенный интерес у всей семьи. В дневнике Бакуниных сохранилась запись от 6 августа 1873 года о визите писательницы в их родовое имение Прямухино: «Сегодня приехали Татьяна Сергеевна Львова и Мария Александровна Марко-Вовчок...»

Братья и сестры Бакунины, воспитанные на немецкой классической философии, литературе и музыке, остановились на идеалах сороковых годов. Они гордились дружбой с Белинским и Станкевичем, а еще больше — своим знаменитым братом Мишелем, хотя и не разделяли его бунтарских убеждений. Марии Александровне показали в парке любимую беседку Белинского, где, по семейному преданию, начинающий критик объяснился в любви одной из сестер Михаила Бакунина. Незадолго до приезда писательницы библиотека барского дома в Прямухине украсилась мраморным бюстом Белинского работы Н. Н. Ге, частого гостя Бакуниных.

И Бакунины, и Львовы, и Оленины были активными земскими деятелями и даже находились на подозрении у начальника жандармского управления. Однако их либерализм не шел дальше поверхностного просветительства и филантропии. Люди этого типа создали в Твери благотворительное «Общество доброхотной копейки». Дворянские дамы-патронессы организовывали швейные Мастерские и приюты для «раскаившихся магдалин».

Куда больше привлекали писательницу люди действия, ведшие пропагандистскую деятельность в народной гуще. Так, например, знакомый ей отставной поручик Ярцев, выкупив у матери свою часть земли в деревне Андрюшино, распределил ее среди крестьян и обрабатывал свой надел собственными руками. Кроме того, дом Ярцева служил убежищем для скрывавшихся от полиции революционеров. Летом 1873 года у него жили под видом поденных работников Сергей Кравчинский и Дмитрий Рогачев.

Учительская семинария сразу же насторожила III отделение и министерство народного просвещения. Вскоре возникло «дело» о неблагонадежности учителей Новоторжской семинарии. 20 августа 1873 года начальник Тверского жандармского управления в своем рапорте шефу жандармов указывает на Прямухино как на место встреч подозрительных элементов. «Другим местом съезда этих же и подобных личностей, — сообщает полковник Яхонтов, — служит подгородное имение Николая Сергеевича Львова — село Митино. Там ежегодно в летнее время гостит г-жа Маркович, известная в литературе под псевдонимом «Марко Вовчок». Митино служит местом почти ежедневных собраний учителей земской учительской семинарии...так как Львов директор и дружит со всеми».

III отделение направляет свои усилия на борьбу с революционной пропагандой в народе. В Петербурге и Торжке арестованы знакомые Марии Александровны — В. К. Ярцев, учительница А. Миролубова, крестьянин Л. Румянцев, работавший в книжном магазине и библиотеке Т. Львовой, учителя Леонид Попов и Анна Глазухина. Разыскиваются успевшие скрыться Д. Рогачев и С. Кравчинский. Подвергся обыску и домашнему аресту В. Линд, предусмотрительно уничтоживший все компрометирующие документы.

Имя Марко Вовчка снова упоминается в секретной переписке жандармов среди знакомых Н. С. Львова, «известных по своей политической неблагонадежности». Встревоженная арестами в Петербурге и Торжке, она надолго покидает столицу. В марте 1874 года, с трудом скототив необходимые средства, Мария Александровна уезжает вместе с Богданом и М. Жученко в Париж и возвращается в мае. После этого она срочно меняет квартиру, перебравшись в дом Ниссена на Фонтанке, № 159, в сравнительно отдаленную часть города, и не мешкая отправляется на все лето уже не в Тверскую губернию, а в глухое местечко Ретени близ станции Плюсса.

Однако тревога не улеглась. В одно из посещений Петербурга она узнает из газет о начавшемся процессе Долгушина и с оглядкой на почтовую цензуру пишет в Ретени: «Здесь теперь идет дело о схваченных распространителях в народе смут. Во всех газетах печатается отчет. Между прочим, схвачен Плотников, кажется, брат той, которую мы знаем... Приняты самые деятельные меры к прекращению таких смут и надеются, что скоро они утихнут. Арестовано очень много женщин. Кажется, между ними есть и знакомые дуры». И сбоку на полях, чтобы успокоить близких: «Все благополучно — ни о чем не тревожься».

Но боялась она не только за себя. Богдан к тому времени связал свою судьбу с революционными народниками.

...И НОВЫЕ КНИГИ

Острым взглядом художника Марко Вовчок подмечает противоречия пореформенной эпохи. Нищета деревни и оскудение дворянских гнезд, паразитизм духовенства и хищничество откупщиков, выдвигание дельца-помещика и новые формы закабаления крестьян, земские учреждения и барская филантропия — все это привлекает ее внимание и определяет критическую направленность произведений семидесятых годов.

В сатирических повестях и рассказах из жизни провинциального дворянства она обобщает свои наблюдения, почерпнутые главным образом в Тверской губернии. Зная обстановку и людей, с которыми она общалась в Твери, Торжке, Мясищеве, Митине, Прямухине, легко найти среди персонажей ее книг реальные прототипы, во многих эпизодах — отголоски подлинных событий.

Алексис Витиеватов славится на весь уезд неусыпными заботами о бывших крепостных. Он завел у себя в усадьбе школу и самолично обучает крестьянских детей. Это он заявил на обеде у предводителя: «Сладко следить за народным развитием, хорошо, любо чувствовать, что посылно содействуем народному благу! Будем же идти бок о бок с народом, будем его заботливо поддерживать на тернистой стезе самосовершенствования! Тут требуются жертвы, но разве кто из нас убоится жертв?»

На деле все выглядит иначе. Крестьяне, как и прежде, работают от зари до зари на полях «добробога», а в образцовой школе учит драчливый дьякон, заставляющий ребятишек обрабатывать свой огород («Сельская идиллия»).

Н. С. Львов, узнав себя в шаржированном образе Витиеватова, не на шутку обиделся и прекратил с писательницей знакомство. Впрочем, это был не первый случай. Еще раньше поссорился с ней гражданский генерал А. К. Пфель: в «Путешествии во внутрь страны» Марко Вовчок разоблачила аферу в одном из детских приютов, находившихся под его покровительством.

А вот и семейство Бакуниных! Богатые помещики Ферапонтовы ежедневно принимают десятка два гостей в обширных грязноватых наследственных хоромашах. Евгений Ферапонтов самозабвенно разводит канареек. Брат его Геннадий слывет «уездным Гегелем». Он был другом Белинского, Хомякова и Грановского и даже чуть с ними не породнился. Просвещенный аристократ любит «толковать о погибших дорогих друзьях

своей юности и давать исключительно рецепт сороковых годов, как лучше подвигать вперед дело развития и народного образования». Рецепт же сводится к тому, чтобы вести народ под строгим присмотром к нравственным доблестям («Лето в деревне»).

Эти саркастические характеристики либеральных помещиков совпадают с трезвыми оценками В. Н. Линда, заметившего в своих «Воспоминаниях» (1910 г.), что такие «радетели народного блага», как Львовы и Бакунины, впоследствии становились кадетами.

Отталкиваясь от конкретных фактов, Марко Вовчок доходит до социальных обобщений.

В повести «Мечты и действительность» приводится подлинный документ — решение мирового суда по иску помещицы к двум крестьянам, не убравшим к назначенному сроку шесть десятин ржи. В наказание они должны, кроме этой работы, скосить, связать и свезти в гумно пять десятин гречихи, вспахать восемь десятин пшеницы и выкорчевать пни на заливном лугу.

Холодная, бесчеловечная женщина, как говорит о помещице Галкиной рассказчик, предстает перед местным дворянством неотразимой светской львицей и неутомимой общественной деятельницей. Это она организует общество «Добровольного грошика», чтобы устроить швейную мастерскую для бедных женщин и приют для подкидышей! Правда, игра в благотворительность быстро ей приедается, как и другим дамам-патронессам...

*От ликующих, праздно болтающих,
Омывающих руки в крови,
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви!*

Эти стихи Некрасова, поставленные эпиграфом к последней главе романа «В глуши», как нельзя лучше передают идейный пафос русских повестей и романов Марко Вовчка. Ее положительные герои, люди передовых убеждений, противоборствуют злу и доказывают на деле свою готовность служить народу. И не случайно в произведениях писательницы выдвигается новая общественная сила — народные учителя.

Выдвигает их сама жизнь. Марко Вовчок и Некрасов переписываются с учительницей Малоземовой, помогают ей советами, отвечают на волнующие вопросы. Мария Александровна просматривает составленный

ею «читальник» (букварь) для сельских школ, дает ей прочесть изъятые цензурой страницы «Записок причетника». На учительских съездах в Твери и Торжке Марко Вовчок знакомится со своими будущими героями. Здесь она могла встретить и Ободовскую, работавшую народной учительницей в селе Едимнове, и Софью Перовскую, и многих других. Сельская школа становится рассадником революционной пропаганды. Молодые люди с университетскими дипломами, девушки из интеллигентных семей разбредаются по деревням и селам «сеять разумное, доброе, вечное».

Сельская учительница Глазухина, которой посвящена повесть «Лето в деревне» (1876), была близка к Вере Засулич. При обыске в 1875 году у нее нашли программу «Вперед». Черты этой смелой женщины запечатлены в образе Ольги Чудовой, хранящей у себя тетрадку с надписью «Что делать?» (роман Чернышевского получил широкое распространение в списках).

«Что делать?» — любимая книга Богдана. Общение в Тверской губернии с молодежью типа Глазухиной и Кравчинского сближает его с революционными народниками. Сын писательницы, выросший на освободительных идеях, уже на студенческой скамье приобретает опыт пропагандиста-подпольщика. Академик Д. Н. Овсяннико-Куликовский пишет о нем в «Воспоминаниях» (1923 г.): «Это был в полном смысле слова красавец. Умный, хорошо образованный, живой, бойкий, он производил чарующее впечатление. Он очень увлекался социалистическими идеями... как увлекалось ими большинство радикальной молодежи».

Учась в университете, Богдан поступил чернорабочим на фабрику, чтобы быть поближе к народу. В конце 1876 года он получил боевое крещение в демонстрации у Казанского собора. Пока Г. В. Плеханов, тогда еще совсем юный студент, произносил речь, Богдан Маркович «весьма энергично действовал боксом, сражаясь с городовыми». В статье Плеханова, посвященной этому событию, есть такие строки: «В особенности отличился тогда студент NN. Высокий и сильный, он поражал неприятелей, как могучий Аякс, сын Теламона, и там, где появлялась его плечистая фигура, защитникам порядка приходилось жутко. Как ни старалась схватить его полиция, он счастливо отбил все нападения и возвратился домой таким же-«легальным» человеком, каким пришел на площадь». По понятным причинам Плеханов не мог раскрыть имени студента NN. Но уже тогда Богдан Маркович был известен III отделению.

В доме Ниссена на Фонтанке часто появляются незнакомые люди с записками от Богдана и остаются ночевать в относительно безопасной квартире Марии Александровны. Она не раз замечала, как напротив дома

по набережной фланируют подозрительные личности, шушукаются с дворниками, упорно смотрят на ее окна в третьем этаже.

В беспокойной обстановке, в постоянной тревоге за сына, она пишет свои новые, еще недооцененные повести, завершающие петербургский период ее творчества. Образы молодых героев, стремящихся сблизиться с народом, становятся более зримыми и конкретными, обличения либералов, ханжей, отступников — еще более резкими и язвительными.

Выходят третий и четвертый тома собрания сочинений, содержащие «Живую душу», «Теплое гнездышко», «Записки причетника». В литературном сборнике «Складчина», составленном русскими писателями в пользу пострадавших от голода в Самарской губернии, печатается «Сельская идиллия». В том же 1874 году поступает в продажу сборник рассказов и повестей Марко Вовчка «Сказки и быль», в 1875 году «Отечественные записки» публикуют роман «В глуши».

Писательница находится в расцвете творческих сил, но ее проблемные произведения критика либо замалчивает, либо встречает в штыки. И не только охранительная критика, но и радикальные публицисты «Дела»!

История жизни учителя Луганова — перевоплощение прогрессивно мыслящего человека в заурядного обывателя, прилепившегося к «теплому гнездышку», — объявляется столь же нетипичной, как и неуклюжие попытки заурядного обывателя помещика Хрущова выдать себя за прогрессивного деятеля («В глуши»). Верность героев общественному призванию, твердость характера, смелые решения таких цельных и сильных натур, как Соня («Теплое гнездышко») или Маня («В глуши»), кажутся рецензентам надуманными, несвоевременными, банальными. Критики говорят об увядании таланта, о «симптомах деградации» известной писательницы, предрекают ей быстрое забвение. Одних отпугивает резкость красок, какими рисуются отрицательные персонажи, других не устраивает «мишурная филантропия» барышень, порывающих с дворянской средой.

П. Н. Ткачев, теперь политический эмигрант, присылает из-за границы злобную статью «Литературное попури» о романе «В глуши». Его устами передовой журнал «Дело» обвиняет Марко Вовчка в незнании жизни, советует ей не писать романов с «современной тенденцией».

А между тем такой требовательный читатель, как И. С. Тургенев, в разговоре с Салтыковым назвал этот роман хорошим, а Чернышевский отметил его эпическую широту и силу художественного воздействия.

Вот слова Чернышевского, изложенные Б. А. Марковичем в письме к матери от 12 мая 1887 года: «Прежде всего передаю тебе привет человека,

которому мы с тобой недостойны, пожалуй, развязать ремень у сапога. Он просил сказать, что глубоко тебя уважает, твой талант, который он считает громадным... твою «В глуши» он перечел раз пятьдесят в тех далеких краях, где провел так много лет. Он считает, что лучшего с тех пор никем ничего не написано».

Этот восторженный отзыв дополняется неожиданным сопоставлением: «Кстати, говоря о Короленко, он сказал: «Все-таки он очень еще молодой. Сравните, например, его рассказы с «В глуши». У Короленко вы видите жизнь уголка — уездного города, а там, «В глуши», — жизнь всей России».

До сих пор не получили объективной оценки аллегорические сказки Марко Вовчка «Совершенная Курица» и «Предприимчивый Шмель». Первая включена в сборник «Сказки и быль», вторая издана посмертно. Эти своеобразные вещи ближе всего по художественной манере к французской литературной сказке, переносящей критику социальной иерархии и общественных пороков в мир животных. В образе птиц и зверей угадываются обобщенные портреты людей всех рангов и всех сословий. Сказочные сатирические альманахи выпускал Этцель. Один из них — «Общественная и домашняя жизнь животных» — вышел с великолепными иллюстрациями Жана Гранвиля, которые воспроизводились в журнале Марко Вовчка. Сама она перевела «Историю белого дрозда» Альфреда де Мюссе и несколько сказок Масае и Сталя, заставивших цензора забить тревогу. В этой связи следует напомнить и о «Принце-Пуделе» Лабуле.

Такова литературная традиция, породившая сатирическую повесть «Совершенная курица». Барский дом уподобляется курятнику. И тут и там чиновничество, лизоблюдство, сплетни, оговоры. Болтливая курица Дорочка и угодливый пес Фингал рассматривают жизнь людей со своей куриной и собачьей точки зрения. Повествование ведется в двух планах. Параллели и аналогии усиливают художественный эффект. Приживалка Тобипгга — повторение Дорочки, «его превосходительство» — двуногая копия Фингала. Остроумные реплики, меткие наблюдения, тончайший психологизм — все это прошло незамеченным. И только Чернышевский с большой похвалой отозвался о «Совершенной курице» и с сожалением констатировал: «Да! Этой вещи не поняли».

С начала шестидесятых годов и до конца жизни Чернышевский пристально следил за творчеством Марко Вовчка и вопреки злостным измышлениям о «закате таланта» не уставал повторять, что считает ее одним из сильнейших русских прозаиков после Лермонтова и Гоголя.

Проще всего признать это «гиперболой». Легче всего объяснить

многократное чтение «В глуши» отсутствием у Чернышевского книг в сибирской ссылке. Но в том постоянстве, с каким он возвышал Марко Вовчка, видна прежде всего глубокая принципиальность. «Громадный талант» импонировал ему не сам по себе, а в соединении с воинствующей гражданственностью, без малейших уступок и колебаний в сторону либерализма. Чернышевского пленяло большое художественное мастерство в сочетании с последовательно-демократической направленностью, с публицистическим и атеистическим накалом.

Что же касается восторженной оценки романа «В глуши», то Чернышевский во многом прав. Исчерпывающее раскрытие характеров, острые психологические коллизии, насыщенная словесная живопись, идейная целеустремленность ставят это блестящее произведение в один ряд с классическими русскими романами.

15 августа 1875 года писательница сообщила М. Жученко: «Да еще новость: вероятно, вслед за **«В глуши»** будут печататься **«В столице»** того же автора». Приоткрывается интересный замысел, оставшийся, к сожалению, невыполненным. Можно догадаться, что Марко Вовчок собиралась проследить дальнейшую судьбу своей любимой героини Мани — показать ее жизнь в Петербурге — в кругах учащейся молодежи, деятельниц женского движения, в революционной среде.

Этот замысел возник в самом разгаре работы над романом «В глуши». Работа творческая перебивалась интерпретаторской — переводом «Таинственного острова» Жюль Верна, завершающего его знаменитую трилогию. Но, как всегда, времени было в обрез.

Этцель требовал оперативности. «Будете ли Вы достаточно проворны, Вы и Звонарев, если я срочно пришлю Вам текст?» — спрашивал он Марию Александровну, зная, что за «Таинственным островом» вскоре начнут охотиться русские издатели и переводчики. Разумеется, она ответила согласием, хотя перевод Жюль Верна пришлось отдать в другие руки: Звонарев, к большому ее огорчению, потерпел банкротство.

Из «Отечественных записок» присылали за новыми главами «В глуши», из типографии Траншеля — за «Таинственным островом», который печатался до выхода отдельным изданием в журнале Афанасьева-Чужбинского «Магазин иностранной литературы».

Как работала она в те дни, видно из ее писем к М. Жученко:

13 августа: «Таинственного острова» вчера держала корректуру 9-го листа, и сегодня, вероятно, принесут 10-й. Одно местечко о разных стенах я выпустила, опасаясь напутать, но всего строк шесть».

15 августа: «Вдруг полил такой частый дождь, что того берега

Фонтанки почти не видно, и мгновенно с дождем проглянуло солнце. У меня окно открыто, как на острове Линкольна, которого сегодня принесут, верно, 11-й лист, а может, и 12-й лист».

20 августа: «Еще из «Отеч[ественных записок]» не приходили, но я приготовила им на первый раз довольно и не боюсь прихода. Теперь вообще легче работается. Сегодня вышли «Отеч[ественные записки]» и 2-я часть» [романа «В глуши»].

Благоговейно преданный друг М. Жученко, находясь в это время в Нижнем Новгороде, представляет себе, как то и дело присылают к ней из типографий, и она, в белой кофточке, с распущенными длинными косами, просиживает до трех часов ночи за большим столом, заваленным грудой бумаг, — пишет третью часть «В глуши» и кончает переводить «Таинственный остров», обдумывая выражения, «чтобы попроще изложить обращения Сайруса Смита к капитану «Немо».

Зная, как она устает, работая с утра до ночи, наивный Миша Жученко дает ей разумные советы: «Не могут ли Богдан с Лизой [жена Б. А. Марковича] как-нибудь доперевести этот несносный «Таинственный остров»? Ты бы поправила перевод — все-таки это отняло бы у тебя меньше времени, чем переводить самой. За это время ты бы могла писать свое». Но Мария Александровна, наученная горьким опытом, никому уже не доверяет переводов, подписанных ее именем...

В декабре 1875 года Этцель опубликовал в парижской газете «Le Temps» украинскую повесть «Марусю», прославившую Марко Вовчка во Франции. По просьбе Этцеля она подготовила французский перевод, от которого он и отталкивался в своем вольном изложении, стараясь сохранить «поэтичность подлинника и чувство ансамбля». По мысли Этцеля, героиня повести — «украинская Жанна д'Арк», должна была учить патриотизму его юных соотечественников и служить вдохновляющим примером детям Эльзаса и Лотарингии, пограничных провинций, отторгнутых немцами после франко-прусской войны.

«Не скрою от Вас, — писал Этцель, — что я вполне удовлетворен своей работой. Я отдался ей всем сердцем и не думаю, что уничтожил сделанное Вами. Я считаю, напротив, что добавил мои качества к Вашим достоинствам, и если мне это удалось, то произведение будет иметь двух авторов».

Мария Александровна одобрила переделку, но от соавторства отказалась. Повесть была издана как произведение П. Ж. Сталя, написанное «по украинской легенде Марко Вовчок». Однако в предисловии он воздает ей должное как фактическому соавтору.

Тургенев, внимательно просмотрев рукопись «Маруси», заверил Этцеля, что он не допустил никаких исторических неточностей и погрешностей против украинского колорита: «В таком виде, как есть, она, несомненно, понравится вашим юным читателям, которые все воспринимают простодушно и которые, конечно, будут тронуты самоотверженностью прелестной маленькой казачки».

Вслед за газетной публикацией «Маруся» была напечатана в «Журнале воспитания и развлечения», а в 1878 году вышла отдельной книгой. Повесть немедленно обратила на себя внимание и была удостоена Монтионовской премии. Еще при жизни Этцеля она выдержала около двадцати изданий и была переведена на немецкий, итальянский и английский языки.

«Маруся» считается во Франции классическим произведением детской литературы. О патриотическом подвиге украинской девочки, пожертвовавшей жизнью в грозный час вражеского нашествия, можно прочесть в любом историческом обзоре французской детской литературы, где Марко Вовчок упоминается рядом с П. Ж. Сталем в числе самых популярных писателей. Ее юная героиня не состарилась. Сейчас, когда пишутся эти строки, в Париже вышло из печати сотое издание «Маруси».

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ МАРНО ВОВЧКА

Разорение Звонарева и его смерть в 1875 году заставляют писательницу обращаться к услугам случайных издателей-коммерсантов. Ее переводные работы теперь выпускают предприниматели вроде Мордуховского, Ямпольского, князя В. В. Оболенского, которые задерживают скудные гонорары и зачастую расплачиваются книгами. Количество переводов, подписанных именем Марко Вовчка, резко снижается. В дом писательницы снова приходит нужда.

Свои оригинальные произведения она помещаем в газетах. Но и тут ее подстерегают неудачи. Издатель «Молвы» А. Жемчужников обрывает на середине публикацию «Лета в деревне» под предлогом, что повесть растянута и скучна для газеты^{50}. В действительности же «Молва» прогорала. Вскоре прогорела и «Русская газета», успевшая напечатать из трех объявленных повестей Марко Вовчка только «Мечты и действительность».

Создается впечатление, что после 1875 года Марко Вовчок разошлась с «Отечественными записками». Почему — непонятно. Во всяком случае, не по идейным соображениям. Салтыков-Щедрин ждал от нее романа «В столице» и настойчиво призывал к сотрудничеству. Некрасов уже устранился от дел (он был смертельно болен), но это нисколько не отразилось на отношении к Марко Вовчке редакционного синклита. Главным редактором становится Салтыков, которому она всегда симпатизировала.

Вскоре после кончины Некрасова Мария Александровна встретила с Н. К. Михайловским: «Он был очень мил, говорил, что еще вчера обо мне говорили в редакции, как бы у меня выманить продолжение романа или хотя что другое».

Спустя несколько дней зашедший по ее поручению в редакцию за новой книгой «Отечественных записок» студент Буткевич подтвердил, что Салтыков **очень просит** новую работу и сетует, что она их совсем забыла. «Это было в прошлый понедельник. Сегодня он опять пойдет и скажет, что я пришлю работу, когда вся будет готова», — писала она М. Жученко 13 марта 1878 года, когда уже собиралась покинуть Петербург. Обещание было дано для отвода глаз.

До сих пор нельзя сказать со всей определенностью, что же побудило ее уйти из «Отечественных записок» и сотрудничать в газетах-эфемеридах.

Она порывает почти со всеми друзьями, уклоняется *от* общения с литераторами, избегает новых знакомств.

В 1875 году А. М. Скабичевский посвятил Марко Вовчку свой первый и единственный беллетристический опыт — роман «Было — отжило», не попавший в «Отечественные записки» из-за вмешательства цензора Лебедева. Казалось бы, отношения писательницы и популярного критика выдержали все испытания. И он и вся его семья связаны с Марией Александровной домами. Она часто бывала у Скабичевских на даче в Парголове и даже «пила с ним брудершафт»; его дочка месяцами жила у нее на Фонтанке. Но почему-то после неудачи с «Было — отжило» дружба переходит в ненависть. Мария Александровна избегает посещать редакцию «Отечественных записок», чтобы не столкнуться с «ослом Скабичевским». И он не остается в долгу. Обида засела так глубоко, что по прошествии многих лет он выставляет ее в своих мемуарах в самом неприглядном виде, не гнушаясь откровенного очернительства. Из-за чего произошла ссора, непонятно.

Обширный круг друзей и знакомых сужается до нескольких человек, главным образом из нейтрального окружения давнего парижского приятеля, критика и переводчика В. В. Чуйко. Изредка навещает ее московский дядюшка Николай Петрович Данилов, вольнопрактикующий врач и незадачливый журналист, от которого приходится прятать Мишу Жученко. Возобновляет с ней переписку Варвара Дмитриевна Писарева, доживающая свой век в нищете. Она хочет переводить с французского и обращается к племяннице за протекцией. Из прежних сотрудниц «Переводов лучших иностранных писателей» сохраняются приятельные отношения лишь с Верой Ераковой.

Этцель, зная о ее нелегкой жизни в Петербурге, настойчиво приглашает «дорогую Мари» перебраться навсегда во Францию с гарантированной постоянной работой в его издательстве. И хотя писательница не может принять этого предложения, она по-прежнему пользуется любой возможностью побывать в Париже.

Последнее посещение Франции и последняя встреча с Этцелем относятся к весне 1877 года. Словно чувствуя, что уже никогда сюда не вернется, она обошла все любимые места, навестила домик в Нейи, с которым было связано столько радостных и грустных воспоминаний. Там жили теперь незнакомые люди, резвились чужие дети. Постояв у ограды, она увидела в окне своей комнаты веселую молодую женщину. Хотелось плакать, но слез не было.

Сколько раз, оставаясь наедине со своими мыслями и в откровенных

разговорах со старым парижским другом, Мария Александровна мечтала сбросить с себя бремя забот и поселиться в каком-нибудь украинском селе, либо действительно принять предложение Этцеля. Но эту мысль она сразу же отбрасывала. Путь в Париж был для нее отрезан. Расстаться с Россией, покинуть Богдана — значило упасть в собственных глазах. Кроме того, она чувствовала себя ответственной за судьбу Миши Жученко.

Их четыре года, писал он из Нижнего Новгорода, были для него хорошим сном, высшим счастьем. Если бы не она, он бы никогда не научился работать, остался бы со своей саблей гардемарина, мичмана и т. д. и сделался бы «самым заурядным паразитом». Всем, чему он научился, он обязан только ей одной. Неужели же он никогда не дождетя, что она назовет его своим мужем? До каких пор ему придется таить свою любовь, выдавать себя за бедного родственника, говорить ей на людях «Вы, Мария Александровна», бояться пересудов и сплетен? В отличие от Богдана он не может жить идеей счастья всего человечества и не в состоянии ради этого отказаться от собственного счастья. Но он так любит ее, что это нельзя выразить словами, и клянется любить, пока не умрет.

«Видно, судьба моя была привязаться к «скверному» черному полтавцу-степовику и всем его предпочесть», — пишет она ему в августе 1875 года.

Михаил Демьянович Лобач-Жученко, человек довольно ограниченных способностей и неширокого кругозора, далекий от гражданских устремлений и литературных интересов, привлекает стареющую женщину своей безмерной преданностью и пылкой любовью. В самые трудные минуты он не отходит от нее ни на шаг, всячески облегчает ей жизненные тяготы, весь без остатка растворяется в ее личности. Эту странную связь скрепляет его дружба с Богданом, а еще больше — появление в семье маленького Бори (родился 6 июля 1875 года).

Богдан окончил университет со степенью кандидата математических наук, женился на Лизе Корнильевой, дочери орловской подруги Марии Александровны, нашел свою жизненную дорогу. Но женитьба не принесла ему счастья. И рождение «Богдана второго» не упрочило его союза с Лизой, несмотря на общность убеждений и совместное участие в подпольных социалистических кружках. Еще невестой Лиза привлекалась к дознанию по делу о революционной пропаганде в народе и только по счастливой случайности не попала на скамью подсудимых на «процессе 193-х».

Задумав после университета получить инженерное образование, Богдан добивается командирования в Москву в Высшее техническое училище. Он живет с семьей в студенческой «коммуне», терпя суровые

лишения. Михаил Демьянович, посланный Марией Александровной в Москву, застаёт его в ужасной обстановке, в холодной, сырой комнате. Лиза призналась, что им нередко приходится питаться кониной.

Отъезд Богдана из Петербурга был ускорен провалом «Общества друзей» — нелегального рабочего кружка, ставившего целью, как сказано в агентурной записке, «подготовление народа к революции посредством распространения книг преступного содержания и устной пропаганды, преимущественно среди фабричного и сельского населения». Организаторы «Общества» — Марк Натансон, Евтихий Карпов, братья А. и П. Петерсоны — были высланы в Сибирь, а рабочий Н. Лисин, которому Марко Вовчок будто бы «подарила около 100 экземпляров «Сказки о невольнице» для распространения между фабричными», угодил в тюрьму. И хотя в действительности книжки были переданы Богданом (разумеется, с ведома матери), III отделение не сомневалось в принадлежности М. А. Маркович к «Обществу друзей». Она была на волосок от гибели, но и на этот раз уцелела.

Богдан становится в Москве одним из признанных вожakov революционного студенчества и получает конспиративную кличку «Генерал-пропагандист». К лету 1878 года он переходит на нелегальное положение. Его включают в список лиц, разыскиваемых полицией. Богдану Марковичу надлежит отбывать трехгодичную ссылку в Архангельской губернии. Он замечает следы, переезжает с места на место.

Мария Александровна бьется из последних сил. Нужно помогать Богдану, обеспечивать Лизу переводными работами, воспитывать ребенка, вести дом, а главное — выколачивать гонорары. Материальное положение становится почти катастрофическим. Пятидесятирублевого жалованья Михаила Демьяновича, счетовода в правлении Волжско-Камского банка, хватает лишь на оплату квартиры. Ко всем прочим тревоблениям прибавляется назойливая слежка за домом, тревожное ожидание вызова в III отделение.

Нагромождение неудач и бед доводит Марию Александровну до отчаяния. Сломленная душевной усталостью, переутомленная многолетней напряженной работой, она решает во что бы то ни стало избавиться от литературной поденщины, от оскорбительных выпадов в печати, от вечных оговоров, пересудов, сплетен, клеветы, которые преследуют ее на каждом шагу. Уехать из Петербурга, покончить с долгами, закладами и перезакладами в ломбарде, с унижительным выклянчиванием заработанных денег! Покончить со всем этим раз и навсегда!

Решать и действовать надо самой. Богдан поглощен революционной

пропагандой и семейными неурядицами. Михаил Демьянович просто не сознает всей трагичности этого рокового для писательницы шага и готов уехать с ней хоть на край света, чтобы быть полноправным членом семьи. В Петербурге он ей не пара, а где-нибудь в глуши, где никто их не знает, никто не посмеет бросить в него камень...

Мария Александровна видит в нем якорь спасения, свою опору. Прекрасно понимая, что он может рассчитывать лишь на скромную карьеру провинциального чиновника, она обращается к своему старому знакомому Федору Матвеевичу Лазаревскому с просьбой принять Михаила Демьяновича под свое покровительство в контору Ставропольского удельного округа.

Итак, в Ставрополь, никого заранее не предупреждая и не давая никому, кроме двух-трех человек, окольных адресов, по которым ей будут пересылать корреспонденцию. Приготовления к отъезду держатся в строгой тайне. Марко Вовчок должна исчезнуть! Никто не будет знать, где она и что с ней. Пусть думают, что она за границей. Пусть думают что угодно! Она будет жить и работать в одиночестве, будет писать воспоминания, осуществлять свои давние замыслы, писать впрок, не спеша, без суеты и горячки...

Письма к Лазаревскому раскрывают ее душевное состояние.

«Если бы вы знали, как я рвусь из Петербурга и до чего мне опротивела петерб[ургская] суета...Только и думаю теперь, как бы поскорее бежать подальше куда-нибудь в степь, где бы не встречать ничего похожего на здешние лица, нравы, суету и ложь. Иначе мои «Воспоминания», о которых я вам говорила, что пишу, невольно выйдут желчны, да и вообще ничего я здесь доброго не сделаю».

«Я теперь только и думаю о том, что вызволюсь из Петербурга и отдохну от него и всех его скверн. Смотрите только не проговоритесь, кто я и что я, храните мое, как вы называете, инкогнито...пусть М[арко] В[овчок] исчезнет, как в воду канет, и пусть остается под водой до самой смерти — это лучшая мера дожить до нее спокойно и много работать...Поскорее бы от всех этих терний и духоты на простор, свободно вздохнуть. Эта жажда доходит у меня до ребячества — хоть одним днем ускорить бегство из Северной Пальмиры».

В каждом письме она напоминает Лазаревскому, чтобы он держал язык за зубами. Она знала или догадывалась, что фигурирует во многих делах «Собственной Его Императорского Величества Канцелярии», и отдавала себе отчет, как это может испортить службу Михаила Демьяновича в удельном ведомстве. Больше того, если в прежние годы он везде

упоминается как Миша Жученко (Жук, Жучок), то теперь и он сам и Мария Александровна подписываются только первой половиной фамилии — Лобач, — на которую она получила право 19 января 1878 года.

Вдова надворного советника А. В. Марковича становится законной женой отставного прапорщика М. Д. Лобач-Жученко.

В феврале его назначают делопроизводителем Ставропольской удельной конторы, он спешно выезжает на место службы, а Мария Александровна ликвидирует свои дела в Петербурге.

Нераспроданные книги — тома собрания сочинений, некоторые из переводных романов, часть тиража которых была получена вместо гонораров, ящики с клише иллюстраций она оставляет на квартире студента Петербургского университета Михаила Буткевича. Незадолго до этого он унаследовал отцовский дом на углу Надеждинской и Малой Итальянской, где она жила в 1871–1873 годах. Буткевичу поручены переговоры по незаконченным издательским делам и сдача книг на комиссию. Он и сослуживец Михаила Демьяновича Чмутов, доверенные лица Марии Александровны, постараются оградить ее «от терний, которыми так щедро награждает столь со стороны завидная известность».

Она распродает вещи. Часть мебели и библиотеку отправляет в Ставрополь, находит съемщика, чтобы передать квартиру на Сергиевской улице, арендованную до конца летнего сезона, наносит визиты, упоминая невзначай, что собирается в ближайшее время на несколько месяцев за границу.

В конце февраля, получив письмо от Ф. Ф. Павленкова, она безуспешно пытается помочь ему провести через цензуру обличительный сборник «Вятская незабудка», составленный им в ссылке из материалов, напечатанных в газетах и журналах.

В двадцатых числах марта она обращается к А. Ф. Кони с просьбой достать ей билет на процесс Веры Засулич: «Для меня очень важно слышать эти дела, а не читать только о них отчет».

А. Ф. Кони председательствовал на сенсационном процессе, который окончился неожиданным оправданием революционерки, покушавшейся на жизнь петербургского полицмейстера Трепова, повинного в издевательствах над политическими заключенными. Присутствие писательницы на суде как бы подводит итоговую черту ее участию в общественно-политической жизни столицы.

В лице А. Ф. Кони, которого она называла «ума палата», Марко Вовчок видела не только талантливого юриста, но и передового деятеля. И он, в свою очередь, высоко ценил писательницу. Сохранился его отзыв в письме

к Богдану от 4 октября 1905 года: «Для меня, сильного носителя идеалов шестидесятих годов, с ее именем связаны самые теплые воспоминания о благороднейшем чувстве, которое она пробудила своими произведениями».

В первых числах апреля 1878 года Мария Александровна с маленьким Борей покинула Петербург.

Какое впечатление произвело, неожиданное исчезновение писательницы, сообщил ей позднее М. Буткевич, посетивший на другой день Чуйко: «Известие о внезапности Вашего отъезда произвело полное замешательство в умах и действиях всей семьи. Меня окружили все от мала до велика, как бы желая отыскать во мне следы Вашего пребывания. Но увы и ах, я мог лишь с большой категоричностью констатировать Ваш отъезд. Вы поймете все трагикомическое положение этой несчастной семьи, когда узнаете, что Вас собирались снабдить целой литературой к Бореньке и еще какими-то игрушками».

Но она знала, что делает, проведя так обдуманно и хладнокровно свою тактическую операцию.

В октябре 1879 года имя Марко Вовчка случайно всплывает в агентурном донесении о вольнодумстве профессора Чебышева. И когда Александр II заинтересовался ее личностью, всеведущий шеф жандармов, доложив царю о неблагонамеренном направлении писательницы и ее причастности к «Обществу друзей», с сожалением мог лишь добавить: «Марко Вовчок в настоящее время находится за границей».

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

В ГЛУШИ

ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ

Первые месяцы в Ставрополе она продолжает еще по инерции работать, выполняя свои обязательства перед «Русской газетой» — переводит и отсылает главу за главой «Юного капитана» Жюля Верна и «Приключения, Гумфри Диота» Джеймса Гринвуда. Но публикация обоих романов внезапно обрывается из-за прекращения газеты на 163-м номере. Сохранившееся от этой поры (июнь 1878 года) письмо редактору полно горьких упреков по поводу безобразных искажений, исключаящих возможность перепечатки «Юного капитана»^{51}.

Семилетнее пребывание на Кавказе в дальнейшем вспоминалось как самый тяжелый период ее жизни вне литературы. Привычная многообразная деятельность и широкий круг интересов сужаются до крошечного мирка, ограниченного семьей и служебными делами мужа, аккуратного, исполнительного, но на первых порах неумелого чиновника, которому приходится во всем помогать, вплоть до составления отчетов и деловых бумаг. Частые переезды, неустроенность, бытовые тяготы, материальные лишения, неприятности у Михаила Демьяновича, болезни младшего и невзгоды старшего сына надолго выбивают Марию Александровну из колеи, не дают сосредоточиться и собраться с силами.

По мере того как тускнеет ореол ее славы, разрушается и семейная идиллия. Вместо ожидаемого «рая в шалаше» — серое будничное существование. Благоговейные чувства любящего мужа с годами превращаются в усвоенную манеру обхождения, за которой проступают — и он не может этого скрыть — сухость и безразличие. И чем старше она становилась, тем сильнее чувствовалась разница в возрасте. Немного понадобилось времени, чтобы понять, что «человек погибает только от того, что сделал глупость, собственно, добрую глупость, то есть по доброте души, например, осчастливил не себя, а другого». И как она корила себя, прослеживая мысленно свой путь на голгофу, вспоминая тот день, когда приняла роковое решение! «И вот... я делаю непростительную глупость, бегу из среды своей в новую, с дурацкими, хотя добрыми и самыми великодушными намерениями, и тут-то и пропадаю».

Не будем больше приводить выдержек из горестной предсмертной записки, адресованной «хоть кому-нибудь — кому-то далекому, даже неизвестному, если нет близкого и известного...» Уходя в небытие, она поведала о печальном, затянувшемся на три десятилетия, эпилоге своей

жизни.

Но при всех разочарованиях Марко Вовчок внутренне остается той же непримиримой шестидесятницей, ни на йоту не отступившей от своих убеждений. И это поможет ей впоследствии преодолеть душевную депрессию и заявить о себе новому поколению читателей — читателей Горького, Бунина, Куприна, Леонида Андреева и Александра Блока; снова заявить о себе в тот период, когда громко будут звучать голоса Ивана Франко, Леси Украинки, Коцюбинского, Стефаника, Кобылянской...

Вернемся, однако, к ее кавказскому житью. Где бы они ни селились, суровая, нелюдимая г-жа Лобач вызывает любопытство, смешанное с удивлением. Никого не принимая и не общаясь даже с местной знатью, она живет как затворница, чем немало вредит репутации своего молодого мужа, недоступного вне служебной сферы и не разделяющего пристрастий провинциальных чиновников к винту и ералашу, не говоря уж об азартных играх и горячительных напитках. Раздражает «общественное мнение» и обилие книг, газет и журналов (книги все больше иностранные!), приходящих на имя г-на или г-жи Лобач.

В своей духовной изоляции она продолжает следить за литературой, живо интересуется всем происходящим в мире. Чтение — единственная отрада в тягостном одиночестве, на которое она себя обрекла. Резко оборвав все связи со старыми знакомыми и друзьями, не исключая даже Этцеля, она получает лишь редкие письма от Богдана, вынужденного скрываться от полиции. Его отношения с Лизой «до крайности обострились», дома он почти не бывает, но не перестает «трудиться для общего блага» и со всеми конспиративными поручениями справляется «достаточно успешно»...

И только они устроились на новом месте, как поступает тревожное известие: Богдан, работавший в Рязанской губернии учеником кузнеца, заразился сыпным тифом и попал в одну из московских больниц. Мария Александровна выговаривает у Лазаревского негласный отпуск мужу, отправляется с ним в Москву и забирает полуживого Богдана на поправку в Ставрополь. Присутствие сына скрашивает на несколько месяцев ее тоскливую жизнь, но уже в феврале 1879 года, узнав, что жандармское управление заинтересовалось его личностью, Б. А. Маркович поспешно уезжает из Ставрополя. И опять томительная неизвестность, ожидание редких и скурых вестей...

Канцелярский генерал Федор Матвеевич Лазаревский оказался «ретивым начальником» — того же поля ягодой, что и его петербургский братец. На словах — либерал, друг Тараса Шевченко и почитатель Марко

Вовчка, на деле — желчный чиновник, формалист и педант, изводящий подчиненных мелочными придирками и нудными нотациями. При всем желании ему невозможно угодить. Единственная возможность избавить Михаила Демьяновича от его «опеки» — забраться куда-нибудь подальше в глушь. Узнав, что освободилось место управляющего удельными имениями Дагомыс и Абрау-Дюрсо, Мария Александровна убеждает Лазаревского перевести туда мужа, и в июне 1880 года, совершив «кругосветное путешествие» через Ростов, Таганрог, Керчь, Новороссийск, перебирается с Борей в заранее подготовленный дом в Абрау.

Этот живописный уголок представляется ей обетованной землей. Дивная природа предгорий Кавказа, благодатный климат, голубое озеро, на берегу которого расположена усадьба, поездки в Дюрсо на морские купанья, экскурсии в Сочи и Новый Афон — поначалу ничто не обманывает ее ожиданий. Наконец-то после всех волнений и передраг удалось прибиться к тихой пристани...

Михаил Демьянович половину времени проводит в разъездах — инспектирует конные заводы, отдаленные фермы и виноградники, исчезая иногда на несколько дней. Мария Александровна ведает в его отсутствие канцелярией, подготавливая хитроумные ответы на казуистические письма Лазаревского, стремящегося лишить управляющего малейшей свободы действий. Пока идет бумажная война, перевес на стороне писательницы, и Лазаревскому с ней трудно тягаться. Тем больше оснований ждать от него любого подвоха!

Почти весь досуг она отдает подрастающему мальчику. Благополучные первые месяцы в Абрау много лет спустя вспоминались в письме к Борису, тогда уже студенту Техн, логического института, мечтающему о морской службе:

«Теперь я стала немножко спокойнее, а тотчас после твоего отъезда было очень тяжело, а главное — очень тревожно. И знаешь, как смешно, — ты все вспоминался мне не такой, как теперь, — с усами и почти с бородой, а такой, как на Кавказе, маленький и слабенький. Представляется: ты лежишь и слушаешь чтение или спускаешь корабль с зеленой мухой. И знаешь, до чего я додумалась? До того, что я виновата в твоей страсти к морю. Может, ты и не помнишь, как в Абрау ты, больной, а потом здоровый, но еще сам не читавший, по целым часам слушал мое чтение о разных наутилусах, удивительных берегах, чудесных островах и проч., проч. Помнишь, как мы сеяли пшеничное зерно, занесенное, кажется, с Великого океана в расселину подземной пещеры? А помнишь Муху, погибшую в бурю на озере? Я сохранила о ней самое нежное

воспоминание, так же как и о корыте, которое мы с тобой стаскивали на воду. Как сейчас вижу весь берег, чувствую тот воздух, осязаю непокорное корыто, с которым можно было сладить, только залезши в воду».

(Интересны в этом письме ассоциации, навеянные «Таинственным островом» и «Восемьдесят тысяч верст под водой». Романы Жюль Верна в переводах Марко Вовчка действительно сыграли свою роль в выборе морской профессии ее младшим сыном и внуками. Культ моря становится семейной традицией. В библиотечных каталогах можно встретить немало книг по судовым двигателям и парусному спорту, принадлежащих Борису Михайловичу, Борису и Михаилу Лобач-Жученко.)

Быстро промелькнули безмятежные дни у голубого озера. Бесконечные ревизии, противоречивые приказы, сопротивление ставленников Лазаревского — все это создает в Абрау невозможную обстановку. Некому жаловаться, не у кого просить помощи. Боря месяцами болеет. Вызов врача и добывание лекарств, особенно в дождливый сезон, — почти невыполнимая задача. Летом 1881 года Мария Александровна перебирается на новое место, на этот раз в Новороссийск, куда Михаил Демьянович переводит контору, продолжая еще свое злополучное управление имениями в Дагомысе и Абрау-Дюрсо.

В разгоревшейся войне преимущества на стороне Лазаревского. Прожженный бюрократ старается запутать неугодного управляющего, чья щепетильная честность мешает спекулятивным сделкам с виноделами и арендаторами. Мария Александровна принимает контрмеры. Собрав неопровержимые факты, уличающие Лазаревского в злоупотреблениях, она заставляет мужа написать об этом в главное управление уделами, а сама скрепя сердце обращается к Н. Я. Макарову, своему давнишнему приятелю, ставшему директором Государственного банка. Каких это стоило усилий, видно из письма к Богдану: «Он был когда-то человек честный. А может, мне только это казалось, ведь куча куч таких моих честных откатились в иную совсем сторону! Кроме того, и меняются как люди!»

26 октября того же года она отправляется в Петербург, где проводит около двух недель, почти не выходя из гостиницы, чтобы избежать нежелательных встреч и расспросов. Макаров устраивает ей свидание с известным юристом П. Г. Редкиным, который знаком был с ней еще в Гейдельберге, и тот, в свою очередь, доводит ее дело до управляющего департаментом уделов Рихтера. Но не пришлось воспользоваться обещанием перевести Михаила Демьяновича на вакантную должность в Симбирск. Лазаревский, узнав о жалобе, сам поспешил подать в отставку, и на его место вскоре прибыл новый начальник, В. В. Коновалов, с которым

установились нормальные отношения.

Весной 1883 года Михаил Демьянович получает назначение в село Сергиевское, в сорока верстах от Ставрополя, где находилось одно из «государевых имений». И опять упаковка вещей, перевозка мебели, посуды, пианино, неуклюжей медной ванны, вызывающей повсеместное удивление, и домашней библиотеки, которую писательница любовно собирала на протяжении многих лет и хранила в парижских резных шкафах. При каждом переезде часть вещей приходится продавать или просто раздаривать, но со своим кабинетом, пианино и ванной Мария Александровна нигде и никогда не расстается. Этот островок цивилизации создает иллюзию независимости от скверны окружающего мира.

В брошюре «Марко Вовчок на Кавказе» Богдан Маркович подробно описывает библиотеку писательницы, характеризующую ее широкий кругозор и литературные вкусы. Здесь были представлены все основные русские классики — прозаики, поэты и критики. «Белинский, Добролюбов и Писарев красовались на почетном месте». «Количественно еще больше было английских книг, любимые ею Диккенс, Теккерея, Вальтер Скотт, Филдинг, Смолетт — полные собрания их сочинений, были, разумеется, Шекспир и некоторые поэты (больше всех она любила Шелли — задолго еще до того, как его открыли русские переводчики и критики); были Маколей, Гринвуд, Мегью и другие английские публицисты шестидесятых годов и главным образом множество современных тогда романистов и романисток». Французская часть библиотеки включала философов-энциклопедистов, классиков XVI–XVIII веков. (Много раз она перечитывала Монтеня, Ларошфуко, Паскаля, Рабле.) Из писателей XIX века отдавалось предпочтение Стендалю, Бальзаку, Жорж Санд, Мериме. «Впоследствии к этой коллекции присоединились Флобер, Гонкуры, Золя, Доде и др. Был весь Виктор Гюго, но вообще французских стихов она не любила, весь Мольер и, разумеется, Бомарше (театр)». Далее идет описание обширной коллекции этцелевских изданий, где центральное место занимали книги Жюль Верна, Массе и Сталя. «Из немецких книг выделялся небольшой, но для своего времени роскошный, экземпляр «Фауста», подаренный ей Тургеневым в 1859 году. В таком же зеленом переплете с золотым обрезом хранился у нее томик любимых песен Гейне (Шиллера, за некоторыми исключениями, она не особенно жаловала), были еще отдельные тома Шлоссера, Вебера, Шпильгагена, Ауэрбаха, Гуцкова, Мейснера, Гейзе, но вообще немецкая коллекция была беднее даже итальянской, заключавшей по крайней мере всех старых классиков и экземпляр Сильвио Пеллико, которым Марко Вовчок очень дорожила».

Затем — перечень польских писателей, из которых она особенно любила и часто цитировала наизусть Мицкевича. Польский отдел пополнялся преимущественно теми авторами, которые ближе всего были ей по духу и направлению (Ожешко, Прус, Свентоховский, Юноша, Т. Еж).

И еще один любопытный абзац: «Характеристика библиотеки Марко Вовчка и ее умственных вкусов осталась бы далеко не полною, если не упомянуть о ее полных библиях (на славянском и других языках) — Фоме Кемпийском, блаженном Августине и также о Конфуции, Коране и Талмуде — последние книги на французском языке. Кроме того, на французском языке была очень полная коллекция латинских и греческих классиков — чаще всего она заглядывала в Тацита, Горация, Лукреция и Аристофана. Были еще некоторые классики (Сервантес, Камюэнс, восточные книги, вроде Гюлистана и полного собрания «1001 ночи») тех стран, языком которых она владела».

Остатки этой замечательной в своем роде библиотеки, которую писательница собирала на протяжении многих лет, ныне хранятся в Нальчике, в мемориальном музее Марко Вовчка.

...Итак, село Сергиевское. Выжженные солончаковые степи. Пыль, зной, духота, убогие мазанки. Воду доставляют из далекого источника и продают, как молоко. Ни зелени, ни огородов. Овощи считаются лакомством. На пригорке ветхий домишко. В самой просторной комнате с трудом помещается большой письменный стол. Крыша протекает. В дождливые дни на стол ставятся ведра. Сырость пронизывает до костей. Михаил Демьянович разъезжает верхом по своему округу, стараясь навести порядок в запущенных удельных усадьбах, Мария Александровна часами беседует с крестьянками, помогает им советами, раздает лекарства.

Какими-то неведомыми путями в село Сергиевское прорывается письмо от Этцеля. Это было похоже на чудо. Употребив все свои связи, он в конце концов устанавливает ее местожительство с помощью бельгийского консула в Москве. Ему известны радикальные убеждения «дорогой Мари», ее энтузиазм и готовность к действию. Зная все это, он был уверен, что она замешана в какое-то политическое дело, и тысячи раз уже оплакивал ее. Какое счастье, что она благополучно перенесла и выстояла все горести последних лет! Что ему сказать о себе? Семьдесят лет не шутка. Здоровье все ухудшается, правая рука парализована (письмо продиктовано секретарю). Делами фирмы теперь заправляет Жюжюль — Жюль Этцель-младший. А он, старик, может с чистой совестью покончить счеты с жизнью: его усилиями создана огромная библиотека гуманных книг для юношества, которой так не хватало его стране.

Этцель настойчиво предлагает писательнице возобновить сотрудничество, просит поскорее откликнуться и сообщить, может ли он быть ей чем-нибудь полезен. «Да, Вы, конечно, знаете, — делится он печальной новостью, — что бедный Иван Тургенев умер 4 сентября [1883 года] и жестоко страдал на протяжении пятнадцати месяцев».

Не успела она собраться с мыслями для ответа, как грянула беда. В Сергиевском началась повальная эпидемия дифтерита. У хозяина дома умерли сразу двое детей. Спасая своего мальчика, Мария Александровна на первой попавшейся подводке бежит в Ставрополь, и следом за ней перебирается туда с вещами Михаил Демьянович, получивший разрешение управлять имением, живя в городе, но с теми же постоянными разъездами по округу. Теперь он может проводить с семьей лишь воскресные дни.

В ответном письме к Этцелю (осень 1883 года) Сергиевские впечатления переплетаются со ставропольскими. Она благодарит издателя за доброту и отзывчивость, вспоминает свои походы к нему из Нейи на Рю Жакоб через Булонский лес и мысленно прослеживает, шаг за шагом, весь этот длинный путь. По контрасту рисуется унылая обстановка, в которой она находилась все эти месяцы: дикие степи, куда забредают со своими стадами калмыки-кочевники, маленький сонный городок, где есть аптека, врач, почта, но ближайшая железнодорожная станция расположена в шестидесяти верстах. «Я живу совсем уединенно и единственно, чего я желаю, — оставаться незамеченной... Я чувствую, что в моей жизни образовалась пустота, которую ничто не может заполнить. Вы знаете, я всегда зарабатывала себе на жизнь своей работой, и нечего Вам говорить, что всякое другое существование, каково бы оно ни было, не может удовлетворить меня».

Этцель допытывается, какие причины заставили ее покинуть Петербург и прекратить переписку. Он настаивает, чтобы она снова взялась за перо и переводила для него свои произведения, а он, пока жив, будет их издавать, пусть даже в адаптированном, доступном для французских читателей виде, чтобы русские нравы, которые она так чудесно изображает, не казались им загадкой или ребусом. Но она должна торопиться. Силы его убывают с каждым днем. «Ах, дорогая Мари, если бы хоть эти последние годы не пропали даром, если бы Вы только помогли мне использовать их для Вас, — еще многое можно было бы сделать!» Этцель готов ее всячески поддерживать — он будет регулярно высылать ей небольшие суммы, он оплатит труд переписчика, любые расходы, лишь бы она работала!

К удивлению Этцеля, она снова замолкает на несколько месяцев, а потом указывает адрес какого-то Чмутова, служащего Волжско-Камского

банка, который будет переправлять ей парижскую корреспонденцию, так как по разным причинам она не должна привлекать к себе любопытства. Этцель в недоумении: «Разве в России не знают, что Вы выполнили на протяжении многих лет все переводы Жюль Верна и что мы, с другой стороны, использовали для нашей детской библиотеки многие Ваши работы? Неужели действительно невозможно осуществлять свободную переписку?» Тем не менее он посылает на адрес таинственного Чмутова каждые три-четыре месяца денежные переводы вместе с партиями новых книг и комплектами «Журнала воспитания и развлечения», на обложке которого среди постоянных сотрудников неизменно значится имя Марко Вовчка. Вряд ли Этцель подозревал, как выручали ее эти деньги в тревожных хлопотах и длительных разъездах и как они пригождались ей в трудные часы жизни.

Но пока что она берется за перо, переводит на французский язык первые главы «В глуши» и некоторые из своих ранних повестей. Этцель подтверждает получение переписанных набело 109 страниц, ободряет ее, потирает плечи, рисует заманчивые перспективы, не зная того, что работать она могла только урывками и вскоре должна была снова все забросить.

В Ставрополе, где они так славно устроились в арендованном на Ольгинской улице доме с огромным фруктовым садом и цветником, писательницу постигают новые несчастья: тяжелые астматические приступы, заставившие искать исцеления у ростовских и харьковских врачей, а затем арест и тюремные мытарства Богдана.

ПРОСВЕТЫ В ТУЧАХ

Богдан Афанасьевич в эти годы жил на Северном Кавказе, сначала в Майкопе, где по диплому жены Е. И. Корнильевой (Маркович) содержал частную школу, в которой они оба преподавали, потом — в Ростове-на-Дону. Здесь происходит его окончательный разрыв с Лизой, и она уезжает с четырьмя детьми к родителям в Калужскую губернию. После этого он снова уходит с головой в подпольную работу — в ростовской группе «Народной Воли». Относительно близкое расстояние позволяло ему раза два в году бывать у матери, что обычно совмещалось с выполнением конспиративных поручений.

В середине декабря 1884 года г-жа Лобач получает повестку из Ставропольского губернского жандармского управления с вызовом к начальнику. Там ей предъявляют для опознания фотографию «государственного преступника» Б. А. Марковича, заключенного в Ростовский тюремный замок, допрашивают, когда он последний раз посетил ее в Ставрополе, с кем встречался, кто у него бывал и т. п. На вопрос, что ожидает ее сына, жандармский полковник ответил: «Каторга, а может быть, и хуже».

Снова спешные сборы. Еще не оправившись от болезни, она выезжает на лошадях до станции Невинномысской, а оттуда поездом в Ростов, чтобы попытаться облегчить участь Богдана.

В Ростове удалось выяснить, как обстояло дело. (Уточняющие подробности известны из архивных источников.) В октябре 1883 года полиция нашла след Богдана Марковича в Нахичевани, где он в содружестве с единомышленниками открыл завод по производству крахмала, доход с которого шел в кассу «Народной Воли». За Богданом учредили тайное наблюдение. 15 ноября на его ростовской квартире остановился на ночлег народоволец И. А. Манучаров, бежавший из харьковской тюрьмы. Рано утром нагрянула полиция. Манучаров, выхватив револьвер, прорвался через цепь городских, но вскоре был задержан и приговорен к двадцатилетнему заключению в Шлиссельбургской крепости. Богдана же посадили в ростовскую тюрьму, обвинив в вооруженном сопротивлении, укрывательстве государственного преступника и принадлежности к революционному сообществу.

Мария Александровна добивается свиданий с сыном, расположив в свою пользу тюремного смотрителя. «Разговаривая с ним, — писала она

мужу, — я в душе посмеялась, вспоминая слова Тургенева, что я имею дар делать с людьми, что пожелаю, — частичка этого дара уж не сохранилась ли теперь еще?» Обескураженная отказом ростовского прокурора передать ей арестованного на поруки, она едет в Харьков к окружному прокурору Закревскому, волнуясь, как он ее примет: Закревский был среди тех, кто подписал в 1872 году протокол по поводу перевода сказок Андерсена. Дождаться пришлось больше недели, но опасения, к счастью, не подтвердились. Вернувшийся из Петербурга Закревский принял ее очень любезно, заявил, что обвинение в вооруженном сопротивлении отпало и ничего серьезного сыну не угрожает, но отдать его на поруки все же не решился.

Дни ожидания прошли в тревожных раздумьях, в тщетных попытках заполнить время работой: «Все ходила по номеру, обдумывала рассказ и, кажется, напишу его...Сегодня плохо спала и чувствую, что овладевает уныние...Прошу тебя, не сердись на меня. Ты в последнее время очень сурово принимал мои все вины. Мое горе в том, что я больна и хотя часто переламаываю себя, но не всегда это удается...Сегодня видела во сне, что ты меня за что-то ужасно бранил, и, когда проснулась, была рада, что это сон» (из писем к мужу. Январь 1885 г.).

Михаил Демьянович незаметно для себя огрубел и очерствел. Жизнь в разъездах, ночевки в степи в буран и пургу, целые дни под дождем или при палящем зное выбили из него былую нежность и чуткость. «Что я могу сделать, если на мою долю выпала такая прекрасная служба собачья, в которой нет ни отдыха, ни покоя. Надо терпеть: хуже быть не может, а лучше? Кто его знает», — угрюмо отвечал он на упреки.

Но вот представился случай хоть как-то улучшить положение. Начальник Михаила Демьяновича В. В. Коновалов, назначенный управляющим Киевской удельной конторы, выполнил свое обещание о переводе его в Киевскую губернию. Радостная новость стала известна еще в январе, но переезд на новое местожительство — в Киев, а оттуда в Богуслав, где Михаил Демьянович должен был принять дела 3-го Богуславского округа, — состоялся лишь в июле 1885 года. Исполнилась заветная мечта писательницы снова пожить на Украине!

Новые свидания с сыном в Ростовском тюремном замке незадолго до отъезда в Киев приносят слабое утешение. Более существенной поддержки, кроме моральной и материальной, она не в силах ему оказать. Правда, Богдан держится молодцом, штудирует в камере медицинские книги и даже пишет стихи. Два стихотворения «Из Шелли», подписанные псевдонимом Ростовский (рукопись была зашифрована в виде математических формул),

Мария Александровна публикует в ставропольской газете «Северный Кавказ».

Этцель, узнав о ее несчастье, шлет Богдану в тюрьму ободряющие письма и сообщает о нем русским политическим эмигрантам, которые направляют послание неизвестным друзьям, томящимся в Ростовском тюремном замке: «Дорогие товарищи на далекой родине!.. Несмотря на то, что мы друг друга никогда не видали, пусть эти строки еще скрепят наше товарищество... Будем же работать и впредь вместе для общего дела, зная, что на берегах Дона и на берегах Сены наши сердца, молодые и старые, бьются любовью к тому же русскому народу, бьются ненавистью к тем же врагам, бьются одинаково решимостью идти к нашей общей цели...»

Наконец в сентябре 1885 года было принято решение по делу Богдана Марковича: «Подчинить его гласному надзору полиции на два года в одном из наиболее отдаленных от железной дороги уездов Екатеринославской губернии».хлопоты Марии Александровны о разрешении ее сыну отбывать ссылку в Богуславе не увенчались успехом. По предписанию губернатора Б. Маркович выехал 16 октября с проходным свидетельством из Ростова в Новомосковск и был определен на жительство в село Вольное, в 20 верстах от уездного города. Тем временем в Петербурге открываются новые факты его революционной деятельности. 5 ноября по распоряжению департамента полиции Богдана вновь арестовывают и заключают в Новомосковский тюремный замок в общую камеру с уголовниками.

Этого нового удара Мария Александровна уже не в силах перенести. Превозмогая приступы удушья и нестерпимые подагрические боли, приговоренная к смерти киевскими эскулапами, обнаружившими у нее, по видимому, злокачественную опухоль, в январе 1886 года она отправляется в Екатеринослав к губернатору Батюшкову, который лишает ее всякой надежды, и оттуда — в Новомосковск, с мыслью навсегда проститься с горячо любимым сыном.

Она получает свидание с ним, застает его в — ужасном состоянии и в отвратительнейших условиях. Сраженная горем, разбитая, беспомощная, она кое-как добирается до Киева и больше месяца проводит в постели, найдя приют в дружеской семье одного из сослуживцев мужа. Врачи подтверждают зловещий диагноз, но она решительно отказывается от операции.

Самая тяжелая пора ее жизни запечатлена в воспоминаниях Михаила Демьяновича, изложенных Богданом: «Марией Александровной овладело подавленное, мрачное настроение, которое грозило перейти в неизлечимую ипохондрию. Она старалась ни с кем не говорить, [никого] не видеть; она

целые недели, целые месяцы не выходила из дома, а при общении с людьми находилась в возбужденно-нервном настроении».

Она продолжает еще бесполезные хлопоты — пишет во все столичные инстанции, обращается за содействием к старому знакомому А. Ф. Кони. С безразличием относясь ко всему окружающему, она остро реагирует лишь на официальные отписки по делу Богдана. Из тупого равнодушия выводит ее на короткое время траурное сообщение из Парижа о кончине 18 марта 1886 года Пьера Жюля Этцеля, оборвавшее в ее многострадальной жизни последние связующие нити с прошлым. Новый толчок — серьезная болезнь младшего сына, которого она энергично выхаживает, забывая о собственных недугах. И, наконец, разоблачение опытными хирургами мифа о злокачественной опухоли возвращает ей жизненные импульсы, несмотря на прежние невыносимые боли и повторяющиеся астматические приступы.

Живя на окраине Богуслава, а затем (с июля 1886 года) в близлежащем селе Хохитва, в доме с фруктовым садом на берегу реки Рось, она проникается прелестью этих мест, воспетых Нечуем-Левицким. И сколько раз потом она вспоминала бегущую по камням извилистую Рось, ее тихие заводи, зеленый остров напротив дома, крутые берега, поросшие чабрецом...

И снова, как в былые годы, встречи и долгие беседы с селянками, посещение свадеб и крестин, часто в роли кумы: и опять, как некогда, сшитые собственными руками тетрадки заполняются украинскими пословицами, народными речениями, колоритными именами, прозвищами, названиями хуторов и сел, схваченными на лету диалогами, набросками задуманных сюжетов.

В пожилой исстрадавшейся женщине помимо ее воли пробуждается прежняя Марко Вовчок.

«Много знакомств, — пишет Б. Маркович со слов мужа писательницы, — завелось в самой округе Богуслава. Были поляки (средние и довольно крупные удельные арендаторы), с которыми она любила беседовать на их языке и обменивалась польскими книгами: были и евреи из бедняков — в Богуславе основное еврейское население жило в ужаснейшей нищете, — но больше всего установилось связей с крестьянами-малороссами. Переписку с ними не прерывала Мария Александровна всю жизнь. Среди них оказалось немало штунди-стов, которые очень ее заинтересовали. Она оказывала им деятельную поддержку, писала для них прошения и жалобы на притеснения со стороны полиции и миссионеров... Для тех же друзей-крестьян она разузнавала условия переселения и облегчала его возможность».

В эти годы она выписывает специальную литературу по переселенческому вопросу, интересуется жизнью и бытом украинских переселенцев в Фергане и на Дальнем Востоке, проблемами колонизации окраинных земель, взаимоотношениями национальных меньшинств с коренным населением, трагедией «черты оседлости». Соприкосновение в богуславские годы с новой общественной средой отражается в ее позднем творчестве — в незаконченной повести из жизни переселенцев «Чужина», в грустном рассказе «Хитрый Хаимка», в многочисленных фольклорных записях и сюжетных набросках.

Между тем в январе 1887 года Александр III утверждает решение департамента полиции освободить Б. А. Марковича из-под стражи и выслать в Астраханскую губернию на три года под надзор полиции. Выпускают же его из тюрьмы только в конце февраля. Мария Александровна мчится к нему в Новомосковск и хлопочет о позволении отправить сына в Астрахань не по этапу, а по проходному свидетельству — с конвоиром.

В Новомосковске она почувствовала себя еще хуже. Добравшись до дому, написала Богдану: «Плохо мне, голубчик, и лучше не предвидятся. Похоже очень на начало конца». И тут же сообщила, что заняла для него 50 рублей у одного знакомого, который «всего года 4 возвратился из самых наиотдаленных мест, где пробыл больше 10 лет». (Это был польский революционер А. Калиновский, участник восстания 1863 года.)

10 мая Богдан был доставлен в Астрахань и сдан под расписку местному жандармскому полковнику, который после совещания с губернатором направил его в пустынный Красный Яр — поселок на солончаковом острове в дельте Волги, где еще не так давно изнывал от нищеты и скуки орловский приятель Марко Вовчка Павел Якушкин. Воспользовавшись случаем пожить два-три дня в губернском городе, Богдан тотчас же разыскал Чернышевского, переведенного «монаршей милостью» из Вилюйска на жительство под надзор полиции в Астрахань. В университетские годы Богдан был дружен с его сыном Александром и хорошо звал жену Чернышевского Ольгу Сократовну.

Николай Гаврилович принял нежданного гостя с распростертыми объятиями и несколько часов говорил о Марко Вовчке, ее творчестве, исключительном таланте, настойчиво расспрашивал о причинах ее ухода из литературы. Несколько встреч Богдана с Чернышевским и оживленная переписка с ним на протяжении двух с лишним лет, до самой его смерти в октябре 1889 года, благотворно повлияли на Марию Александровну. Чернышевский, которого она никогда не видела и лично не знала, как и в

былые годы, становится для нее добрым гением.

Наутро после знаменательной встречи Богдан подробно излагает в письме к матери уже известные нам отзывы о творчестве Марко Вовчка и вещие слова Чернышевского: «Ее еще не оценили — разве это редко бывает? Разве громкая известность — порука внутренней полезности или прекрасности сочинений? Придет время — нас с ней, может быть, и не будет тогда в живых, — когда ее вспомнят». Богдан передает требование Чернышевского напомнить Марии Александровне о ее высоком призвании: «Вы говорите, что опа очень больна? А пусть все-таки попробует и больная».

«Голубушка моя, попробуй, пересиль себя, — упрасивает ее Богдан, — не обращай внимания на кружковые литературные сплетни!.. Хорошая моя, будь добра, принимайся за работу! Твой ум не утратил свою остроту, твоя душа по-прежнему светла и чутка. Ты **можешь** хорошо писать, я в этом глубоко убежден. Сколько уж раз я это говорил! А теперь такая поддержка, как мнение Николая Гавриловича».

Растревоженная Мария Александровна долго отмалчивается и, наконец, 10 сентября просит Богдана передать Чернышевскому благодарность за доброе участие и сообщить следующее: «Что касается до работы где-либо, то впечатления последних лет были таковы, что пропала всякая охота иметь дело с заправилами и явилось желание бежать от них и от своих товарищей по работе. Столько тяжелого пришлось пережить, столько гадкого увидеть, что самая мысль опять войти в эту среду неприятна. Опять услышать эти подлые голоса и представить себе, хотя бы издали, все подлые улыбки, противно, — трудно выразить, до чего противно».

Но лед тронулся. В том же письме она робко спрашивает, не пожелает ли Николай Гаврилович представить работу одного начинающего писателя в «Русскую мысль». Борясь с собой, она выдает свои новые рассказы за опыты начинающих сочинителей — «Д-ра Приймы» и некоего «Дмитриева», устраивая Богдану настоящие головоломки, когда он шуточно предлагает присвоить этим неведомым авторам псевдоним Марко Вовчок. И эта мистификация, якобы не снимавшая зарок с ее погребенного имени, продолжалась более трех лет!

Откликаясь на просьбу Чернышевского, она достает из-под спуда и отправляет в Астрахань уцелевшие письма Добролюбова, которые он хочет включить в книгу биографических материалов о своем покойном друге вместе с ее воспоминаниями. «Если вы пожелаете привести что из моих воспоминаний в печати, — предупреждает она Чернышевского, — то,

прошу вас, не выставляйте моего имени. Читателю все равно, чьи воспоминания, если вы их приводите, а мне одна мысль видеть опять это имя, правильнее, кличку в печати невыразимо тягостна».

В книгу Чернышевского «Материалы для биографии Н. А. Добролюбова» (1889) входит лишь небольшой отрывок из письма Марко Вовчка, где говорится о незабываемых встречах в Неаполе, и пять писем к ней Добролюбова. Имя писательницы прикрито инициалами Б. Н. И. Обещанные воспоминания, по-видимому, так и не были посланы.

В этот же период Чернышевский облегчает существование Богдана переводными работами и хлопочет об издании Полного собрания сочинений Марко Вовчка, неоднократно обращаясь по этому вопросу к Барышеву, управляющему фирмой К. Т. Солдатенкова. Он обещает даже в отступление от своей программы написать сопроводительную статью в виде критического обзора «движения людей в беллетристике» 1860—70-х годов, чтобы на общем фоне уяснилось истинное значение и роль Марко Вовчка в истории русской литературы. К сожалению, замысел не удалось осуществить: проектируемое издание оттягивалось из-за отъезда Солдатенкова за границу, а потом, когда дело сдвинулось с мертвой точки, Николая Гавриловича не стало...

1887 год — год возобновления заочного знакомства с Чернышевским — знаменует собой начало нового этапа в биографии Марко Вовчка.

Она возвращается к литературной деятельности!

ТРЕВОЖНАЯ СТАРОСТЬ

Годы пребывания в Богуславе и Хохитве и частые поездки в Киев снова сближают писательницу с украинской народной жизнью и культурной средой. При всем старании сохранить «инкогнито» ее адрес узнают не только киевские литераторы, но и Франко, живущий в закордонном Львове. «Выдать» ее мог старый друг по Киеву, ярый коллекционер и поклонник Шевченко Ф. Дейкун, с семьей которого восстановились дружеские отношения.

Возникает и переписка с издателями. Недовольная тем, что ее убежище известно даже Горбунову-Посадову, руководителю основанного Толстым московского издательства «Посредник», она просит его обращаться к своему «уполномоченному», г-ну Лобачу в местечке Богуслав Киевской губернии, так как уезжает «надолго за границу». Однако писательница охотно предоставляет «Посреднику» право на безвозмездное издание для народа четырех рассказов — «Павло Чернокрыл», «Два сына», «Горпина» и «Одарка». Выпущенные отдельными книжками, они получают широкое распространение. Немного позже Комитет грамотности издает и рекомендует для народного и детского чтения, «как верные картины недавнего прошлого», «Козачку», «Горпину» и «Одарку». О Марко Вовчке снова заговорили в печати. Ее имя выходит из забвения.

Теперь она может заниматься своими делами, разбирать старые рукописи, обдумывать новые рассказы. Самочувствие улучшилось, болезненный Боря вырос и окреп и не требует неусыпного надзора. Наученная жизнью, она воспитывает своего младшего по тщательно продуманной системе. Он готовится в реальное училище, изучая, кроме того, столярное и переплетное ремесло, земледелие и садоводство. «Можешь себе представить, — пишет она Богдану в конце 1888 года, — что Боря уже свободно читает французские книги. Это меня очень радует. И я, значит, могу еще что-нибудь сделать».

Кончатся мытарства Богдана. Он добивается перевода в более обжитой поселок Черный Яр, куда приехала его вторая жена Е. П. Голубовская (с ней он прожил до конца дней), затем — в Астрахань, где успешно сотрудничает в «Астраханском справочном листке». Зарабатывает, правда, гроши, но зато приобретает журналистские навыки. В январе 1890 года истечет срок его ссылки, и он сможет осесть в Киеве. «Потерпи, дружок, — утешает его мать, — и в наше оконце заглянет солнце!»

Но вышло иначе. В далеком Челябинске у политического ссыльного Попова находят при обыске письма Б. А. Марковича «предосудительного содержания». Министерство внутренних дел запрещает ему проживать во всех университетских городах. И тогда Богдан перебирается с женой в Саратов, где находит работу в газете «Саратовский дневник».

А тем временем над головой Михаила Демьяновича сгущаются тучи. После выхода в отставку расположенного к нему Коновалова он служит несколько лет под началом отвратительнейшей личности по фамилии Струков, по сравнению с которым Лазаревский мог бы показаться ангелом. «М[иша] особенно ему не по сердцу, как бывший в хороших отношениях с Коноваловым...Его обвиняют и в социализме, и в воровстве, и в общении с опасными людьми, и дерзости благонамеренным людям», — пишет Мария Александровна Богдану. Во избежание серьезных неприятностей приходится покинуть Хохитву и снова расстаться с Украиной.

В конце 1893 года Михаила Демьяновича переводят по его просьбе в Саратовский удельный округ, где он получает хорошо оплачиваемую должность. Он уже не начинающий, а опытный, знающий свое дело чиновник, ценимый за трудолюбие и скрупулезную честность. Получив ссуду и призяв денег, они покупают на тихой Угоднической улице одноэтажный каменный дом с крошечным садиком и устраиваются с доступным для провинции комфортом.

Впервые за много лет вся семья в сборе. Богдан становится фактическим редактором газеты и приобретает известность как автор злободневных, бойких фельетонов. «Саратовский дневник» благодаря сотрудничеству Б. А. Марковича носит народническое направление», — сообщает губернская жандармерия в департамент полиции. «Саратовский дневник» не раз получает предупреждения. После одного особенно дерзкого фельетона газету приостанавливают на 4 месяца. Но Богдан не унывает. В журналистике он нашел свое призвание. Доволен жизнью и Михаил Демьянович. Служба удачная, и жаловаться ему не на что. Боря из Винницкого реального училища переводится в Саратовское, вскоре заканчивает его и первым вылетает из гнезда, поступив в 1894 году в Петербургский технологический институт. И только Мария Александровна не находит себе места в этом городе.

«Ты спрашиваешь, — отвечает она Боре, — привыкла ли я к Саратову, т. е. примирилась ли я, что ли? Как тут мириться или не мириться, когда необходимо в нем жить. И вот живу. Ничего в нем нет привлекательного. Природа какая-то тощая, то и дело пыль. Конечно, я бы отдала его за одну веточку растущего над Росью чабреца. Впрочем, мне бы и в самом Киеве с

его садами не было приволья, потому я только люблю деревню, — всю жизнь любила ее с самого детства и уже теперь верно не разлюблю».

Новый общественный подъем создает благоприятную ситуацию для распространения прогрессивных изданий. Все чаще и чаще в цензурный комитет обращаются различные издатели за разрешением выпустить в свет те или другие рассказы и повести Марко Вовчка. Богдан не оставляет внушенной Чернышевским мысли о Полном собрании сочинений. Владелец книжного магазина и типографии «Саратовского дневника» Н. Н. Штерцер соглашается на это предприятие.

Мария Александровна собирает свои опубликованные произведения, вычитывает, подправляет, восстанавливает где может цензурные пропуски, обсуждает с Богданом распределение материала по томам, загодя подготавливает заключительный восьмой том, куда войдут некоторые из не напечатанных прежде вещей.

А в это время на нее обрушивается новое несчастье. Михаил Демьянович становится жертвой чиновничьей интриги. Затаившие злобу недруги из сослуживцев по Киеву и Богуславу стряпают мерзкий донос, подписанный арендатором Кубышкиным, в котором бывшего смотрителя 3-го удельного округа обвиняют в злоупотреблениях восьми-и десятилетней давности с таким расчетом, что докопаться до истины за давностью лет будет невозможно, но если даже Лобачу и удастся доказать свою невиновность, то репутация его все равно будет подмочена.

Пока суд да дело, Михаила Демьяновича отчисляют до окончания следствия «в резерв» без сохранения содержания. Поседевший за несколько дней, он мечется между Петербургом, Саратовом, Киевом и Богуславом, собирая свидетельские показания и восстанавливая в памяти забытые факты, чтобы смыть с себя позорные обвинения.

В октябре 1896 года она едет в Киев и Богуслав помогать мужу собирать реабилитирующие материалы, снова поселяется в Хохитве, оттуда переезжает в Стеблев, разыскивает свидетелей (всего было опрошено 129 человек), составляет и переписывает от руки подробное показание Михаила Демьяновича судебному следователю, отпечатанное Богданом в типографии «Саратовского дневника» в виде отдельной книги в 115 страниц. И только в июне 1897 года, обессиленная, она возвращается в Саратов.

Следствие продолжается около двух лет. Судебное заключение полностью опровергает все обвинения и квалифицирует донос как клевету. Но чего им обоим это стоило! К Марии Александровне возвращаются все ее прежние болезни, она быстро стареет, но именно в это время,

подстегиваемая материальной необходимостью, много и успешно работает.

Она договаривается в Киеве об издании своих украинских рассказов, продолжает наблюдать за саратовским собранием сочинений, готовя к выпуску очередные тома, печатает в «Саратовском дневнике» и «Русских ведомостях» многочисленные переводы с польского — рассказы любимых ею Болеслава Пруса и Клеменса Юноши; перерабатывает и публикует в журнале «Русская мысль» свой последний роман «Лето в деревне», собирается писать воспоминания.

Запретив Михаилу Демьяновичу продолжать службу в опостылевшем удельном ведомстве и заставив его подать в отставку, в ноябре 1898 года она отправляется в Москву, ведет переговоры с В. А. Гольцевым (результатом и явилась публикация романа) и с издателем М. В. Клюкиным, вскоре выпустившим ее перевод «Подлинной истории маленького оборвыша» Гринвуда и повесть «Скользкий путь». Скромные доходы с саратовского собрания сочинений и всех перечисленных изданий на протяжении двух с лишним лет составляют основу семейного бюджета.

В связи с 25-летием смерти А. В. Марковича в «Киевской старине» печатаются воспоминания и статьи памяти выдающегося этнографа. Всеядное «Новое время» подхватывает клеветнические измышления некоторых «мемуаристов», утверждающих, будто украинские «Народные рассказы» были написаны Марко Вовчком в сотрудничестве с Афанасием Васильевичем и автором нужно считать их обоих.

Возмущенный Богдан требует, чтобы она написала опровержение. Но сейчас, после всего пережитого, ей не до литературных инсинуаций. История сама разберется. Историю не обманешь! Куда больше волнует писательницу преждевременный брак младшего сына с окончившей саратовскую женскую гимназию Лизой Вальковой, сиротой, выросшей у старшей сестры, владелицы модной мастерской. Мария Александровна не хочет примириться с тем, что жена Бориса из семьи, где эксплуатируют труд молодых девушек, и пишет ему в 1896 году резкое письмо с изложением своего кредо: «Я прожила весь свой век, идя по одной дороге и не свертывая в сторону. У меня могли быть ошибки, слабости, безобразия, как у большинства людей, но в главном я никогда не осквернила себя отступничеством. И вот теперь, когда мне уже не очень осталось долго коптить небо, ты язвишь меня за то, что я отказалась от сближения со средой, которая всю жизнь мне была противна и которую я, где и как могла, клеймила».

Впрочем, письмо остается неотправленным, и в дальнейшем Мария Александровна никогда об этом не напоминает. Да и незачем! Борис

счастлив со своей женой. Зачисленный после окончания Технологического института инженер-механиком флота, он получает назначение на Дальний Восток и в конце 1899 года отплывает с Лизой и двумя детьми из Одессы в Нагасаки. Когда они теперь увидятся?

В том же году Михаил Демьянович после долгих раздумий принимает предложение ставропольского губернатора, генерала Н. Е. Никифораки занять должность земского начальника в административном центре Александровского уезда, селе Александровском. Никифораки — старый знакомый по Новороссийску, оставивший по себе хорошую память. Но как решиться принять такую должность? «Для Марии Александровны, — пишет Б. А. Маркович в брошюре «Марко Вовчок на Кавказе», — земский начальник по всему, что приходилось читать о них, да и слышать, представлял собою олицетворение произвола административной власти в деревне». Но были и другие, правда очень редкие, примеры, когда земские начальники даже и на этой службе оставались честными людьми и приносили реальную пользу. «Михаил Демьянович был даже красноречив, рисуя перспективы такого тесного общения с крестьянством, какого при прежних его службах у него не могло быть... И он уговорил Марию Александровну».

Найдя покупателя на саратовский дом и сделав распоряжения по выходящим томам собрания сочинений, весной 1899 года она перебирается к мужу в село Александровское. Пять томов уже вышли из печати, шестой и седьмой поступают на книжные полки вскоре после ее отъезда из Саратова, а заключительный восьмой том задержан цензурой.

Восьмой том так и не был напечатан. Тем не менее это последнее прижизненное собрание сочинений, снова выдвинувшее Марко Вовчка в первый ряд действующих литераторов, — полнее всего, даже при наличии цензурных купюр, выражает авторскую волю.

ПОСЛЕДНИЙ ВЗЛЕТ

В Александровское, как и в Саратов, за Михаилом Демьяновичем потянулись мелкие служащие из Богуславской удельной конторы. Приехал работать и Степан Ращенко, которого писательница помнила в Хохитве еще мальчиком, подарив ему там целую связку книг. При первой встрече ему бросилось в глаза, как сильно она изменилась за десять-двенадцать лет, превратившись из моложавой женщины в малоподвижную, грузную старуху.

В своих воспоминаниях, опубликованных в альманахе «Кабарда» (1955), Ращенко так рассказывает об александровском окружении Марко Вовчка: «Единственный человек из александровских интеллигентов бывал у них в доме — это заведующий двухклассной сельской школы, учитель Калинин... Частыми гостями Марии Александровны были местные крестьянки, с которыми она вела продолжительные беседы... Другими довольно частыми гостями были дети... Приходили они группками по 3–5 человек. С ними она находила общий язык, что-то им рассказывала, читала сказки, и она порою заразительно смеялась».

Интересные бытовые подробности содержатся в воспоминаниях А. Е. Колывановой, записанных в 1959 году завучем Александровской средней школы Г. Н. Поздняковым. Взятая в семью «земского» приходящей горничной, Нюра Колыванова провела возле Марии Александровны свыше четырех лет.

«Большая любительница природы, хозяйка моя много времени отдавала уходу за садом и цветами. За всю свою долгую жизнь я никогда не видела такого разнообразия цветов, какое было в саду, во дворе и в палисаднике этого дома. Вообще хозяйка была мастерицей на все руки: прекрасно вышивала, вязала кружева, штопала и ни минуты не сидела без дела». Когда она работала в своей комнате, к ней никто не имел права входить, кроме Пинча, большой породистой собаки, которую она привезла из Саратова. Жила она очень замкнуто и нигде не бывала — даже в церкви. Когда по большим праздникам приходил отставной генерал Шалашин, она оставляла его с Михаилом Демьяновичем, а сама, запершись у себя в комнате, сердито говорила вполголоса — «прихвостень», и это повторялось при каждом его визите».

«На праздник крещения, в день водосвятия на «Иордани», Мария Александровна надевала свою плюшевую на меху ротонду, садилась в сани,

брала с собой фотоаппарат, и кучер вез ее к речке, где происходило водосвятие. По указанию Марии Александровны я расставляла на пригорке треножник, и она фотографировала священников и собравшуюся толпу с иконами и хоругвями, а потом сразу возвращалась. Зачем она это делала, не знаю».

Войдя в доверие к «старой барыне», Нюра не раз помогала ей связываться с «волчками». Так называли в Ставрополе административно высланных социал-демократов, которые должны были переходить из села в село с ночевками в арестных домах и нигде не задерживаться более трех-четырёх дней. Зная от мужа о прибытии «волчка», Мария Александровна заранее готовила ему ванну, смену белья, угощала обедом и подолгу разговаривала с ним с глазу на глаз у себя в комнате. Такие посещения устраивались систематически, и каждый раз приходили все новые люди.

«Марию Александровну, — читаем мы в тех же записках, — до глубины души возмущала всякая несправедливость. У нас в селе особенно тяжело жилось переселенцам, пришлым людям, которых называли иногородними. Земельного надела они не получали, а занимались разными ремеслами, пасли скот или батрачили у богатеев. И эти бедняки, отдавая в школу детей, должны были вносить плату за обучение, тогда как дети старожилов учились бесплатно. Я слышала однажды за обедом, как она возмущенно говорила Михаилу Демьяновичу: «Что же это такое! Почему дети бедняков, пастухов должны платить за обучение? Когда же будет справедливость? Или никогда ее не будет?»

В Александровском здоровье писательницы стало еще больше сдавать. К прежним недугам прибавилась болезнь глаз, одно время заставившая ее диктовать свои письма мужу. В дальнейшем она писала и правила рукописи только карандашом. Ломаный угловатый почерк выдает напряжение: и карандаш трудно было удерживать в скованных подагрой пальцах... Тем не менее она еще довольно бодра, работает в полную меру и плодотворней, чем в прошлые годы.

Семейные тревоги улеглись. Внешне все обстояло благополучно. Богдану разрешили жить в Петербурге, и он продолжал сотрудничать в газетах. Заработки его были настолько хороши, что он позволял себе даже поездки за границу. (От революционной деятельности Б. А. Маркович окончательно отошел: народничество изжило себя, а до марксизма он не поднялся, хотя и спорил в свое время с Чернышевским о Марксе.) Борис жил с семьей в Порт-Артуре и усиленно зазывал к себе в гости, соблазняя дальневосточной экзотикой. У Михаила Демьяновича установились хорошие, деловые отношения с либеральным губернатором Никифораки, и

многочисленные доносы попов и черносотенцев за «нетерпимые поблажки» сектантам, устройство библиотеки и чтений для народа, душою которых была Мария Александровна, не отражались на его службе.

Ничто ей не мешало теперь жить своей внутренней жизнью. Пожалуй, никогда прежде ее так не захватывали политические события, и никогда она так остро не реагировала на безобразия, творящиеся в России. В период общественного подъема — на рубеже двух веков и в первые годы нового столетия — она чувствует необыкновенный прилив творческих сил. Бодрит и вдохновляет ее успех у читателей, внимание к ней печати, интерес к ее сочинениям издателей. Никогда прежде книги Марко Вовчка так часто не переиздавались и не расходились такими большими тиражами. Своим бытием и активной деятельностью в годы подготовки первой русской революции старая писательница как бы олицетворяет живую связь времен — соединяет прошлое с настоящим, лучшие традиции шестидесятников с социалистическими устремлениями передовых людей XX века. Знаменательный факт: в это время впервые получают распространение, печатаются и быстро распродаются портреты Марко Вовчка, тогда как прежнее поколение читателей не видело ее фотографий.

Но в Александровском и во всей Ставропольской губернии, кроме учителя Калинина и двух-трех приверженцев, никому невдомек, что суровая г-жа Лобач не просто «старая барыня», жена «земского», а знаменитая писательница, чье имя известно в России чуть ли не каждому грамотному человеку. Она по-прежнему принимает меры предосторожности для сохранения инкогнито. Однако все чаще и чаще ей приходится идти на уступки — отвечать на деловые письма, вести переговоры с издательствами и поневоле прибегать к псевдониму, который она называла «кличкой» и хотела предать забвению.

Ее избирают почетным членом «Общества любителей российской словесности», «Общества пособия учащимся», «Киевского общества грамотности».

«Терпеть не могу фигурировать в обществах, членах, ревнителях и т. п. Это мне нож острый. Отдаю всю справедливость полезности Обществ, а вот фигурировать там в виде визитной карточки претит», — писала она Богдану.

В Киеве выходит двухтомник ее украинских произведений; во Львове, о чем она узнает совершенно случайно, появляется в четвертый раз трехтомное собрание сочинений; в Киеве, Москве и Петербурге печатаются отдельными брошюрами и небольшими сборниками ее рассказы и повести. Саратовское собрание сочинений вызывает многочисленные отклики в

России и за рубежом. Марко Вовчка по-прежнему переводят во всех славянских странах; издают ее и на Западе — во Франции, Дании, Германии. Одновременно публикуются новые вещи: уже упоминавшийся роман «Отдых в деревне»; рассказ в письмах «Похождения домашнего учителя» (в шестом томе саратовского собрания сочинений); реалистическая повесть о несчастной доле украинского мальчика-сироты — «Воришка» (в журнале «Детское чтение»); сатирический набросок «Праздничный сон» (в московском сборнике «На помощь учащимся женщинам»).

Летом 1902 года Марко Вовчок самолично является в редакцию «Киевской старины» с рукописью украинской юмористической сказки «Чертова пригода», посвященной Т. Г. Шевченко. Ради этой давно уже задуманной поездки Михаил Демьянович взял двухмесячный отпуск. И вот в том самом журнале, где еще недавно авторы воспоминаний об А. В. Марковиче дезавуировали ее как украинскую писательницу, печатается один из шедевров украинской классической прозы.

Как можно после этого сомневаться в самостоятельности авторства Марко Вовчка — отказывать такому богатому и большому таланту в самостоятельном месте в украинской литературе?! Кто еще из украинских прозаиков владеет таким блестящим и богатым языком?! Кому удалось разгадать секрет несравненной мелодичности прозы Марко Вовчка?! — восклицал Иван Франко в статьях, написанных после публикации этой сказки.

Так писательница ответила клеветникам. Ответила не газетным опровержением, а действенным доказательством своего неувядаемого таланта и несравненного мастерства. В авторском переводе, вернее изложении, представляющем вариант того же произведения на русском языке, эта вещь была напечатана под названием «Чертова напасть» в журнале «Народное благо».

За два месяца, проведенных в Киеве, Марко Вовчок восстановила связи с украинскими издателями и литераторами, встречалась со старыми друзьями — крестьянами и польскими арендаторами из Богуслава и Хохитвы, которые навещали ее в гостинице Михайловского монастыря, передала в «Киевскую газету» колоритный рассказ «Хитрый Хаимка», навеянный богуславскими впечатлениями. Эта последняя поездка в Киев — одно из важнейших событий завершающего периода жизни и творчества писательницы.

В ее поздних письмах упоминается несколько законченных рассказов: «Темная сумма», «Очная ставка», «Медвежья охота», «Он любил птичек»,

«Заглохший парк», «Встреча». Но только последний увидел свет в журнале «Русская мысль», а судьба остальных неизвестна.

«Встреча» основана на действительно случившемся факте и снабжена подзаголовком «Из старой записной книжки». После подавления восстания 1863 года автор встречает на узловой станции двух мальчиков, которых насильно отправляют в сопровождении вахмистра для воспитания «в патриотическом духе» в столичный кадетский корпус. Обманув бдительность вахмистра, писательница узнает их варшавский адрес, чтобы сообщить матери об этой грустной встрече.

Интерес ее к Польше и польской культуре не ослабевает до конца дней. И в Александровском она продолжает переводить Болеслава Пруса и Свентоховского, переписывается с поляками, собирает биографические материалы для мемуарного очерка об Эдварде Желиговском.

Один из почитателей Марко Вовчка, талантливый критик В. Н. Доманицкий, включает ее произведения в антологию украинской классической прозы за сто лет — «Вік», приглашает участвовать в литературном сборнике Киевского комитета грамотности. В этом молодом ученом, крупнейшем знатоке Шевченко и друге Ивана Франко, Марко Вовчок находит самого горячего приверженца. Он не только всячески популяризирует ее творчество, но и становится после кончины писательницы первым исследователем и биографом Марко Вовчка, бескомпромиссным защитником от всех, кто пытался принизить и опорочить ее имя. Перу Доманицкого принадлежат первые научно обоснованные статьи об авторе «Народних оповідань»^{52}.

Василь Доманицкий вместе с Богданом Марковичем осенью 1907 года разбирает в Петербурге архив Марии Александровны, привезенный ее мужем из Нальчика, готовит большую научную биографию о Марко Вовчке. И эту самоотверженную благородную работу проводит человек на последней стадии туберкулеза, скрывающийся от царской полиции сначала в Петербурге, а потом за границей, в Закопане, куда он увозит нужные ему для работы автографы и часть переписки.

За несколько месяцев до своей смерти, весной 1910 года, Доманицкий по пути на юг Франции заехал в Краков и оставил Богдану Лепкому, украинскому поэту и литературоведу, находившиеся в его распоряжении рукописи Марко Вовчка. Многие из них, но далеко не все, впоследствии поступили в Киев — в Институт литературы имени Т. Г. Шевченко Украинской академии наук.

Значительная часть архива после смерти в 1915 году Богдана Марковича была передана его вдовой, Евгенией Петровной, в Пушкинский

дом, где составили «Фонд М. А. Маркович». Позже, в 1928 году, внук писательницы Сергей Богданович пополнил этот фонд многими документами первостепенной важности.

Все, что не попало в государственные архивы, оказалось в трех руках: у Сергея Марковича, Михаила Демьяновича и младшего сына. Их всех посещал в двадцатых-тридцатых годах исследователь и биограф Марко Вовчка А. К. Дорошкевич, отобравший для своей работы наиболее интересные автографы. Не будем говорить, как это случилось, но все материалы перешли в частную собственность наследников А. К. Дорошкевича, распоряжающихся ими по своему усмотрению и не допускающих к ним исследователей. Бывает и такое!

Этот необходимый экскурс не помешает нам вернуться к событиям, поглотившим все внимание писательницы. Русско-японская война и катастрофа на Дальнем Востоке, всероссийская забастовка, вооруженные восстания, баррикадные бои 1905 года не оставляют ее в роли безучастной наблюдательницы исторических событий, от которых зависят судьбы родины и народа. Она выписывает несколько газет и журналов, организует в Александровском специальную подписку на сообщения телеграфного агентства, значительно опережающие почту. Ее письма к сыновьям заполняются нетерпеливыми вопросами, на которые она требует немедленных и по возможности исчерпывающих ответов.

Вопросы касаются общественной, политической и литературной жизни. Со своей стороны, Мария Александровна дает ядовитые памфлетные характеристики царских сатрапов и продажных борзописцев, искажающих в своих корреспонденциях всем очевидные факты, сообщает о настроениях в деревне, передает разговоры крестьян, далеко не лестные для генералов и министров, возмущается легкомысленным поведением нового ставропольского губернатора, проводящего большую часть времени на охоте, беззастенчивостью сельских попов, занимающихся откровенным вымогательством, бесцеремонностью почты, где, не стесняясь, перлюстрируют письма.

Мария Александровна выражает недовольство поведением Богдана — гневно выговаривает ему за сотрудничество в беспринципных «Биржевых ведомостях». «Как ты лавируешь между всеми этими Пропперами и Раммами? Выучился? Должно быть, трудненько». «Слыхала я — слухом земля полнится, но не верила, что ты деньги загребаешь лопатой. Письмо твое (последнее) несколько в том удостоверяет. Загребай, но... думай о душе».

Оторванная от литературной среды, она может только с помощью

Богдана поддерживать отношения с редакциями, не выдавая инкогнито. А Богдан занят своими делами, поручения матери отходят для него на второй план. Но ей хочется еще о многом сказать, поведать миру о том, что она видит, чувствует, знает. «Не пристроить ли заметки приятеля о мнениях, опасениях и чувствах народа в одной глуши — приятель, разумеется, пишет, что есть на деле, не давая своего личного мнения, — нечто вроде фотографического снимка. Замечательны опасения народа, как бы не начались взятки, бывшие в турецкую войну, и измор солдат мукой с червями».

Предложение остается без отклика. В обстановке шовинистического угара такая заметка пришлась бы не к стати, по крайней мере в тех газетах, в которых сотрудничает Богдан.

Но она не успокаивается. Ведь напечатал же он несколько лет назад в «Саратовском дневнике» ее неподписанный фельетон «Удельные нравы» — о безобразиях, которые позволяют себе чиновники удельного ведомства. А сколько мерзостей она видит в Александровском! Почему бы не поместить в солидных «Санкт-Петербургских ведомостях» корреспонденцию о возмутительных выходках александровских попов, о том, как они без зазрения совести обируют легковерных прихожан? Острая, убийственно обличительная заметка написана и послана Богдану, но и она остается неопубликованной.

Революционные события побуждают ее переиздать «Историю одного крестьянина» Эркмана-Шатриана. Этот старый перевод, если бы его удалось еще освободить от цензурных искажений, пришелся бы сейчас очень кстати. Нужно действовать, хлопотать, а заниматься этим некому... Легальное издание в России журнала «Былое» и «Воспоминаний» с приложением факсимиле герценовского «Колокола» особенно волнует ее, возвращая память к шестидесятым годам.

Она разыскивает среди своих бумаг письма Герцена и посылает их Богдану для опубликования в «Былом». И тут же сообщает известные ей факты о семейной драме Герцена и его отношениях с Огаревой. «Любопытны русские люди! Так любопытны, что я, разбираясь в старье, пожелала сделать всему этому запись, не откладывая. После моей смерти пусть идет в науку будущим поколениям, как говаривал мой учитель Силич, когда записывал женин рецепт, как наилучше мариновать сливы».

В переписке с сыновьями все чаще и чаще упоминаются «Воспоминания», которые она хочет оставить «в науку будущим поколениям». Приступила ли она к своим мемуарам или только собиралась — неизвестно. Многие произведения Марко Вовчка, о которых речь идет в

переписке, до сих пор не разысканы. И далеко не все из того, что публиковалось под другими псевдонимами, выявлено и прочитано.

После смерти Никифораки оставаться Михаилу Демьяновичу в должности земского начальника уже не имело смысла. Общественная деятельность, которой Мария Александровна незаметно для окружающих занималась в Александровском, вызывает сопротивление и новые доносы на мужа. Они живут «в среде вечных сплетен, подсиживаний, скандалов» и не чают, как бы выбраться поскорее «из александровской ямы». Михаила Демьяновича, «невзирая на его неболтливость, имеют в подозрении, все от сановника до мелких секретарей толкут на него давно чеснок, чтобы съесть со вкусом (имеются доносы политические и просто в виде рапортов), — попы в этом принимают усердное участие, и если бы не крестьяне, которые ему верят, то давно бы он полетел».

Остаток дней своих писательница хочет провести на Украине. Год-другой, и Михаил Демьянович, выслужив свой «ценз», выйдет на пенсию. Ведутся переговоры о приобретении дома и участка в Богуславе, а пока что нужно удвоить осторожность. «Свое имя, — пишет она Богдану в августе 1905 года, — не хотела бы давать, потому что это обратит александр[овское] внимание, т. е. властей, на меня и помешает моему общению с теми, кто мне нужен... Мне выгодно, когда думают, что «остепенилась» и «ничего такого» мне уже не надо, — является больше возможности проводить в жизнь, что хочу».

В ноябре 1905 года Михаил Демьянович вышел в отставку. К тому времени решил и вопрос о переезде. Находясь на лечении в Пятигорске, Мария Александровна много наслышалась о чудесной природе и целительном климате Нальчика, расположенного у подножья лесистых гор. А когда она случайно узнала, что там постоянно живет ее старая подруга Ю. П. Ешевская, и съездила навестить ее (от Пятигорска это совсем недалеко), убедилась, что лучшего места не найти. Нальчик приглянулся и Михаилу Демьяновичу.

ПРОЩАНИЕ В НАЛЬЧИКЕ

В конце марта 1906 года Мария Александровна с мужем, провожаемые толпою крестьян, покидают Александровское и перебираются в Нальчик. Ненадолго остановившись в слободе у Юлии Петровны, они поселяются в маленьком домике ее дочери Анны Степановны в трех верстах от Нальчика — в Долинске, чтобы отсюда Михаилу Демьяновичу удобнее было наблюдать за постройкой дома на участке, приобретенном в летний приезд в 1905 году.

Была ранняя теплая весна. Мария Александровна сразу же заложила цветник и, как всегда, увлеклась своим садом.

На исходе мая они переехали на свой участок и поселились в сарае, где был выгорожен уголок для жилья. Уютный дом, с тремя просторными комнатами, верандой и прихожей, последнее прибежище Марко Вовчка, отстроен был ближе к осени. Вскоре ее рабочий кабинет с книжными шкафами, пианино и большим письменным столом принял свой обычный вид. В надворной пристройке Михаил Демьянович оборудовал стойло для ослика Ами^[24], которого запрягал в двуколку и ежедневно гонял на почту.

Не успела писательница обжиться на новом месте, как последовало обычное распоряжение: «Еще вот что, и это очень для меня важно: если будут печатать письма Герцена, пусть, если им угодно, печатают, что получены от Марка Вовчка, но не называют фамилии, под которою теперь живу в Терской глуши, где не знают, что г-жа Л[обач] и М[арко] В[овчок] одно и то же лицо, а если узнают, то мне придется отказаться от многого, чем занимаюсь, ибо местные интеллигенты вкупе с полицией, которая] тут очень сильна, могут мне наделать много неприятностей. Запомни».

И в этом же письме, помеченном ноябрем 1906 года, она просит Богдана прислать ей слова и музыку «Вы жертвою пали в борьбе роковой» и «Русской марсельезы» — революционной песни П. Л. Лаврова «Отречемся от старого мира».

Вдоль участка с молодым садом шла дорога из аулов, расположенных в верхнем течении Нальчика и Белой речки. В базарные дни чуть займетса солнце — в слободу и к полудню — в обратном направлении тянулись скрипучие арбы; кабардинцы и балкарцы на конях, пешком, а то и на осликах, останавливались у нового дома, предлагали хозяевам всякую снедь. Мария Александровна интересуется их жизнью, обычаями, заводит знакомства, советуется со сведущими — людьми о посадках плодовых

деревьев и цветов, помогает лекарствами. Немного ей понадобилось времени, чтобы сделать свой вывод: «Кабардинцы — очень добрый, по великодушью похожий на сказочный народ».

В деловых письмах она продолжает безуспешные хлопоты по поводу перепечатки перевода «Истории одного крестьянина» Эркмана-Шатриана и предлагает к изданию любые из своих оригинальных произведений и переводов — «в пользу голодающих, без различия, будь то дети городских убитых, близкие заключенных или деревенские люди».

Революционный подъем в России сменяется временем черной реакции. Закрываются прогрессивные газеты и журналы. «Воспоминания» с «Колоколом», несколько номеров которых поступили к писательнице в Нальчик, запрещены. Недолго просуществовала и газета «Радикал», в которую ушел Богдан из бульварной «Биржевки». Мария Александровна продолжает жадно следить за всеми политическими новостями, много читает, правит свои незаконченные украинские произведения, снова берется за «Гайдамаков» — повесть о народно-освободительном движении XVII века, задуманную еще в молодые годы.

Спад революционной волны, разгул шовинизма, смертные приговоры военно-полевых судов, гонения на свободную мысль действуют на нее угнетающе, поселяют неверие в торжество справедливости. «Все доброе, чистое тонет в этом кипящем омуте подлости», — мрачно изрекает она в письме к Богдану, продолжая укорять своего «мальчика» («мальчику» шел 54-й год) за «уклонения» от правильного пути. Всю жизнь ему мешала «необузданность, или, если это точнее, впечатлительность минутой». Хорошо, что он покинул эту отвратительную «Биржевку». Значит, он еще не окончательно перешел «в ту веру, за которую сало дают»¹⁵³¹. А как невнимателен ее старший сын к Борису! Уволенный из флота за участие в политической демонстрации в городе Або, он подыскивает гражданскую службу и мечется по Петербургу в поисках заработка.

«Передай Боре деньги и открытку, — пишет она Богдану в марте 1906 года. — Тебе бы не грех приютить его, избавить от необходимости нанимать комнату и бегать обедать к черту на кулички. Неужели ты этого не можешь или не смеешь. Когда-то ты, сам живя впроголодь, совершенно чужих людей любил приютить. Другие птицы, другие песни! Ты, как Юпитер, прочитав это, рассердишься, только напрасно: во-первых, ведь так оно и есть, а во-вторых, говоря это, мне так горько, что довольно я наказана за высказываемое».

Борис, тот из другого теста. Он с самого начала нашел свой путь и никогда с него не свернет. За своего младшего она спокойна. Пусть Богдан

передаст ему, что «не стоит огорчаться тем, что он считает большой неудачей, и перед ним еще целая жизнь. И жизнь эта может быть очень хорошая и плодотворная. Целая жизнь. Это много. У меня вот не целая жизнь, а только месяцы и дни жизни, самое большее несколько лет, а не унываю».

Но оставались не годы, даже не месяцы, а скупое отсчитанные дни....

В конце декабря Мария Александровна заболела, и в новом 1907-м году состояние ее резко ухудшилось. Правильно писала она, что Нальчик «курорт... в будущем», а когда понадобилась помощь, в слободе оказался единственный врач, осетин Канунов, еще не вполне окончивший медицинский курс.

Сыновья настойчиво приглашают ее в Петербург, где к ее услугам будут лучшие доктора, но ей не выдержать утомительного переезда. Канунова вскоре сменяет немногим более опытный доктор Кондрашов, прописывающий лошадиные дозы сильнодействующих лекарств.

На два месяца наступило некоторое улучшение. Она часами проводит в саду на качалке, под старой грушей, продолжая по мере сил работать над «Гайдамаками». Иногда Михаил Демьянович слышит, как она тихонько напевает свои любимые украинские песни.

— Если уж не суждено мне лежать рядом с Шевченко, то похорони меня под этой грушей, — сказала она однажды мужу. И он, когда пришло время, выполнил ее волю, несмотря на то, что местные власти не дали на это официального разрешения.

В мае в Нальчике появился новый и уже постоянный окружной врач П. П. Сорочинский, отменивший все лекарства, прописанные его предшественником. Эта мера оказалась эффективной, больной стало лучше, но ненадолго.

28 июля (10 августа по новому стилю), в три часа пополудни Марко Вовчок скончалась, не дожив четырех месяцев до 74 лет. И с той минуты начинается ее посмертная судьба, уже неподвластная законам Времени.

1961–1968

Ленинград

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА МАРКО ВОВЧКА

1833, 10 декабря Рождение Марии Александровны Вилинской в усадьбе Екатерининское Елецкого уезда Орловской губернии.

1845–1846 Обучение в Харьковском женском пансионе.

1847–1850 Жизнь в Орле у тетки Е. П. Мардовиной на правах бедной родственницы.

1851, январь Бракосочетание с Афанасием Васильевичем Марковичем и отъезд с мужем на Украину.

1851, декабрь — 1853, февраль Чернигов. Увлечение украинским фольклором и этнографией.

1853, 27 октября Рождение сына Богдана Афанасьевича Марковича.

1853–1855 Киев Усиленные занятия фольклором.

1855, конец августа Переезд на жительство в Немиров.

1856 Начало творческой деятельности. Возникновение псевдонима Марко Вовчок.

1857, 7 августа Цензурное разрешение на выпуск книги украинских рассказов в типографии П. Кулиша.

1859, 23 января Прибытие в Петербург. Первая встреча с Т. Г. Шевченко.

Конец 1859 января — апрель Участие в литературных вечерах, дружба с Шевченко, Н. И. Костомаровым, Кулишом; знакомство с И. С. Тургеневым, который готовит к печати сборник украинских рассказов Марко Вовчка в переводе на русский язык.

29 апреля Выезд с сыном в сопровождении Тургенева из Петербурга в Дрезден.

Май Выход в свет сборника «Украинских народных рассказов» на русском языке.

Июль — август Пребывание в Швальбахе, Ахене, Остенде.

24–27 августа Поездка в Лондон к А. И. Герцену.

8 ноября Цензурное разрешение на выпуск книги «Рассказы из народного русского быта».

1860, январь Публикация в «Отечественных записках» повести «Институтка» в переводе И. С. Тургенева, с авторским посвящением Т. Г.

Шевченко.

14–21 марта Переезд в Невшатель (Швейцария) и оттуда в Лозанну.

Начало сентября Переселение с сыном в Париж.

1861, январь Публикация в журнале «Основа» украинской повести «Три доли» (в дальнейшем активное сотрудничество в «Основе»).

Февраль Знакомство и беседы с Л. Н. Толстым.

Март — начало июля Пребывание в Италии (Рим, Неаполь, Флоренция, Милан) и возвращение в Париж.

Май Встречи с Н. А. Добролюбовым в Неаполе.

27 августа Цензурное разрешение на выпуск книги «Новые повести и рассказы» Марко Вовчка.

5 октября Выход в свет «Современника» с началом повести «Жили да были три сестры».

1862, 20 мая Цензурное разрешение второго тома «Народні оповідання», изданного П. А. Лобко.

1863, конец ноября — начало января 1864 Поездка в Петербург для устройства литературных дел. Встречи с В. А. Слепцовым, А. Бенни.

1864, 31 января Выход в свет книги «Сказки Марка Вовчка». Лето Работа с композитором Э. Мертке над аранжировкой сборника «200 украинских песен». Начало сотрудничества у парижского издателя П.-Ж. Этцеля.

1865, осень Выход в свет третьего украинского сборника «Оповідання», где впервые опубликована сказка «Кармелюк».

1866, сентябрь Смерть А. В. Пассека в Ницце и проводы его тела в Москву.

1867, февраль. Возвращение на постоянное жительство в Петербург.

Март Соглашение с петербургским чиновником И. И. Папиным об издании собрания сочинений в трех томах (первый том вышел в том же году).

Конец июня Некрасов приглашает Д. И. Писарева и Марко Вовчка сотрудничать в «Отечественных записках».

1 сентября Смерть А. В. Марковича в Чернигове.

1868, январь Начало публикации романа «Живая душа» в «Отечественных записках».

21 июня Отъезд с Д. И. Писаревым и Богданом в Ригу.

4 июля Трагическая гибель Писарева во время купанья в Рижском заливе.

26 июля Возвращение в Петербург с телом Писарева.

7 августа Стихотворение Некрасова «Не рыдай так безумно над

ним...».

Ноябрь Начало публикации в «Отечественных записках» серии неподписанных очерков «Мрачные картины».

1869, октябрь Начало публикации в «Отечественных записках» романа «Записки причетника».

1870, апрель Встречи в Париже с П. Л. Лавровым.

Лето Выход в свет первого тома сочинений в издании С. Звонарева (четвертый и последний том вышел в 1874 году).

1871, январь Первый номер иллюстрированного журнала «Переводы лучших иностранных писателей» под редакцией Марко Вовчка (издание прекратилось в мае 1872 г.).

Апрель Пребывание в Твери у Е. А. Сысоевой (в дальнейшем частые поездки в Тверь и Торжок). Публикация в «Отечественных записках» рассказа «Путешествие во внутрь страны» под псевдонимом Я. Канонин.

11 декабря Статья И. Каверина (В. В. Стасова) в «С.-Петербургских ведомостях» по поводу перевода второго тома «Сказок Андерсена», вызвавшая полемику в печати и третейский суд.

1873, июнь Начало публикации романа «Теплое гнездышко» в «Отечественных записках».

1874, начало года Выход в свет сборника повестей и рассказов «Сказки и быль».

Март Сборник «Складчина» в пользу голодающих с рассказом Марко Вовчка «Сельская идиллия».

1875, июль Начало публикации в «Отечественных записках» романа «В глуши».

Декабрь Публикация в Париже в газете «Le Temps» повести Сталя (Этцеля) «Маруся» (обработка одноименной повести Марко Вовчка).

1876, январь В газете «Молва» печатается роман «Лето в деревне» (публикация оборвалась на 10-м номере).

1877, апрель Раскрытие в Петербурге революционно-просветительного «Общества друзей», к которому жандармское управление причисляет Марко Вовчка. Последняя поездка в Париж.

Осень хлопоты об устройстве на службу в Ставрополь второго мужа М. Д. Лобач-Жученко.

1878, 2–4 апреля Тайный отъезд из Петербурга в Ставрополь с младшим сыном Борисом. (Писательница жила в Ставрополе до середины 1880 года).

1880, лето Переезд в Новороссийск.

1881, лето Переселение в Абрау-Дюрсо.

1882, апрель Переезд в село Сергиевское Ставропольской губернии.

1883, осень Вторичное переселение в Ставрополь. Возобновление переписки с Этцелем. Переводы на французский язык романа «В глуши» и некоторых ранних повестей (работы остались незаконченными).

1884, 16 ноября Арест в Ростове Богдана Марковича как участника народовольческой организации.

1885, январь — февраль, май Поездки в Ростов и Харьков.

Попытки облегчить участь сына.

Июль — август Переселение в Киев и Богуслав.

1887, февраль Решение о высылке Богдана Марковича по этапу в Астраханскую губернию.

10 мая Прибытие Богдана в Астрахань и первая встреча его с Н. Г. Чернышевским. Отзывы Чернышевского о творчестве Марко Вовчка и хлопоты об издании собрания сочинений.

1891, 24 февраля Предоставление издательству «Посредник» права на безвозмездное издание рассказов для народного чтения.

1893, начало декабря Переезд в Саратов.

1896–1899 Издание в Саратове Полного собрания сочинений (последний, 8-й том был задержан цензурой и не вышел в свет).

1896, октябрь — 1897, сентябрь Пребывание в Киеве, Богуславе, Хохитве и Стеблеве. Поиски свидетелей и хлопоты о реабилитации мужа, оклеветанного одним из арендаторов.

1898, ноябрь Поездка в Москву. Переговоры с В. А. Гольцевым, редактором «Русской мысли».

1899, январь Начало публикации романа «Лето в деревне» в журнале «Русская мысль».

6–8 апреля Переезд в село Александровское Ставропольской губернии.

1902, июль Поездка в Киев.

Август — октябрь Сказка «Чертова пригода» с посвящением Т. Г. Шевченко в журнале «Киевская старина».

Декабрь Выход в Киеве собрания сочинений на украинском языке в двух томах.

1904 Четвертое издание украинских сочинений в трех томах во Львове.

1906, конец марта Переселение на хутор Долинский близ Нальчика.

1907, февраль Резкое ухудшение здоровья.

Апрель — май Работа над украинской повестью «Гайдамаки».

28 июля (10 августа) Смерть писательницы в Нальчике.

ИЛЛЮСТРАЦИИ



П. П. Виллинская (Дмитриева). Мать писательницы. 1870-е годы.

Книга данная изъ Епископа Дмитрия правительствъ Епископа
на Козаковъ въ церковь Вознесенъ Господней двумя протамъ дивъ замъ
подвизшихъ, бракомъ составившихъ и умершихъ на 1855^{мъ} годѣ.

Часть первая о родившихся.

У кого кто родился

Кому или Восприимца

<p>Дедманъ жена Сибирская гра 12 подписано жена унаго Ано сандра Алексеева Вилемского и Заванной жены ии прислана Кат рота родившей дочь Марія</p> <p>Молчановъ и ший тарка сынъ Козаковъ Александръ Давидъ. Крестъ Аи Тригорьевъ Фриксанъ цудхонъ сынъ Александровъ прикрещенъ дочь въ триртия Фридрихъ сынъ</p>	<p>Епископъ Николай Павловичъ и Кавалеръ Дмитрий Сабрина Давидъ и Филаретъ Епископъ политики Александръ Концельбр та Мухоморова Фантосъ дочь дочь Екатерина.</p> <p>Крестъ Аи совершилъ сынъ Петровъ Александръ сынъ Александровъ прикрещенъ сынъ Александровъ</p>
---	--

Метрическая запись, удостоверяющая дату рождения писательницы.



A. B. Маркович.



Марко Вовчок.

НАРОДНІ ОПОВІДАННЯ

МАРКА ВОВЧА.

РОЗДІВЪ.

П. А. КУЛИШЪ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

1858.



Т. Г. Шевченко.

Марку Вовчку.

Ваше почтение 29 декабря 1859.

Недавно в мою Украину
пришли и сегодня слышу,
что наша публичная библиотека,
ваша книга была выдана,
и вы знаете, что вы получили.
Мне очень приятно узнать,
и благодарю вас за это.
Мне бы хотелось видеть вас!
Мне бы хотелось видеть вас!
Мне бы хотелось видеть вас!
Мне бы хотелось видеть вас!
Мне бы хотелось видеть вас!
Мне бы хотелось видеть вас!
Мне бы хотелось видеть вас!
Мне бы хотелось видеть вас!
Мне бы хотелось видеть вас!
Мне бы хотелось видеть вас!

1859
декабрь 19.
П. П.

Стихотворение Т. Г. Шевченко «Марку Вовчку». (1859).



П. А. Кулиш.



И. С. Тургенев.



А. И. Герцен



А. В. Пассек. Париж. Начало 1860-х годов.



Артур Бенни.



С. В. Ешевский.



Н. А. Добролюбов



Марко Вовчок.



To be me in Longwood
Newly.



К. Ф. Гун.



Богдан Маркович. Париж, 1864. Фотографический этюд к картине В. Якоби «Возвращение с рыбной ловли».



А. А. Буткевич.



В. А. Еракова



Н. Г. Чернышевский



П. Этцель.



Письмо П. Этцеля, посланное воздушной почтой из осажденного Парижа в октябре 1870 года.



Жюль Верн.



Джеймс Гринвуд.



Д. И. Писарев.



Н. А. Некрасов.



П. Л. Лавров.



М. Д. Лобач-Жученко. 1870-е годы.

Из семейного архива Б. Б. Лобач-Жученко.



Г. З. Елисеев. 1870-е годы.

Январь.

№ 1.

1871 года.

Иллюстрированный журналъ



Издатель А. Францъ на 1-й линии - Владимирск. просп. д. № 10-11.
1871.



Н. А. Белозерская.





Марко Вовчок. 1903, с. Александровское.



Б. А. Маркович. 1905. Из семейного архива Б. Б. Лобач-Жученко.



Б. М. Лобач-Жученко. 1899. Из семейного архива Б. Б. Лобач-Жученко.



Один из уголков мемориальной комнаты в библиотеке-музее Марко Вовчка (г. Нальчик).



Памятник на могиле Марко Вовчка в саду ее дома в городе Нальчике.

КРАТНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Собрания сочинений Марко Вовчка

- Сочинение в четырех томах. Изд. С. В. Звонарева. Спб., 1870–1874.
- Полное собрание сочинений [в семи томах]. Саратов. Изд. книжн. магазина «Саратовский дневник», 1896–1899.
- Народні оповідання, тт. I–II, К., «Вік», 1902.
- Народні оповідання. Три томи, Відання 4. Львів, 1903–1904.
- Твори Марка Вовчка. Видання Богдана Лепкого, тт. I–III, Київ — Ляйпціг, 1926 (Вступит, статья Б. Лепкого).
- Твори Марка Вовчка. За редакцією і з критично-біографічною розвідкою Ол. Дорошкевича, тт. I–IV. К., 1928 (В IV томе, кроме пространного биографического очерка, опубликованы многочисленные документы и эпистолярные материалы из архива писательницы).
- Народные рассказы и сказки. М., Детгиз, 1954. Вступит, статья Р. Самарина («Школьная библиотека»).
- Твори в шести томах, К., 1955–1956 (Вступит, статья О. Засенко).
- Собрание сочинений в трех томах. Вступит, статья А. Белецкого. Подготовка текста и примечания С. Машинского. М., изд-во «Известия», 1957 («Библиотека классиков литературы народов СССР»).
- Твори в семи томах. К., «Наукова думка», 1964–1967 (наиболее полное из существующих изданий. Кроме общеизвестных произведений, представлены рассказы и сказки на французском языке, цикл статей «Мрачные картины», незаконченные вещи и материалы из записных книжек, фольклорные записи и 306 писем, многие из которых опубликованы впервые. Фактически издание состоит из 8 томов, т. к. том седьмой делится на два полутома).

Литература о Марко Вовчке

- Тургенев И. С. («Украинские народные рассказы» Марка Вовчка). Собр. соч., в двенадцати томах, т. II. М., 1956.
- Добролюбов Н. А., Черты для характеристики русского простонародья. Собр. соч. в трех томах, т. 3, М., 1952.

Писарев Д. И., Народные украинские рассказы Марка Вовчка. Полн. собр. соч. в шести томах, т. 1, Спб., 1909.

Писарев Д. И., Мысли по поводу сочинений Марка Вовчка. То же издание. Дополнительный выпуск.

Герцен А. И., «Библиотека» — дочь Сенковского. Собр. соч. в тридцати томах, т. 14, М., 1958.

Шевченко Т. Г., Дневник и письма. Собр. соч. в пяти томах, т. 5, М., 1956.

Франко И., Мария Маркович (Марко Вовчок). Сочинения в десяти томах, т. 9, М., 1959.

Маркович Б. А., Марко Вовчок на Кавказе. Ставрополь, 1913, 80 стр. (Труды Ставропольской ученой архивной комиссии).

Бойко В., Марко Вовчок. Историко-літературний начерк. К., 1918, 239 стор. (Переиздано: Берлин, 1923).

Марко Вовчок у критиці. К., 1955 (сборник статей, рецензий и высказываний).

Тамарченко Д., Марко Вовчок. К., 1947.

Бернштейн Н. Д., Марко Вовчок. К., 1952, 76 стр.

Parmenie A. et Bonnier de la Chapelle C. Histoire d'un editeur et de ses auteurs, P. I. Hetzel. Stahl). P»1953.

Марко Вовчок, Статті дослідження. К., 1957, 360 стор. (сборник статей и исследований сотрудников Института литературы имени Т. Г. Шевченко).

Борщевский Ф. М., Русские романы Марка Вовчка. Запорожье, 1957, 32 стр.

Засенко А. Е., Марко Вовчок. Краткий очерк жизни и творчества. М., 1958.

Тараненко М., Марко Вовчок. Літературний портрет. К., 1958, 136 стор.

Мартынов А., Марко Вовчок. Липецк, 1961, 27 стр.

Недзвідський А. В., Російські романи и повісті Марка Вовчка 1861–1875 рр. Одеса, 1961, 84 стор.

Засенко О., Марко Вовчок. Життя, творчість, місце в історії літератури. К., 1964, 656 стор.

Крутикова Н. Е., Статья и комментарии к письмам М. А. Маркович (Марка Вовчка) к И. С. Тургеневу. «Литературное наследство», т. 73, кн. 2, М., «Наука», 1964, стр. 249–302.

Крутикова Н. Е., Сторінки творчого життя. Марко Вовчок в житті і праці; К., 1965, 390 стор.

Марко Вовчок. В кн.: Українські письменники. Био-бібліографічний

словник, т. II, К., 1963 (подробная библиография).

notes

Примечания

1

Выделение р а з р я д к о й, то есть выделение за счет увеличенного расстояния между буквами заменено курсивом. — *Примечание оцифровщика.*

Из рассказа Марко Вовчка «Сестра».

Перевод А. Г. Островского.

4

Они были получены вместо гонорара за участие в сборнике.

Имеются в виду женские окончания фамилии Маркович. Марковичева, Марковичка.

Верхняя мужская одежда вроде кафтана — в талию и с перетяжкой сзади.

Мужская и женская верхняя одежда.

То есть от П. А. Кулиша.

Ныне улицы Малая Московская и Достоевского.

Написание Тургенева.

Перевод И. Воробьевой.

12

То есть целый ворох, несколько десятков.

Искандер — псевдоним А. И. Герцена.

Наталья Александровна (Тата) — дочь Герцена.

Игра слов, основанная на созвучии французских выражений: *à livre ouvert* буквально: читать с листа, то есть знать, как открытую книгу; *à cœur ouvert* — с открытым сердцем.

16

Слишком не эстетично (нем.).

Петушиная голова (нем.).

Закрытое учебное заведение (франц.).

На уровне (франц.).

Речь идет о журнальной публикации книги сказок.

Долговая тюрьма в Париже.

Калюжа (укр.) — лужа.

Сталь — псевдоним Этцеля.

24

Друг (франц.).

comments

Комментарии

Л. М. Добровольский, Запрещенная книга в России. М., 1962, стр. 126.

В 1840-х гг. в «Харьковских губернских ведомостях» помещались объявления о приеме «благородных девиц» в пансион Мортелли.

Щукинский сборник. Вып. 8. М., 1909, стр. 215.

Разветвленный род Марковичей дал Украине известных литераторов, историков, этнографов, общественных деятелей. Марковичи ведут свое начало из Сербии. Потому и ударение в фамилии нужно делать на первом слоге.

Статьи О. И. Коцюбы опубликованы в 11-м и 13-м томах Ученых записок Нежинского педагогического института имени Н. В. Гоголя (1960–1962).

Об одном анекдотическом случае из служебной деятельности Марковича в Орле вспоминает Лесков в рассказе «Умершее сословие».

Песни, собранные П. В. Киреевским. Новая серия, вып. II, ч. 2. Песни необрядовые, М., 1929, стр. 182–183 (№ 2349–2352). В первый выпуск той же новой серии (Песни обрядовые, М., 1911) вошли, кроме того, 22 песни, записанные А. В. Марковичем в феврале 1850 года в Черненском уезде Тульской губернии. На эти запоздалые публикации исследователи не обратили внимания.

П. Кулиш, Записки о жизни Н. В. Гоголя, т. 2, СПб, 1856, стр. 241–242.

«Черниговские губернские ведомости», 1853, № 10.

М. А. Маркович была крестной матерью одной из дочерей В. В. Марковича, родившейся в 1852 году и названной в ее честь Марией. Этим подтверждается вторичное пребывание в Сорокошичах.

Письмо приведено Л. Хинкуловым в биографии Шевченко, изданной в серии «Жизнь замечательных людей».

В. В. Тарновский-младший завещал свою коллекцию Черниговскому земству. В 1939 году она была передана в киевские хранилища Академии наук УССР.

О собирании, приведении в порядок, подготовке к изданию и печатании народных песен и других произведений народной словесности («Черниговские губернские ведомости», 1853, № 23).

Дворец и великолепный парк, принадлежавшие некогда Б. Потоцкому, а потом его наследнице графине Щербатовой, находятся под охраной государства. Ныне здесь расположен дом отдыха.

Подробнее о его деятельности см. в книге Н. Е. Крутиковой «Сторінки творчого життя». К., 1965, стр. 28–30.

Жорж Санд — производное от имени Жюля Сандо, литератора, который помог Авроре Дюдеван войти в литературу.

А. И. Белецкий называет рассказы Марко Вовчка лиро-эпическими поэмами в прозе.

П. Н. Берков, «Записки охотника» в литературе народов СССР. См.: «Записки охотника» И. С. Тургенева. Сборник статей и материалов. Орел, 1955, стр. 307.

В последующие годы К. А. Трутовский иллюстрировал рассказы Марко Вовчка.

В 1862 году А. А. Котляревский был арестован «по политическому делу» и затем в течение нескольких лет лишен права заниматься педагогической деятельностью. Н. Г. Чернышевский вспоминал о нем в письме из Виллюйска (от 10 марта 1883 г.): «...действительно хороший он был человек и по уму и по сердцу. Жаль его мне, что рано умер, бедный. Наука много потеряла в нем».

«Фрейшютц» («Вольный стрелок») — опера немецкого композитора К. М. Вебера.

Речь идет о «Сикстинской Мадонне» Рафаэля.

«Рассказ о семейной драме» стал доступен читателям при Советской власти; впервые напечатан в Собрании сочинений Герцена под редакцией М. К. Лемке.

Семейный архив Б. Лобач-Жученко. Письмо относится к началу 1907 года.

ЦГАЛИ, ф. 345. Текст письма сообщила М. И. Перпер.

Повесть была опубликована в журнале «Русский вестник» (1860. кн. 3) с посвящением Т. П. Пассек.

См. М. Д. Бернштейн. Журнал «Основа» і український літературний процес кінця 50-х—60-х років XIX ст. К., 1959.

Имеется в виду географ и публицист Лев Мечников, брат выдающегося биолога И. И. Мечникова.

Книга вышла в свет весной 1861 года — с приложением украинско-русско-польского словаря, составленного А. В. Марковичем.

Украинский литератор П. Н. Таволга-Мокрицкий, один из близких друзей А. В. Марковича, защищал Марко Вовчка от нападков реакционной критики. Одна из его статей, «Марко Вовчок, как народный малороссийский писатель», была опубликована под псевдонимом Пирятин («Русский инвалид», 1860, № 107).

См. Марко Вовчок, Собрание сочинений в трех томах. Т. I. М., 1957, стр. 535 (комментарий С. Машинского).

Такое предположение высказал А. И. Гербстман, и он же обратил внимание автора этой книги на идейную зависимость повести «Три сестры» от статьи Добролюбова «Когда же придет настоящий день?».

Сообщение об этой находке сделал А. В. Недзведский в докторской диссертации о творчестве Марко Вовчка.

Об этом писали В. П. Веди́на (см. «Марко Вовчок. Статті і дослідження», К., 1957, стор. 286) и Н. Е. Крутикова («Сторінки творчого життя» К., 1965, стор. 195).

В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 21, стр. 260. стр. 193.

Выдержка из воспоминаний И. Фрича и Я. Неруды взята из книги О. Засенко («Марко Вовчок. Життя, творчість, місце в історії літератури»), впервые обратившего внимание на эти интересные материалы.

О месте Марко Вовчка в истории детской литературы, русской и украинской, см. в книге: М. Тараненко, Марко Вовчок. Літературний портрет. К., 1958.

См. А. Белецкий, Предисловие к Собранию сочинений Марко Вовчка в трех томах. Т. I. М., 1957, стр. 18.

См. Народ про Кармалюка. Збірник фольклорних творів. К., 1961.

Выписка из дела о запрещении «Сборника рассказов в прозе и стихах. Рассказы и стихотворения Марко Вовчка, Н. Благовещенского, Н. Некрасова, И. Никитина, Глеба Успенского, Николая Успенского, Флеровского, Голицынского, Решетникова и др.» (СПБ, 1871). На книгу был наложен арест и возбуждено судебное преследование против издателя и трех авторов (Марко Вовчка, Глеба Успенского, Н. Флеровского) на основании 1035, 1036 и 1045 статей Уложения о наказаниях. См. Л. М. Добровольский, Запрещенная книга в России. 1825–1904. М»1962, стр. 78–79.

Письмо относится к началу 1863 года, написано в Петербурге. В архиве значится как письмо М. А. Маркович к неизвестному (Институт русской литературы, отдел рукописей, 9576. LVI. б. 86). Адресат, время и место напечатания легко устанавливаются из контекста.

См. очерк Ю. Короткова «Поэт Михайлов, художник Якоби и другие» в альманахе «Прометей», т. I. М., 1966.

Выписки из неопубликованного дневника А. Н. Якоби получены от Б. Лобач-Жученко. Используются также некоторые сведения, приведенные в его статье «Паризькі друзі Марка Вовчка» («Радянське літературознавство», 1967, № 6).

В Московском и Ленинградском литературных музеях эта фотография экспонировалась в отделе Герцена под заглавием «Герцен у своего дома в Лондоне». Б. Лобач-Жученко, доказавший ошибочность такой атрибуции и установивший подлинный сюжет снимка, высказал предположение, на мой взгляд, малоубедительное, что снятый на фотографии мужчина — издатель Этцель (См. упомянутую выше статью «Паризькі друзі Марка Вовчна»).

Среди бумаг писательницы сохранился реестр заглавий, включающий 194 песни и черновик предисловия. Рукописный же сборник со словами и нотами исчез, и, по-видимому, безвозвратно. Второй экземпляр сборника, возможно, уцелел в архиве Э. Мертке, который в зрелые годы и до конца жизни был профессором консерватории в Кельне. Встреча с украинской писательницей не прошла бесследно для его музыкального творчества. После аранжировки 210 песен он сочинил и опубликовал «Шесть экспромтов на украинские темы».

Роман Марко Вовчка с учетом авторской правки и дополнений, не входивших в прижизненные издания, выпущен в Киеве в 1955 году (подготовка текста — М. Д. Бернштейна) и затем неоднократно перепечатывался в этой редакции.

Наблюдения Ф. М. Борщевского. См. его брошюру «Русские романы Марко Вовчка». Запорожье, 1957, стр. 16.

См. Т. М. Резніченко, Тайнопис романа Марка Вовчка «Записки причетника» (сборник «Марко Вовчок. Статті і дослідження», К., 1957).

Эти неизвестные страницы жизни Марко Вовчка восстановлены по семейной переписке и архивным источникам ее внуком Б. Б. Лобач-Жученко.

В полном виде это произведение превратилось в роман «Отдых в деревне. Из записок недавнего прошлого», увидевший свет только в 1899 году в журнале «Русская мысль».

Речь идет о романе «Пятнадцатилетний капитан». Впоследствии Б. А. Маркович перевел этот роман заново, выпустив отдельной книгой в издательстве М. М. Стасюлевича — в серии романов Жюль Верна, переведенных Марко Вовчком.

После смерти Марии Александровны В. Доманицкий опубликовал текст своего реферата и большую статью «Авторство Марко Вовчка». К тому времени инсинуация Кулиша была подхвачена Е. Огоновским, С. Ефремовым и проникла даже на страницы Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона. Разоблачая легенду о двух авторах «Народних оповідань», В. Доманицкий внимательно изучает письма и автографы из архива писательницы, приводит восторженные отзывы В. Белозерского и Н. Костомарова о языке и стиле ее украинских писем, доказывает на основании текстологического анализа, что редакторская правка Кулиша не превышала обычной, и приводит сохранившиеся исправления А. В. Марковича к повести «Три доли», из которых Мария Александровна приняла только две поправки, и это не вызвало возражений со стороны редакции «Основы». Кроме того, Доманицкий доказывает, привлекая биографические факты, что больше половины своих украинских произведений Марко Вовчок написала за рубежом уже после отъезда А. В. Марковича.

Марко Вовчок была единственным автором украинских рассказов, сказок и повестей, опубликованных под ее именем, и в помощи соавтора не нуждалась. К этому неопровержимому выводу приходит Доманицкий в результате своих исследований.

Порвав с «Биржевыми ведомостями», Б. А. Маркович больше не сотрудничал в бульварной прессе и вскоре отошел от журналистики. В последние годы жизни он преподавал математику в женской гимназии, составил учебник по геометрии, занимался переизданием сочинений и переводов Марко Вовчка, которые служили ее наследникам дополнительным источником дохода. После смерти матери он написал о ней биографический очерк (журнал «Союз женщин», 1908) и брошюру «Марко Вовчок на Кавказе», используя воспоминания Михаила Демьяновича, который дожил до 1927 года. М. Д. Лобач-Жученко, как мог, охранял память писательницы и хлопотал о превращении ее дома в Нальчике в мемориальный музей. Что касается младшего сына, Бориса Михайловича Лобач-Жученко (1875–1938), то он при Советской власти становится профессором, крупнейшим специалистом по судовой механике, автором многочисленных книг по морским турбинам, автомобильным и авиационным двигателям.

Старший из его сыновей Борис Борисович (р. 1899), унаследовавший семейный архив, — подполковник авиации, журналист и яхтсмен, мастер спорта СССР, — в последние годы успешно занимается архивными изысканиями и публикует неизвестные документы и биографические материалы о Марко Вовчке. Составленная им обширная «Летопись жизни и творчества Марко Вовчка» принята к печати издательством «Дніпро» в Киеве.